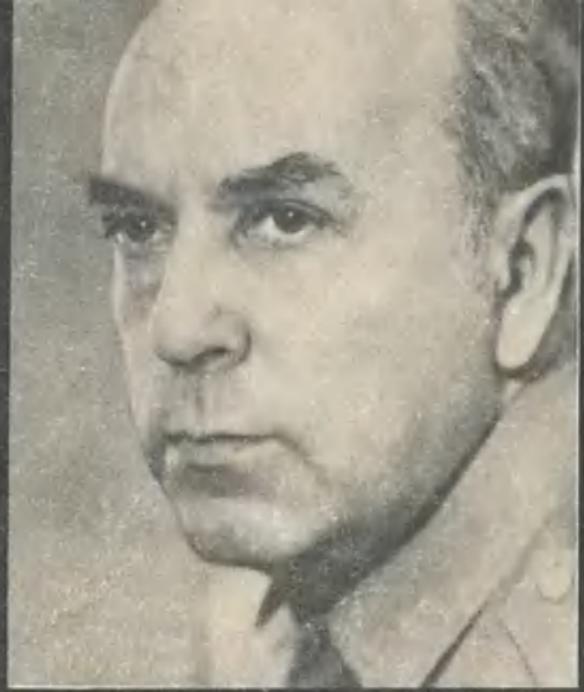


Кирилл
КОВАЛЬДЖИ

Кирилл
КОВАЛЬДЖИ

**СВЕЧА
НА СКВОЗНЯКЕ**



Kirill
KOVALDJI

Кирилл
КОВАЛЬДЖИ

СВЕЧА НА СКВОЗНЯКЕ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Кирилл
КОВАЛЬДЖИ

**СВЕЧА
НА СКВОЗНЯКЕ**

РОМАН

МОСКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ
1996

ББК 84Р7
К56

Художник
Инна ДАНИЛЕВИЧ

Ковальджи К. В.

К56 Свеча на сквозняке: Роман.— М.: Моск. рабочий, 1996.— 335 с.

Роман поэта и прозаика Кирилла Ковальджи «Свеча на сквозняке» посвящен необычной судьбе древнего бессарабского города у Днестровского лимана. Лакомый кусочек, Лиманск переходил из рук в руки, трагические события двадцатого века отражались на нем порой в весьма причудливых формах.

Любовь и война, мудрость и простодушие, человечность, которая превыше корыстной политики и национальных предрассудков,— вот тема, сплавляющая воедино горькие и светлые, забавные и трогательные страницы этого своеобразного повествования.

Роман был опубликован впервые под названием «Лиманские истории», выдержал несколько изданий, был переведен на польский, болгарский, румынский языки.

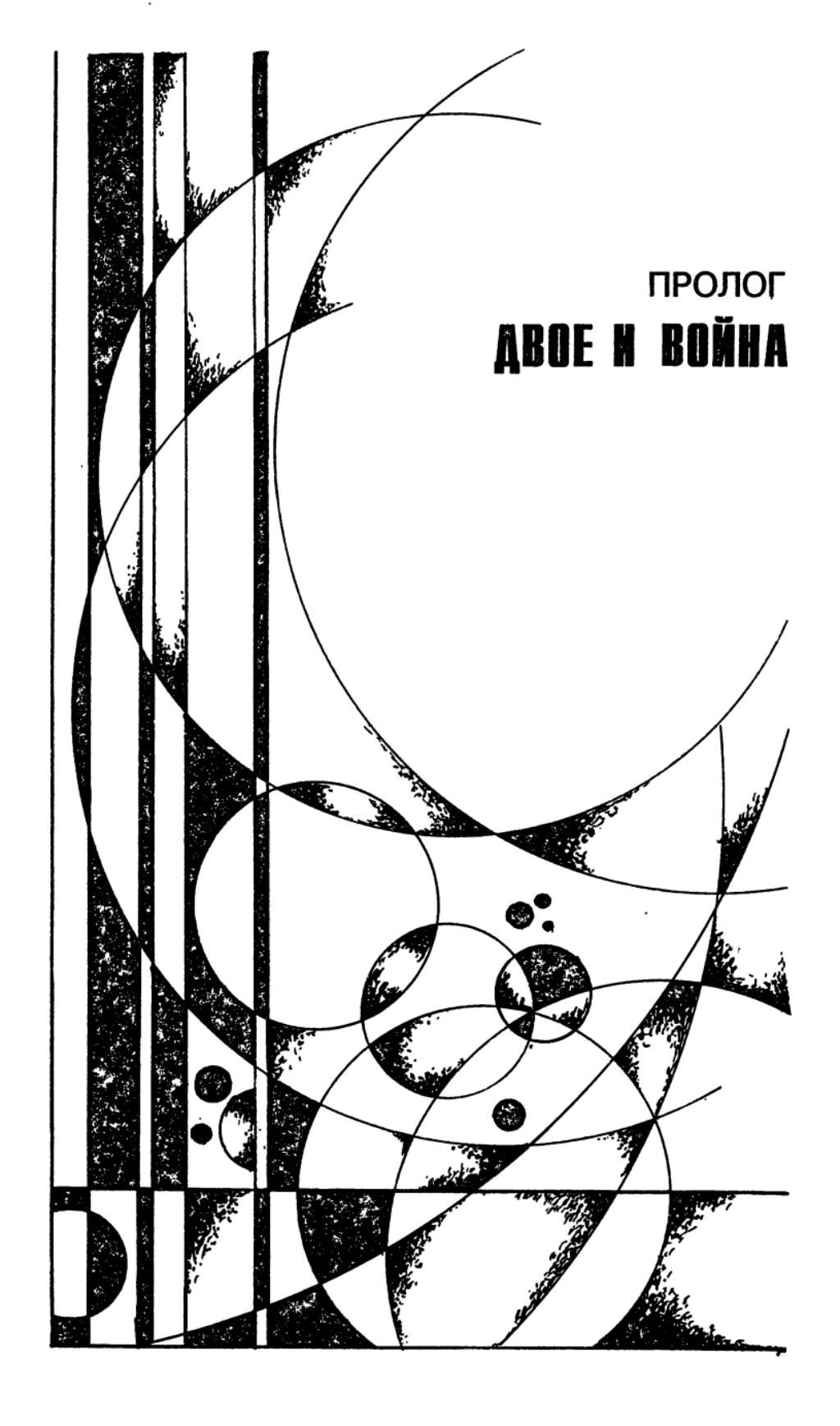
Для нынешнего издания роман, освобожденный от цензурных купюр, значительно расширен и исправлен автором.

К 4702010201—031
М172(03)—96 Без объявл.

ББК 84Р7

ISBN 5-85541-031-5

© К. В. Ковальджи, 1996



ПРОЛОГ
ДВОЕ НА ВОЙНА

*Судьбы мира вершили столицы,
обнимаясь и ссорясь порой...
Проживал городок на границе:
между Первойвойной и Второй.*

...И вдруг на маленьком необитаемом острове оказались юноша и девушка — нетрудно себе представить, что между ними может произойти, если к тому же они почти нагие и симпатичные. Но не спешите с выводами, они еще не познакомились, они на разных концах этого островка, она — на западном, он — на восточном берегу.

Будь как угодно малым этот островок, но деления на запад и восток ему не миновать, ибо таков наш человеческий мир в отличие от природного, предпочитающего север — юг соответственно полюсам. Мы же, наперекор естеству, твердим «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут», хотя, казалось бы, ясно, что тут подвох, нет такой окончательной точки, откуда мы вправе провозгласить: здесь, дескать, Восток, и отклонение в любую сторону — уже Запад...

Что же касается наших молодых людей, то приходится с сожалением отметить, что им не до любви, они решительно выбились из сил и пребывают в полной растерянности. Вдобавок необитаемый остров не так уж удален от суши, он не затерян в море-океане, а находится посреди Днестровского лимана, между берегами которого в самом узком месте километров восемь, берега же принадлежат двум недружественным державам — какая тут любовь под стеклянным колпаком государственных интересов! Это не метафора, а самая суть неожиданной ситуации, события, еще никем не осмыслиенного: дело в том, что до вчерашнего дня этого островка НЕ БЫЛО. То есть он, кажется, был когда-то, но так давно, что никто ни за что ручаться не может. Древние и весьма смутные сведения об острове ученые относят к легендарным

или даже мифическим. То ли остров амазонок, то ли древнегреческое поселение под названием Никонион. Когда и почему он исчез — неизвестно. Может, и бытовали прекрасные сказания об этом лиманском Ките же, но рукописи сгорели, а при очередном нашествии варваров последний хранитель легенды онемел от горя и лишился разума...

Как бы то ни было, а летней ночью одна тысяча девятьсот тридцать девятого года островок взял да и выплыл из пучины вод, и первой это почувствовала Катя, пловчиха, которая уже прощалась с жизнью, перестав понимать, что происходит: тихий ласковый лиман за полночь вдруг заволновался, раскачался без ветра, волны сталкивались грудью, плыть стало невозможно, глубина дрожала и гудела. Неужели вместо берега обетованного, вместо милого красного берега ей придется погибнуть здесь, на незримой границе между двумя мирами, исчезнуть без могилы, без следа!

Ах, если б Катя в Бога верила, она бы взмолилась о помощи, но она была гордая и принципиальная, боролась молча со стихией. Катя жила во имя всеобщего добра, во имя свободы, равенства и братства, она на самом деле была доброй и отважной девушкой, а это уже кое-что значит не только для земли, но и для неба, потому лично я считаю совершенно естественным, что чудесным образом в последний миг Катя под водой ногами наткнулась на нечто твердое. Более того, это нечто твердое всплывало, ну прямо как кит. Господи, откуда кит в пресноводном лимане, где и дельфинов-то не бывает!

Воды отхлынули, влажный остров, проспавший тысячу лет, глянул в звездное небо и увидел, что, в сущности, ничего не изменилось, созвездия расположены так же, застыли вечными статистами на вертящейся сцене.

Катя на четвереньках ползла по скользким камням, страшась потерять опору. Осмелев, она неуверенно, как на шатком помосте, выпрямилась и тоже увидела звезды. Они были невозмутимы, для них все всегда в полном порядке: чудо ли случилось в назначенный час, или это уже потусторонний сон, последнее видение утопленницы, торжественное прощание с миром...

Катя опустилась на колени, провела ладонями по лицу, легла, верней отвалилась, на спину, изможденная, обессиленная, будто это она вместе с островом труди-

лась, чтобы выплыть на свет Божий через тысячу лет.

Примерно то же самое пережил и Андрей, но мне лучше сразу сказать о существенной разнице — не о счастливой противоположности, которая очевидна, если речь идет о юноше и девушке, а о том непоправимом факте, что она плыла с запада, а он — с востока. Покамест они лежат почти бездыханные на новорожденном острове и им предстоит, так сказать, экстерриториальное знакомство.

Первыми появление острова засекли не какие-то там самолеты-вертолеты, а чайки. Они закатили настоящую истерику, слетаясь со всех сторон, галдя и суетясь. Чайки кружились, то взмывая, то снижаясь, но почему-то не смели садиться на лоснящиеся камни.

Рассвело, и когда, наконец, беглецы обнаружили друг друга, то с первого взгляда был испуг и побуждение тут же броситься в воду, но со второго взгляда выяснилось, что ни для кого никакой угрозой не пахнет. Они двинулись навстречу, пошатываясь от усталости, ошалевшие от невероятности того, что происходило.

— Ты кто? — спросила она по-русски, а он — эхом:

— А ты кто?

Катя сказала:

— Почему я тебя не знаю? — И, не дожидаясь ответа, улыбнувшись, добавила: — Вдвоем веселей. Давай поплывем дальше, а то скоро станет совсем светло, — и оглянулась и ахнула: огромная радуга висела над островом, как бы соединяя берега лимана. — Это остров Радуги! — вскрикнула Катя, потом спохватилась: — А остров чей? Уже советский?

— Понятия не имею. На лимане нет никаких островов! Ты — оттуда? — он кивнул в сторону Лиманска. — Какими судьбами?

— Боже мой! — Катя озарилась догадкой. — Боже мой! Какая радость! Ты первый советский человек, которого я вижу. Милый ты мой, не знаю, как тебя зовут, дай я тебя поцелую, товарищ!

И она порывисто поцеловала юношу, но не так, как вы думаете, а как свободного гражданина Страны Советов. Она чмокнула товарища в щеку и тут же, нашупав его руку, крепко-крепко пожала ее:

— Я... я убежала оттуда, я еле вырвалась. Я плаваю, как рыба, мне бояться нечего, но я попала в какой-то воловорот, думала — все, конец, и вдруг — нате вам, по-

жалуйста, этот островок... — она запнулась, опомнившись, застеснявшись своего вида: мокрая, на длинных бретельках рубаха, вроде ночной, прилипла к телу, розовый лифчик — и больше ничего.

— А документы у тебя есть? — спросил парень то ли шутя, то ли серьезно.

— Какие там документы! — она развела руками. — Пришлось все сбросить, выбросить, я же чуть не утонула. Все, что у меня осталось, — это я сама.

— Маловато, — сказал он.

— Достаточно! — ответила она с некоторым вызовом. — Я скрывалась две недели, больше нельзя было, вот я и решилась — к вам... Нас было пятеро. Подпольная ячейка, понимаешь? Всех схватили, а меня не нашли.

— Но тебя без документов сочтут шпионкой. К тому же всех посадили, а тебя — нет. Нехорошо получается.

— Какой вздор! Разве не ясно? Я же ради вас готова жизнь отдать, проверить легко: дайте любое задание!

— Вот тебе первое задание. Расстрелять меня...

— Дурак.

— Нет, это ты — дурочка. Плыви к нашим, а я лучше поплыву к вашим.

И, вздрогнув, как от холода, и криво усмехнувшись, он направился в сторону западного берега. Она несколько секунд смотрела ему вслед, как громом пораженная, а когда он вошел в воду и поплыл, Катя села и закрыла лицо руками, стараясь не заплакать. Сердце стучало, захлебываясь, она вдруг вскочила, побежала и прежде, чем поплыть дальше на восток, оглянулась. Боже правый, с запада к острову спешил пограничный катер. Девушка бросилась в воду и, вынырнув, увидела с востока еще два катера. В зыбком утреннем тумане все это казалось дурным сном. Катя повернула назад, вскарабкалась на камни, ища куда бы спрятаться. Попались какие-то развалины, каменные выступы, она не успела толком разглядеть. Шмыгнула за угол и, мокрая, несчастная, буквально столкнулась с таким же мокрым и несчастным парнем.

— Мы окружены, — выдохнул он.

— Похоже, — кивнула она. — Но кем?

— А черт его знает! Переждем. Я думаю, они не нас ищут. Остров их переполошил. Давай не высовываться. Неизвестно, кто они — наши или ваши...

Действительно, с обоих берегов засекли фантастическое событие: появление острова на так называемой водной нейтральной полосе. Но беглецы ошиблись. Они не были окружены. К ним подступали с разных сторон силы разных держав. Подступали, не зная, как себя вести. Затевать конфликт без разрешения начальства пограничникам и в голову не приходило. Катера заглушили моторы на почтительном расстоянии от цели и сообщили куда надо, что да, перед ними остров, ни на каких картах не обозначенный и, без сомнения, необитаемый. Долгота такая-то, широта такая-то, названия не имеет.

Катера ждали указаний. На рейде было тихо, туман редел, солнце всходило, теперь уже можно было удостовериться, что с одной стороны стояли катера с пятиконечной звездой, с другой — катер с королевским гербом. Беглецы, пожалуй, уже могли разойтись навсегда, но они, упустив первый порыв, откладывали решение с минуты на минуту. Плыть прямо на катера? Может, уйдут восьсяи, зачем дразнить их?..

Беглецы отдыхали, скрытые каменными выступами. У девушки ничего с собою не было, зато парень оказался предусмотрительным. Он отполз куда-то и вскоре вернулся с плоской торбой, сшитой из синей kleenki с двумя ремешками. Видно, плыл с этой торбой, как с заплечным мешком. Парень выглядел постарше, был худ, со впалой грудью, глаза умные и грустные. Он вопросительно посмотрел на девушку, как бы взвешивая, что разъединяло их и что объединяло. В первую очередь объединяло их чувство голода, и, поскольку разрешение этой проблемы целиком зависело от него, он предложил:

— Пока они не начали войну, давай поедим...

Встревоженные чайки продолжали метаться, крича. Некоторые, осмелев, пикировали, выклевывая из ила то ли мальков, то ли раков, и тут же шарахались в небо, словно им тоже не ясен был статус этого острова.

Катя на предложение поесть ответила косым взглядом. Молчание было истолковано как согласие. Парень вскрыл торбу, вытащил несколько пакетов, завернутых в пергаментную бумагу. Прежде всего появились очки, он надел их, от чего сразу стал и серьезней, и — при мокрых черных трусах до колен — смешней. Затем появились летние парусиновые брюки и рубашка с короткими рукавами.

— Одевайся, — повелел он и широким жестом про-

тянул ей одежду. Она безропотно исполнила приказание, следя, как он достает перочинный ножичек, сыр и ломти черного хлеба. Девушка провела языком по сухим губам, борясь с собой. Хотелось как-то задобрить классовую совесть перед началом трапезы, потому она спросила, обеими руками приподняв копну своих светлых волос, отжав их от висков к затылку, отчего открылся ее ясный детский лоб:

— Скажи-ка коротко и честно: кто ты такой?

— Я Андрей.

— Екатерина. Спасибо за информацию. Но я не об этом...

— А... Видишь ли, я остался без родителей. У меня больше никого нет. А в Лиманске живет тетя. Я вот решил — к ней...

Андрей нашел, конечно, смягчающий ответ на слишком крутой вопрос, Катя это почувствовала и поняла, что конфронтация откладывается. Ладно, потом разберемся. Андрей между тем поделил поровну сыр и хлеб, протянул ей. Жевали жадно. Катя, правда, стеснялась своей мужской одежды, тем более что она сдуру напялила ее поверх мокрой сорочки, теперь на парусиновых брюках простили темные полосы, два круглых пятна на рубашке обозначали ее высокие груди. Надо сказать, смущение было ей очень к лицу. Проглотив последние крошки, Андрей еще раз показал себя рыцарем, он произнес для приличия «надо нам причесаться» и ушел за каменный выступ, дав возможность и себе и ей оправиться.

А тем временем летели шифровки в Москву и Бухарест. Государственные мужи должны были срочно овладеть ситуацией и предпринять необходимые шаги. Первое побуждение было абсолютно одинаковым: пока суд да дело, не вступая ни в какие выяснения, немедленно водрузить свой флаг на острове и уведомить о том весь цивилизованный мир.

Румынский посол позвонил Молотову и в самых вежливых выражениях довел до его сведения, что обнаруженный остров, который некоторое время отсутствовал, всегда принадлежал портовому городу Лиманску, входил в его акваторию, когда тот был еще римской колонией, а римляне, как известно, предки современных румын. Король Карол Второй и его правительство надеются, что Советский Союз не будет возражать против

соответствующего небольшого уточнения водной границы во имя добрососедских отношений, столь ценимых в нынешнее неспокойное время.

Молотов выдержал очень долгую и грозную паузу и не очень вежливо ответил, что Лиманск, как известно, находится в Бессарабии, которая, как известно, незаконно отторгнута от Советской России в 1918 году, о чем забывать никому не следует. Поэтому лучше не упоминать об острове, на котором с момента его появления, будем считать, развевается красный флаг.

Никакого флага на острове еще не было, кричали чайки, и два молодых человека продолжали свое необыкновенное знакомство. Ровесники, а как им понять друг друга? Барышня из милой мещанской семьи, где папа держал бакалейную лавочку и имел виноградник, а мама хорошо шила и удивительно вкусно готовила — была неистощимой на кулинарные выдумки. Каждое воскресенье полагалось отстаивать службу в церкви, а вечером в доме были гости, покер, патефон и бесконечные разговоры о ценах, нарядах и блюдах. В женской гимназии каждое утро начиналось с молитвы, те же чопорные классные дамы, нудные, пресные занятия — немудрено, что так взыграла Катина душа, когда ей открылся новый мир, когда Аурел дал ей запрещенные книжки, — Энгельс сокрушал буржуазную мораль и Бога, Ленин говорил об отмирании государства и о будущем бесклассовом счастье, об Интернационале, Фрейд вскрывал сексуальную подоплеку поведения и поступков, а на том берегу лимана Сталин уже провозгласил социализм, там «жить стало лучше, стало веселей», она влюбилась в кинофильм «Волга-Волга», который несколько дней шел в Лиманске в «Одеоне», все от него походили с ума, даже те, кто терпеть не мог большевиков. Короче говоря, утром проснешься, посмотришь на восток — рукой подать до страны, где «песня строить и жить помогает» и впервые за всю историю рабы окончательно победили господ.

Что же мог сказать ей Андрей? Он с детства слышал яростные споры в семье о Троцком, Сталине и Бухарине, рос в коммуналке с одной уборной на семь семейств, но и эта жизнь вспоминалась ему раев, когда, едва перейдя в четвертый класс, он в одну страшную ночь остался без родителей, их увезли как врагов, увезли навсегда, он попал в детский дом, где должен был учить стихи про

то, как Сталин подарил ему счастливое детство, потом был интернат — годы тоски и ужаса. Вступил в комсомол, его попрекали родителями — что с того, что ему было тогда десять лет? — мог бы, как Павлик Морозов... Вдобавок у него нашли румынскую книжку о Бессарабии (он собирал литературу по истории Лиманска), исключили из комсомола, пришлось уйти в ремесленное училище, но и там покоя не было, его вызывал в пустую комнату незнакомый дядя, долго выпытывал, предложил стать сексотом, иначе, мол, осенью попадет не в армию, а в лагерь... Андрей дал согласие и тогда же твердо решился на побег...

Девушка с парнем сидели рядом, время, однако, для них текло по-разному. Она была как бы до революции, а он — многое после. Они могли обмениваться словами, а смыслы были взаимонепроницаемы. Слава Богу, что нашли точку соприкосновения: выяснилось, — оба они были лиманцами. Вернее, родители Андрея, потомственные лиманцы, социал-демократы, после прихода румын в Бессарабию в 1918 году перебрались в Одессу, где и родился Андрей. Он, конечно, Лиманска не видел, но наизусть его знает по рассказам и фотографиям. Андрей считает Лиманск своей настоящей родиной и хочет вернуться туда. Катя холодно поблагодарила за сыр и хлеб и презрительно фыркнула: надо же быть таким, мягко выражаясь, темным, чтобы считать родиной место, где родился ты или твои родители. Это буржуазный миф, у честных трудящихся нет родины, как писал Карл Маркс, кто-то, а Андрей должен знать это лучше нее! Он же учился в советской школе, дышал воздухом свободы и правды. Пусть Андрей признается, в чем он провинился перед властью рабочих и крестьян, почему он удирает оттуда, куда стремятся все передовые люди. Нам грозила тюрьма за песню «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», а ты!

Андрей вскинул брови, протер очки, что-то промялил и махнул рукой:

— Ты не поймешь, нет, все равно не поймешь!
— Пойму! — вскрикнула Катя. — Я все могу понять, все хочу понять, иначе зачем жить?

— Как тебе объяснить, я не герой, ты слишком хорошо говоришь на моем языке, на советском, а я им сыт по горло. Я еще не нашел другого языка, я просто вырываюсь из петли. Моих родителей посадили без всякой

вины, а мне за них расплачиваться. Мне ходу нет, жизни нет. Ты согласилась бы погибнуть зря?

— Я? Я готова. Лучше погибнуть зря, чем предать...

— Значит, предателя к стенке? Я же говорил о первом задании для тебя...

— Какой же ты все-таки дурак! Я о том, что я бы лучше погибла... Я говорю о принципах!

Принципы — дело серьезное. Молотов так и сказал Сталину, что хотя остров гроша ломаного не стоит, но принцип есть принцип.

Товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, мягкой рысцей походкой прошелся вдоль длинного стола в кремлевском кабинете. За тяжелыми шторами задыхались лучи летнего солнца. Товарищ Сталин начал негромко рассуждать, не глядя на стоящих Молотова, Берии и Поскребышева:

— Значит, появился остров. Случайно ли, что появился именно этот остров, именно в этом месте и именно в это время? Как думаешь, Лаврентий? Ты ждешь, что я скажу. Правильно делаешь. Давайте поставим вопрос ребром: кто устроил всплытие острова? Мыслимо ли, чтобы никто не знал, что остров может всплыть? Кому выгодно всплытие этого острова? Лаврентий, займись геологами, океанологами, прощупай, что они знают, для чего знают, для кого знают. А ты, дорогой Вячеслав Михайлович, раз уж ты у нас председатель Совнаркома, ты должен знать, куда тянутся нити, кто хочет спровоцировать конфликт между нами и соседней балканской страной как раз в тот момент, когда запахло войной и когда за нами ухаживают с одной стороны Англия с Францией, с другой — Германия? Советский Союз не заинтересован в том, чтобы участвовать в бойне между двумя империалистическими группировками, он заинтересован в ослаблении империализма вообще. Троцкий думает иначе. Этот мерзавец готов пожертвовать Советским Союзом только ради того, чтобы свалить ненавистного ему Сталина. Как вы полагаете, может ли Троцкий думать по-иному?

— Ты прав, Коба, — откликнулся Лаврентий Павлович и, поправляя пенсне: — Этот остров — не случайность. Но Троцкому уже ничего не поможет.

В это время Поскребышеву принесли шифровку, он передал ее Сталину. Тот прочитал, положил ее на стол, но так, чтобы соратники, видя лист бумаги, не могли

прочесть. Он помешал ложечкой чай, отхлебнул несколько раз, вытер усы, молчание становилось тягостным. Правда, Молотов привык к таким демонстративным паузам, на его лице не отразилось ровным счетом ничего, будто он фотографировался для паспорта. Берия всем своим видом показывал нетерпеливое внимание. Поскребышев замер в стойке, как преданный пес.

— Как я и предполагал,— заговорил наконец вождь,— нас действительно испытывают. В десять ноль-ноль на острове водружен наш государственный флаг, а в десять пятнадцать — румынский! В разных концах острова реют два несовместимых знамени. Что предлагаете?

— Чужой флаг без шума изъять и выставить охрану... — начал Берия.

— Без шума! — оборвал его Сталин. — Шум обязательно будет. Румынский король наверняка уже пошушукался с разными европейскими столицами, а может быть, не только европейскими, иначе он не посмел бы сунуться со своим флагом, после того, как мы водрузили свой.

— Не исключено, однако, и совпадение. Установка флагов произошла почти одновременно. Румыны, похоже, полагали, что они — первые... — слегка запинаясь, бесстрастным голосом произнес Молотов.

— Тем более. Потому — никаких действий, пока не вскроем подоплеку этой провокации. Посмотрим, какова ваша оперативность.

Бухарест был того же мнения. Обе державы, воткнув несколько торопливо и воровато свои древки среди камней, тут же одернули руки — пусть, дескать, знаки государственной принадлежности сами за себя постоят. Это как сургучные печати, срывать которые не рекомендуется.

День был ясный. На западном берегу четко виднелась лиманская крепость, контуры башен и новая мельница, на левом — домики Овидиополя среди зеленых холмов.

Поначалу высадки с двух сторон сильно напугали наших затаившихся беглецов, однако вскоре катера убрались и опять настала тишина. Солнцешло к зениту, лиман выглядел невинным и кротким, чайки осмелели, осваивая остров, не чувствуя, что за ним ведется перекрестное наблюдение, а над ним нервно перекатываются радиоволны. Беглецы позволили себе выйти на раз-

ведку, они с удивлением обнаружили противостоящие флаги — можете сначала представить себе радость Кати, когда она увидела, что находится на советской территории, а затем торжество Андрея, когда он нашел подтверждение тому, что он уже за границей. Катя посмотрела на него в упор и сказала:

— Вот теперь докажи, что ты мужчина. Сбрось королевский флаг. Тебе все простят.

— Мне никогда ничего не простят. Ты наших порядков не знаешь!

— Ты трус!

— Господи Боже мой, да живи ты на своей половине, а я буду — на своей! — И он провел босой ногой борозду по подсыхающему илу. — Вот и граница. А как стемнеет, я поплыву куда хочу. И ты — куда хочешь.

Обидно. Этим молодым людям созданы условия, как в начале мира. Тела и души их отличаются свежестью и чистотой первозданности. Пусть носик у нее скорей озорной, чем классический, а формы ее при небольшом росте обладают той плотной округлостью, от которой лиманцам обязательно приходит на ум словечко «тара��уцка», формально относящееся к сорту маленькой тыквы, а по смыслу означающее нечто вроде «пампушечки». Зато глаза у Кати большие, тревожные и тревожащие, какие-то возвышенно-молитвенные, что ли. А у него выражение лица умудренное и грустное, хотя плечи, руки, ноги скорей напоминают петушка, в котором осталось еще что-то цыплячье, однако, глядишь, и сила уже проклевывается. Они хорошо смотрятся рядом, но что же их отталкивает? Им дано такое короткое время для радости жизни, короткое не только потому, что их единственность на острове призрачна, а еще и потому, что мирное время в Европе отсчитывает последние десятки своих дней — последний день лета будет последним предвоенным днем. Ничего хорошего в будущем этих молодых людей я не вижу, скорбью и жалостью переполнено мое сердце, черная птица судьбы ни им, ни остальному миру не видна. А они поссорились и разошлись — каждый в сторону своего флага. Оказалось — оба они за свободу, но понимают ее по-разному. Она считает, что надо освободиться от гнусной власти денег, а он — от страшной власти идеологии. Она твердит, что на западном берегу лимана нет свободы, а он — что на восточном нет свободы... В конце концов Андрей первым

не выдержал, вышел на середину и разложил на клочке пергаментной бумаги сыр и хлеб. Она, поколебавшись, пересекла невидимую границу и сказала:

— Если хочешь, чтоб я съела, возьми свои слова обратно!

— Какие слова?

— А что в СССР нет свободы.

— Беру в некотором смысле. У нас действительно нет ни капиталистов, ни частной собственности.

— Вот видишь! — обрадовалась она и схватила сыр.

Они поели. Вода в лимане пресная, но муть вокруг острова еще не осела. Все равно пришлось черпать ее пригоршнями и пить. Было смешно, она фыркнула, обрызгав его, он тихо, почти беззвучно засмеялся, но остановить жернова своих мыслей не смог.

— Я стараюсь тебя понять, — заговорил Андрей. — Да, король, жандармы, фабриканты. Но все на виду, вы можете возмущаться и бороться с ними, у вас все называется своими именами: король — это король, коммерсант — это коммерсант, а наемный рабочий — это наемный рабочий. У нас же с ума сойдешь от всяческих подмен. Народ — это Сталин и партия. Как в анекдоте: кто пьет шампанское? Шампанское пьет народ через лучших своих представителей. Мы пикнуть не смеем, иначе сразу — враг народа. Свобода — это тюрьмы, лагеря, расстрелы, это диктатура пролетариата, поняла? Завтра же ты окажешься в НКВД и завтра же признаешься, что ты завербована пятнадцатью разведками. Тебя не просто будут мучить. Тебя убедят, что, призываясь, ты лишний раз разоблачишь происки империалистов и фашистов, это в интересах международного пролетариата, за которого ты готова отдать жизни!

Катя побелела от гнева и ударила его по лицу. И испугалась. Андрей поймал в воздухе очки, отвернулся, постоял так несколько секунд, пожал плечами, сплюнул и, покосившись на нее, выпалил:

— Фурия. Мне тебя очень жалко.

— Это мне тебя жалко, я тебя ненавижу! — Катины глаза наполнились слезами, голос дрожал: — Ты слепой, слепой, с тобой там что-то нехорошее случилось, и у тебя от злобы черные очки! У нас, а не у вас самое лицемерное общество. Дескать, Христос, добро, честность и честь. Держат дураков в страхе Божием. А кто побогаче, для тех закон не писан — ложь, грабеж, разврат. Тош-

но! Недаром во всем мире лучшие люди становятся коммунистами. Пусть твои личные обиды сгорят в чистом пламени Революции! Революция в осаде, я знаю, но скоро мир угнетения рухнет в междоусобной войне, и никому уже не понадобится никакая диктатура. Маркс и Ленин научно доказали, что государство отомрет за ненадобностью, некого будет подавлять. А ты рассуждаешь, как враг!

— Так ты пустила бы меня в расход? Мало тебе быть по лицу?

— Я не знаю, что я бы с тобой сделала! — воскликнула Катя и замолотила кулаками по его впалой груди.

Жара в Бухаресте стояла невыносимая. Король отыхал во дворце Пелишор — удобно, до столицы рукой подать, а уже горы, лесные карпатские вершины, дуновение легкой прохлады. Черный «мерседес-бенц» летел по серпантину, в нем сидел Ион Братиану, один из лидеров оппозиции. Он добился аудиенции у короля, недавно взявшего власть в свои руки и запретившего все партии. Его Величество сам возглавил некую массовую организацию, именуемую «Фронт национального возрождения». Ион Братиану был принят на веранде, которая парила над скалами и долами, словно орлиное гнездо. Король сидел за мраморным столиком и аккуратно раскладывал новые почтовые марки — он был одним из крупнейших филателистов мира. Лидер оппозиции поблагодарил за кофе и взял быка за рога, спросил, понимает ли премьер Его Величества господин Арманд Кэлинеску, что затеяла Москва в связи с этим дурацким островом.

— Мы понимаем. Мы все понимаем. Они дают нам шах.

— Совершенно верно. И у нас только два хода: либо в сторону Антанты, либо в сторону стран Оси. Конец политике нейтралитета, которую правильней называть политикой лавирования. Медлить нельзя, Москва нас слопает.

— И к какому ходу толкает оппозиция своего короля? — спросил король.

— Оппозиция считает, что для спасения Родины следует обратиться за помощью к Англии и Франции, то есть сделать ход в их сторону.

Король был из немецкого династического рода Гоген-

цоллернов, но сближаться с нынешней Германией опасался. Немцами правил высокочка Гитлер, бывший венский бродяга. Если подойдешь к нему слишком близко, он сядет на тебя верхом. В Румынии подпольно действует не только сталинская коминтерновская агентура, но и нацистская — легионеры Железной Гвардии, эти сильней и опасней коммунистов.

— Да, — сказал король. Он пинцетом отложил в сторону красную марку с профилем фюрера и взял марку с Георгом VI. — Да, я попрошу Чемберлена и Даладье напомнить о себе Сталину. Пусть он знает, что мы не одиночка.

В газете «Тимпул» появилась статья «Бессарабия — это не Судеты», в которой говорилось, что, если претензии Германии к Чехословакии были в чем-то обоснованы, поскольку в Судетской области жили немцы, то притязания Москвы на Бессарабию совершенно беспочвенны, поскольку эта область населена преимущественно румынами, это часть румынского княжества Молдавия, воссоединенная с Румынией в 1918 году. Неприличный шум, поднятый Советами вокруг маленького незаселенного острова, появившегося на Днестровском лимане, недостоин великой державы, каковой является Россия, и оскорбителен для румынской нации.

Советское посольство в Бухаресте немедленно передало изложение этой статьи в Москву. «Тимпул» — правительственный орган, с ним надо считаться, потому Молотов счел нужным проинформировать Сталина. Сталин, набивая трубку табаком «Герцеговина Флор», спросил:

— Откуда они взяли, что в Бессарабии живут румыны?

Молотов с готовностью достал из папки заранее подготовленную историческую справку, на длинном столе с двумя рядами стульев развернул карту. Stalin присел к столу. Молотов, наклонившись над его плечом, пояснил:

— Румыния как единое государство образовалась в середине прошлого века из двух княжеств — Молдавии и Валахии. Язык у валахов и молдован — один и тот же.

— Но Бессарабия, насколько я помню, в это время уже была в составе Российской империи.

— Совершенно верно, — кивнул Вячеслав Михайлович.

Сталин молча провел пальцем по Днестру в сторону Черного моря.

...Чайки метнулись врассыпную, черная туча вдруг нависла над островом, вселяя уныние и тревогу в сердца беглецов.

— Как мне быть с тобой? — вздохнула Катя. — Ты самоубийца. Бежишь от Советской власти к тете в Лиманск, но ведь Красная Армия не сегодня-завтра освободит Бессарабию. И не только Бессарабию...

— Что ж ты не дождалась?

— А я знаю, что скоро вернусь. Я такую записку и оставила папе и маме, чтоб не искали, а ждали. Недолго ждать. — Слова были уверенными, а в душе что-то ныло, как предчувствие, что исполнение желаний хоть и наступает, да порой не под тем соусом...

— Гроза будет? — спросила она, глядя на бегущую черную тучу.

— Следовательно, — сказал Иосиф Виссарионович, — внесем ясность в этот вопрос. Бессарабия не участвовала в формировании румынской буржуазной нации. Значит, никаких румын там нет и быть не может. У нас же в составе Украины имеется Молдавская АССР. Следовательно, молдаване уже утвердились как социалистическая нация...

— Но язык у них с румынами один и тот же, — напомнил педантичный Вячеслав Михайлович.

— Язык у них разный. Молдаванам мы дали русский алфавит, а румыны пользуются латинским... Что молчишь?

— Молчу, товарищ Сталин, потому что нет такого precedента в истории, чтобы алфавит определял...

Иосиф Виссарионович резко отодвинул стул, словно забыл, что за его спиной стоит Вячеслав Михайлович. Тот отскочил, умудрившись при этом не изменить выражения лица, точно голова у него жила сама по себе. Глаза у Сталина сверкнули желтизной, в голосе резко усилился грузинский акцент:

— Подумаешь, история! Мы возьмем эту старуху-историю за волосы и повернем куда надо. Большевики не просят милостыни у Истории, — можно и так сказать.

Молотов молча кивнул. Сталин раскурил погасшую трубку и добавил уже спокойней:

— В сущности, что такое «разные», что такое «одинаковые»? Вот мы с Троцким пользовались как будто одним и тем же русским языком, но языки-то у нас всегда были разные. Ты собираешься отрицать этот факт?

— Я не собираюсь отрицать этот факт.

— Я так и думал. Когда в Тирасполе завелись румынские националисты, патриоты писали мне письма, что те стремятся о francauzить язык, сделать его непонятным народу. Мы поможем патриотам. Мы для молдавского языка раскроем сокровищницу славянской терминологии, обогатим его с помощью братских народов нашей страны. Свой отдельный язык должен стать предметом гордости молдаван. Социалистическая Молдавия против буржуазной Румынии — только такая постановка вопроса перспективна, и никакая другая.

— А как быть с их флагом на острове?

— Будем исходить из того, что это тряпица. Тема для «Крокодила». Нас на такой мякине не проведешь. Один ученый почвовед уже начал давать показания Лаврентию. Кажется, нити от этого фокуса с островом тянутся в Мексику и Берлин...

В Берлине в зашторенном притемненном кабинете мягко журжал вентилятор. Адольф Гитлер дочитывал срочную информацию, напечатанную на машинке с очень крупным шрифтом — фюрер не любил пользоваться очками. Геббельс стоял у его кресла, опершись на подлокотник — он уставал стоять из-за хромоты и заранее присматривал себе опору.

— Все-таки Бессарабия — чья? — буркнул Гитлер, запутавшись.

— Мой фюрер, эту область между Прутом и Днестром Турция взяла у Молдавии, Россия взяла у Турции, Румыния взяла у России, когда распадалась империя. Последние лет пять Сталин не касался этого вопроса, а теперь в связи с загадочным появлением какого-то островка на Днестровском лимане все вдруг пришло в движение... Смею напомнить, что в южной Бессарабии имеется много немецких сел.

— Где этот остров?

Геббельс взял указку и направил ее в нужную точку на огромном глобусе, стоявшем справа на огромном столе канцлера. Гитлер встал и приблизил большую лупу в золоченой оправе к указанному месту.

- Где? Я не вижу.
- Мой фюрер, я докладывал, что остров появился вчерашиней ночью. Его нет еще ни на одной карте мира.
- Знак! Знак судьбы. Да, да, я, кажется, теперь его вижу. Маленький такой островок, чайки вьются, и, по-моему, на нем какие-то пляжники...
- Вы шутите, мой фюрер!
- Я сам не знаю, когда шучу, когда нет. Иногда во мне возникает голос провидения. Вот, я вижу, у волн вокруг острова красноватый оттенок. Это не смешно. Это предупреждение.

— Именно. Я как раз хотел сказать, что румынский король обратился к англо-французским plutократам...

Адольф Гитлер оторвался от глобуса, посмотрел через лупу на свою левую ладонь, как бы сверяясь с ее линиями, и заговорил, сначала еле слышно, потом все громче, взвинчивая себя и горячясь:

— Сталин начинает что-то во мне понимать. И я начинаю что-то в нем понимать. Этот кавказский азиат выделился из европейской революции и стал ее могильщиком. Недаром в Мексике так бесится Троцкий. Сталин объявил его моим подручным, но прекрасно знает, что с Бронштейном я никогда дела иметь не буду. Наступает время, когда Сталин может мне понадобиться. Румынский король спит с жидовкой, с Лупяской. Намекни Сталину, что мы с пониманием относимся к его интересам в бессарабском вопросе. Начинается большая игра. Я сегодня ночью почувствовал. Моя интуиция не ошибается.

— Грозы не будет. Видишь, туча уходит,— сказал Андрей и зажмурился: короткий слепящий блик, словно фотовспышка, невесть откуда ударила в глаза.

Они уже сидели рядышком, разговорились. И многому успели подивиться. Катя, например, пришлось растолковывать смысл такой фразы: «Вижу очередь, спрашиваю, что дают? Оказывается, ботинки выбросили». Кому дают? Куда выбросили? Ой, нельзя, понимать буквально, это выражения взамен прежних «продают», «поступили в продажу». Катя так и не поняла, что такое «почетный президиум» и чем он отличается от вызывания духов. Удивилась, что в комсомол вступают без всяких испытаний, опасных для жизни, более того,

получается, что с определенного возраста нельзя не вступать. А выбирают депутатов без выбора и единогласно. Зато и Андрей узнал много нелепого о румынских выборах, где соперничает дюжина партий, на участках дерутся, выкрадывают урны, подтасовывают результаты голосования, подкупают депутатов или даже убивают. Гимназисты обязаны ходить в церковь, сдавать закон Божий, петь гимн «Да здравствует король!». Такой обмен информацией свидетельствовал об ослаблении идейной напряженности между ними, они даже изредка позволяли себе шутить, смеяться друг над другом и над деталями жизни в тех двух мирах, между берегами которых они оказались.

Опять сияло солнце, уже миновавшее полдень и склоняющееся медленно в сторону Лиманска. Катя болтала ногами, освободила ступней из грязи нечто похожее на круглый камень, покачала его. Андрей спросил:

— А ты своим умом дошла до наших идей или тебя кто сагитировал?

— Ну, конечно, я и сама видела... хотя, по правде, мне глаза открыл Аурел из шестого класса мужской гимназии «Михай Витязул», он утечист, то есть комсомолец. Его отец погиб в Татарбунарском восстании 24-го года. Самого Аурела жестоко избили жандармы из-за подпольной брошюрки, чуть не исключили из гимназии, хорошо, что у его мамы есть связи, она таки сумела все уладить...

— Вот совпадение! — удивился Андрей. — Мой дядя тоже был татарбунарцем, после поражения бежал в СССР через Днестр, в него стреляли, потерял ногу. У нас он остался вне партии, его посчитали выходцем из зарубежной организации, а таким по уставу надо вступать заново, имея пять рекомендаций от членов ВКП(б) с довоенным стажем. Два года назад дядю взяли, отец на свою голову за него вступил. Короче говоря, все погибли — и дядя, и мои родители. Ты думаешь, это недоразумение, случайность? По всей стране ищут врагов, со страху друг на друга доносят, со страху доносам верят...

В первый раз Катя не возразила. Теоретически было ясно — обострение классовой борьбы, но язык не поворачивался сослаться на этот тезис, когда человек переживал, так мучительно выговаривал слова. Ему было больно. Катя закусила губу и задумалась. Андрей смот-

рел под ноги, вдруг наклонился и поднял старинную монету, покрытую рыже-зеленою коростой.

— Брось, — попросила Катя, — монеты клали на глаза покойников...

— Подожди, здесь, видно, какие-то древности. Может, клад у нас под ногами. — Андрей улыбнулся. — Будет, как при коммунизме: много золота, а купить нечего. Бедный наш остров. — Он выбросил монету, напевая «Люди гибнут за металл».

— Нет, скажи, — вскинулась Катя, — как по-твоему? Революция ошиблась или люди делают что-то не то?

— Люди делают что-то не то. Это я почувствовал на своей шкуре. А у тебя... у тебя был роман с этим Аурелом?

— Был, — Катя глубоко вздохнула и добавила без всякой связи: — Что же с нами будет?

— Прямо по Пушкину: «Куда ж нам плыть?» — грустно пошутил он. — Мы с тобой здесь как Адам и Ева. Даже инициалы совпадают.

Странное дело, Адам и Ева, вкусив от древа познания, увидели вдруг наготу свою, а эти молодые люди — каких плодов вкусили они, что упорно не видят друг друга?

Катя ласкала ступней тот круглый камень, что ей подвернулся. Ей захотелось вытащить его, взять в руки, что она и сделала, стряхнула с него налипшие комья земли и ахнула: это был череп. Залепленными илом глазницами он уставился на нее. Катя и Андрей вскочили, как ужаленные, она уронила череп и, содрогнувшись, прижалась к Андрею. Он машинально снял очки, а левую руку положил ей на плечи:

— Не бойся. Для нас живые опасней.

Катя отстранилась, с большим удивлением посмотрела на него, словно это он неожиданно сграбастал ее и прижал к себе. Андрей восстановил очки на носу и тоже с интересом стал ее разглядывать.

— А в любви ты признаешь свободу? — спросил он.

— Конечно. Буржуазная мораль — сплошное лицемerie!

— Так говорил Аурел?

— Что ты к нему прицепился? Я серьезно. У нас любовь задыхается от условностей, от фальши.

— А у нас она задыхается от идейности, коллектив копается в личной жизни каждого. Я не собираюсь раз-

лагаться, я люблю семью, детей, но не желаю ни перед кем отчитываться.

— Я тоже люблю семью и детей. Но пусть все будет по свободе, по правде.

— Иди ко мне, пожалуйста,— вдруг сказал он.

Она замерла, сердце заколотилось. Она растерялась, ощущив сразу два толчка — к нему и от него. Хоть он и сказал «пожалуйста», это все же выглядело посягательством на ее свободу.

— Ты, кажется, торопишься на запад, — сказала она.

— Опять возводишь баррикаду?

Катя демонстративно направилась под защиту красного флага.

Он неуверенно пошел за ней, остановился, улыбнулся, глядя, как она стоит у древка — не скажешь «как пионерка»: в брюках, которые ей длинноваты, в мужской рубахе — прямо Гаврош, если бы не копна уже сухих, ставших золотыми волос. Катя вызывающе вскинула голову: дескать, только тронь, а он вроде и не собирался, потому что, покачав головой, повернулся спиной и пошел по скользким камням в противоположную сторону. Он вытянулся в струнку у триколора — красно-желто-голубого флага, подождал, не засмеется ли она, затем решительно выдернул флаг из камней и бросил в глубь острова. Катя подпрыгнула и захлопала в ладоши. Он побежал к ней, поднял ее вместе с красным флагом над землей, закружили и поскользнулся, они упали, хохоча и целуясь невпопад.

— Подожди, подожди, что мы делаем?

— Мы свободны, делаем все, что хотим. Остров наш, понимаешь? Только наш. Мы в раю, пока нас не изгнали. Ну, давай, ты красива, как Ева. Верни мои брюки. — Он с ее помощью освободил ее от всего лишнего, освободил охотно выскочившие груди, бедра и стыдливо втянутый живот. Она села, съежилась, охватив руками колени.

— А ты? — спросила.

— Я? — Оказалось, он стесняется при таком ярком свете. — Лучше ты встань, покажись.

Она встала вполоборота.

— Господи, — выдохнул он. — Вот это да!

— А ты? — повторила она, довольная произведенным впечатлением и раскрасневшаяся.

— Сейчас, — сказал он. — Но в нашем раю нет даже фигового листочка...

— Ладно уж,— сказала она.— Ладно.— Она чувствовала себя свободно и смело, правда, во рту пересохло от волнения, слегка кружилась голова.

Он смешно зацепился ногой, вылезая из черных трусов.

— И очки,— напомнила она.— Адаму очки не к лицу...

На обоих берегах застучали телеграфные аппараты. «Русские высадились на острове и посягнули на наш флаг!» — эта ужасная весть ошеломила Бухарест. Одновременно не менее ужасная весть докатилась и до стен Кремля. «Румынские агрессоры сбросили советский флаг на острове...» Берлин через своих агентов перехватил шифровки, Канарис положил оба сообщения перед собою и почесал в аккуратно постриженном затылке: «Кто из них врет? Или оба врут, или (следует учесть и такую невероятную возможность) оба говорят правду. Как бы то ни было, а события не заставят себя ждать. Лига Наций, разумеется, срочно созовет конференцию по требованию Румынии. Значит, надо немедленно дать почувствовать Румынии, где она находится: между Венгрией, Болгарией и Россией...» Мысль Канариса совпала с намерениями фюрера, что совсем неудивительно. Ведомство Риббентропа пришло в движение, Хорти в Будапеште дали понять, что настало время вспомнить о венграх в румынской Трансильвании, болгарскому царю Борису — о спорных областях в румынской Добрудже, а Москве ничего не надо напоминать, там сами все знают... В Румынии завтра же разразится кризис, король отречется в пользу сына, который тут же бросится в объятия Гитлера и Муссолини. Так думали в Берлине, а в Бухаресте король и его премьер Арманд Кэлинеску (он всего через несколько недель будет убит железногвардейцами прямо на улице), заручившись поддержкой западных демократий, решили не ждать никаких других демаршей и дали приказ о мобилизации, закрытии границ и приведении приграничных войск в полную боевую готовность. Москва тоже не стала миндальничать, Москва направила ультиматум в Бухарест: немедленно очистить остров, иначе СССР не отвечает за последствия. Бухарест возмущенно ответил по телефону, что никаких румынских войск на острове не было и нет, а напротив — румынский государственный флаг сброшен неизвестными лицами с советской стороны и т. д. Товарищ Сталин на-

кричал на Лаврентия Павловича Берию, ибо по дипломатическим каналам пришло подтверждение, что действительно — румынский флаг тоже исчез с острова. Берия клялся и божился, что он тут ни при чем, а чьи это козни — узнает за сутки, не позже.

— Какие там сутки! Нет у нас никаких суток! — отрезал Сталин и выругался по-грузински.

В этот момент подоспело новое сообщение, на сей раз прямо касающееся наших беглецов...

Они наслаждались собой в своем нищем мимолетном раю. Наслаждались весело и ненасытно, в их взаимной жадности повинна была не только молодость, но и полуосознанное чувство обреченности. В их любовной отчаянности сквозило отчаяние. Не было у них никакой вечности, ни даже тени ее, день кончался, солнце над Лиманском в легких облаках размазало алые полосы, поднимался ветер, раскачивал чаек, вот-вот опустится занавес — может быть, именно потому бедная их непрожитая молодость старалась вычерпать вечность из самой себя: пока поешь песню, она ведь не кончится. Они почти не отдыхали, они шалили и безобразничали, вымазавшиеся илом, как чертенята, делали то, отчего дуреют и вскрикивают, а потом нежно шептались и нежились. Было еще светло, но они не знали стыда, словно никто их не видел. Но кто может поручиться, что, когда мы одни, нас никто не видит? Я намекаю не только на скрытых наблюдателей-соглядатаев слева и справа, пространство ведь трехмерное, оттого не исключено, что кто-то смотрит и сверху, смотрит понимающе и ласково — у него свой ход мыслей, отличный от нашего...

А слева и справа на остров уставились не мигая. Мощную стереотрубу, срочно привезенную из Одессы, установили на берегу, замаскировали и приступили к наблюдению. Рядовой Иван Безлычко прилип к окуляру и долго не издавал ни звука.

— Ну, чего, чего? — тормошил его командир.

Иван, не отрываясь, всхлипнул:

— Товарищ командир, там парень с девкой трахаются!

Командир оттолкнул Ивана, собственными глазами проверил наблюдение, всплеснул руками и побежал докладывать в окруж по телефону...

Румынский капитан Мунтяну был обладателем уникального цейсовского бинокля, мощного, как телескоп.

Капитан поймал в подрагивающий объектив какие-то фигурки, навел фокус, присвистнул и сказал в телефонную трубку, которую услужливо держал подле него ординарец Василе:

— Домну Арделяну, пардон, но там большевик с большевичкой занимаются любовью...

В считанные минуты потрясающая новость дошла до самого Сталина, который отложил поездку на «ближнюю дачу» ввиду неясности международной ситуации. Сталин вскинул брови и повторил вслух слова донесения: «...иностранные мужчина и женщина без признаков одежды совершают непотребные действия перед нашими пограничными войсками». Лаврентий Павлович похотливо хихикнул, и совершенно зря, потому что Сталин пришел в такую ярость, каковой давно не бывало. Надо сказать, вождь ненавидел эротику (фюрер тоже ее не жаловал). Половая потребность временами беспокоила его, заставляя нисходить до той или иной женщины, что, хоть и доставляло ему приятность и облегчение, все же не мешало презирать это занятие. А тут, словно в пику ему, наглое совокупление у самого подножия великой державы.

— Враги плюют нам в лицо! — хрюплю выкрикнул Иосиф Виссарионович. — Они посмели... нам... мне! Такую гадость мог выдумать только этот козел, Троцкий. Немедленно — морской и воздушный десант на остров. Накрыть, допросить. Понял? Взять живьем. Сейчас же!

Берия, как бегемот, опрометью бросился вон из кабинета.

А генерал Арделяну, как человек светский и щепетильный, не решился доложить наверх столь игривое наблюдение капитана пограничных войск Мунтяну. Мало ли что померещилось этому ловеласу и покеристу. Пусть даже правда, с такой правдой круглым идиотом предстанешь перед Его Величеством. Не только во дворце — в последнем бухарестском кабаке будут падать со смеху, он станет притчей во языцах... Но когда в небе с той стороны появились три кургужих истребителя и одновременно поступили разведданные о подозрительном оживлении на русском берегу, пришло все-таки докладывать куда надо.

Спустились сумерки, круто, по-южному переходя в ночь. В Овидиополе и Лиманске был отключен электрический ток. Противоборствующие стороны, как слово-

рившись, пустили слух о какой-то неполадке, чтобы не волновать население, пока на лимане в полной темноте назревали страшные события. С двух сторон к острову почти неслышно приближались две армады всевозможных плавсредств вплоть до мобилизованных рыбакских лодок. Они были битком набиты десантниками.

Гитлер бушевал, ситуация вырвалась из-под контроля, его как бы в игру не приняли, карты не сдали. Эта внеплановая заваруха того и гляди помешает ему разделаться с Польшей, потянет в ту сторону, где он может оказаться между двух огней — Балканы, как известно, пороховая бочка Европы. Что привело к внезапному политическому кризису? Кто поверит, что какая-то секуально озабоченная парочка перебаламутила Европу? Нет, тут еврейские штучки. Кому еще в голову придет разыгрывать Адама и Еву на голом острове, задурить всем головы, чтобы не арийцы, а семиты сорвали всемирный куш!

Он повелел сию секунду доставить к нему тибетского монаха, имени которого никак не мог запомнить, зато не сомневался в его причастности к мистическим тайнам. Монаха всегда держали поблизости, потому не прошло и минуты, как он возник в дверях кабинета рейхсканцлера, с достоинством отвесил поклон, сложив руки на груди. Рядом встал стройный молодцеватый переводчик в военной форме. Гитлер, раздраженно отбросив чуб, лезший ему в глаза, спросил, что может означать этот дурацкий остров с любовниками, на что намекает судьба. Пока переводчик перевел, монах еще несколько раз поклонился, закатил белки и замер.

— Чего он молчит?

Но монах как раз прошептал что-то, переводчик, сбившись, переспросил и, щелкнув каблуками, четко произнес:

— Пусть повелитель Германии не беспокоится о том, чего нет.

Как по команде на лимане с двух сторон ослепительно вспыхнули прожектора, открыв две цепи судов, готовые броситься друг на друга. Всего секунду длилась немая сцена, потом прожектора забегали, как бы подметая пространство между фронтами: никакого острова не было!

Из-за туч показалась полная луна. Она выглядела призрачно и хитровато. Вода лимана между неприятель-

скими флотами медленно кружилась, как черная пластиинка. Острова не было.

Пограничники подобрали мокрые знамена — каждый свое, достались им неказистые трофеи — мужская рубашка и розовый лифчик.

История вернулась на круги своя.

Р.С. Из-за Бессарабии действительно не начинались войны. Бог миловал. Разные государства в разное время «прихватывали» ее (теперь сказали бы — «приватизировали»), и все были по-своему правы и при этом — виноваты. Потому что Бессарабия — вековое дитя межнациональных браков (полюбовных или неравных), в ее жилах течет несколько основных кровей и дюжина добавочных. Бессарабию никак не отнесешь к чисто этой земле или той. А к чему (или к кому) ее отнести? Нет ни бессарабской национальности, ни тем более — такой государственности. А жаль. Могла бы получиться неплохая Швейцария...

Несколько государств спорили — кому принадлежит этот край, не спорили только жители самого этого края, у которых не было территориальных претензий друг к другу, не было границ между домами, улицами, как не существует границ и в душах — особенно тех людей, в чьих жилах течет смешанная кровь. А таких — мало ли?

Врожденный «голос крови» — это миф. Младенец, изъятый из родной среды, может стать кем угодно: русский — немцем, немец — русским, не говоря уже о Маяугли. Язык и культура — вот что определяет, скажем, Пушкина, хоть он и не забывал о своем этническом происхождении...

В Бессарабии, естественно уживаясь, образовалось со временем многослойное культурное и языковое пространство: молдавское, русское, украинское, болгарское, гагаузское, еврейское, армянское, греческое...

При державном споре о судьбе Бессарабии я всегда думаю о том, что время не проходит даром. Если у мужика увели любимую, а он через много лет возвращает ее себе, пусть не удивляется, что она немножко не такая, как была. Она успела родить от другого. А ребенок — это такой факт, который никак не укладывается в аргументы политиков...

Ежели копнуть глубину веков, то вообще окажется, что первыми историческими претендентами на междуречье были дако-фракийские племена и древнегреческие поселенцы, то есть те, кого уже в помине нет. А при них и русских и румын еще вовсе не было...

Бессарабия склонна к межнациональному миру. Если ее оставить в покое, она будет жить, как жила, — не делая различия между соседями по крови, по вере или по обычаям.

Но я не знаю, оставят ли ее в покое. На наших глазах два основных претендента на Бессарабию оказались в стороне: Румыния — за Прутом, а Россия — за сотни километров. Два новых государства обосновались на земле бывшей Бессарабии: в центральной части — Молдавия, а в южной и северной — Украина. Недавно на берегу Днестра, в Бендерах, пролилась кровь — между левобережной и правобережной Молдавией...

Автор тоже не может похвастаться чистотой крови, у автора тоже несколько основных и дюжина добавочных, но он как-то умудряется ладить с самим собой и не проводит границы между левой и правой рукой. Чего и желает той земле, которую любит.

А любовь — она от политики не зависит, она принадлежит другому измерению, куда более высокому и долговечному.

Июнь 1995



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ

Бритва

*Время было смычком, а ты — скрипкой,
но все чаще по волнам времен
ненасытные Сцилла с Харивдой
с четырех налетали сторон.*

Мужчины не плачут, повторял отец. Он, конечно, никогда не плакал. А я... силился быть мужчиной, но все-таки надо учесть, что я был гораздо моложе отца.

Я загубил папину любимую пластинку, где Вертинский пел про ветер в нашей степи молдаванской и про то, как легко с душою цыганской кочевать, никого не любя.

Эта мужская независимость была мне очень по душе. В порыве самостоятельности я, оставшись один в доме, покрутил ручку патефона и попытался установить пластинку на вертящемся диске. Она тут же весело выпорхнула из рук... .

Сначала, не соглашаясь с бедой, я лихорадочно прикидывал, как скрепить осколки, потом понял, что судьбы не миновать и надо встретить ее, как подобает мужчине.

Я не убежал из дома, не заревел в голос, не отбивался, прося пощады, а, бледный и решительный, скинул штанишки, лег на диван и молча вытерпел порку. Отец, потрясенный моим мужеством, всыпал мне меньше, чем полагалось. А может, почудилось так, потому что боль не так больна, когда ее не боишься.

Мужчины не плачут...

Я стал следовать этому правилу и в драках, приходил домой, улыбаясь рассеченными губами, и счастлив был, если попадался отцу на глаза.

Но, оказывается, мне еще далеко было до победы над

собой. Жил у нас Петька, белый петушок. Сколько петухов я потом перевидал — все на один манер: пустые, кичливые птицы. Но Петьку никогда не забуду. Петька любовно выделил из всех людей моего отца, и эта любовь выделила Петьку из петушиного рода-племени. Как только распахивалась калитка, он кидался к отцу, восторженно хлопая крыльями. Отец кормил его из рук. Обычно суровый, он открыто радовался этой петушиной привязанности и светлел лицом. Он носил в кармане кукурузные зерна...

В душный, сухой полдень, когда вот-вот что-нибудь должно случиться — гроза или землетрясение, — отец открыл калитку, а Петька не появился. Удивленный отец нашел его в глубине двора. Петька понуро стоял у забора, зернышек с ладони не клевал. Отец пощупал его свесившийся гребешок, взял Петьку под мышку и пошел через дорогу к ветеринару. Мне велел ждать.

Больше десяти минут я не вынес. Крадучись, подобрался к той изгороди, за которой лечили Петьку, заглянул и похолодел от ужаса: ветеринар сидел на корточках и толстыми пальцами перебирал красные внутренности петуха. Отец стоял рядом.

— Ты смотри, — покачал головой ветеринар, — а я то думал, что у него — чумка. Зря его стрихнином угостили...

Отец круто повернулся к выходу, не простясь с убийцей, а я пулей бросился домой, заметался по двору, не находя себе места, потом заперся в дощатой уборной и тайно от всех выревелся до изнеможения.

Отец же вел себя, словно ничего не случилось. Правда, неделю спустя купил другого белого петуха, но тот был петух как петух, и мы его вскорости съели.

Мужчины не плачут...

Время шло. Петьку затмил Рекс — охотничий пес, умница. Отец говорил ему: «Рекс, нельзя!» — и бросал на пол кусок мяса. Рекс опускал печальную морду на лапы и выждающе смотрел то на отца, то на мясо, лежащее у самого его носа.

«А вы уйдите!» — предлагал кто-нибудь дотошный. Отец выходил на веранду покурить. Гости наперебой кричали Рексу: «Можно!» — даже подталкивали его, но он грустно упирался. Завида возвращающегося отца, Рекс весело подскакивал к нему, оглядываясь на тот несчастный кусок мяса: «Видишь, я его не тронул, даже

не понюхал, хотя, честно говоря, запах у него чертовский, за версту слышно...»

А как он страдал, когда отец — тоже при гостях — предлагал ему соленый огурец: «Рекс, ешь!»

И Рекс ел. Ел уморительно — жевал кисло и вяло, чисто по-стариковски, и не отводил от отца переполненных слезами глаз. Но ни в том, ни в этом случае в его взгляде не было ни капли рабской угодливости. Он как бы говорил: «Что ж, ты хочешь еще раз испытать мою любовь — пожалуйста, убедись, я ради тебя все сделаю. Я тебя не подведу, не осрамлю перед этими твоими двуногими друзьями,— они так громко хохочут, но разве ради тебя съедят какую-нибудь гадость? И вообще не умеют дружить».

Тут Рекс несколько преувеличивал: был у отца настоящий друг — Миша, которого никто не звал по отчеству, даже я. Миша, кстати, души не чаял в Рексе, но тот вежливо принимал его любовь, соглашался с ней — не более.

Как я уже сказал, Рекс был охотничим псом. На охоте — совсем другое дело! — отцу не приходилось ни приказывать, ни запрещать. Они охотились молча, только переглядывались, прекрасно понимая и чувствуя друг друга. Часто даже отец его слушался, подхватывал на лету его немые команды, подаваемые склоненным глазом, левым ухом, кончиком хвоста.

Стратан отчаянно завидовал отцу и настырно пытался купить у него Рекса. Стратан частенько пристраивался к компании охотников, не раз встречался с отцом в клубе за партией в покер. Сначала как бы в шутку заговаривал: «Продай, не то реквизирую». Отец отшучивался: «Подарил бы, да сбежит ведь!» Но с властью шутки плохи. Стратан стал всерьез приставать, уговаривать, дуться. Хотя каждому дураку было ясно, что отец ни за какие блага не уступит Рекса, Стратан все набавлял цену, потому что был самодовольно упрям и не мог согласиться, что в Лиманске есть вещи, которые ему не удается. Стратан шестой год возглавлял жандармский пост.

И все-таки настал день, когда шеф понял, что не видеть ему Рекса. И он отомстил — в рамках закона. Улучил момент, когда соседские ребятишки выпросили у отца Рекса на зайца. Они бегом, с визгом и гиканьем, бросились на полянку за виноградниками. Вот тут-то

появился Стратан и застрелил Рекса. «Сожалею, но я поступил правильно. Известно, что примария¹ постановила пристреливать собак, обнаруженных за городом без хозяина. Я не успел заметить, что это ваш пес. Очень сожалею. Я готов возместить убытки...»

А мальчишки, которые, плача, прибежали к отцу, рассказали следующее: шеф подозревал Рекса. Тот остановился на скаку и, узнав, доверчиво подбежал. А когда Стратан, улыбаясь, направил на него двустволку, Рекс не шелохнулся — он отлично знал, что такое ружье, но вильнул хвостом, показав, что понимает шутку. Ему и в голову не пришло, что знакомый отца, подозревавший его, может... Смог. Бедный Рекс, отец привил ему роковую иллюзию, что человек собаке — друг...

Отец спокойно курил, не глядя на Стратана. Потом сказал:

— Мы с вами больше не знакомы, господин шеф.
— Да стоит ли из-за собаки...

— Стоит, господин шеф. Поторопитесь уйти. — Лицо у отца было какое-то зеленое, странное — шеф глянул на него и действительно заторопился...

Мужчины не плачут.

Хоть я любил и жалел Рекса куда больше, чем Петью, в тот раз я выстоял. Во-первых, стал капельку постарше и сумел «прикусить сердце», как говорят молдаване. Во-вторых, ненависть сушит глаза, — я придумывал тысячи способов мести Стратану, и все мне казалось мало.

Потому я удивился, что Миша чуть не разревелся. Он кусал губы и отворачивался.

Миша был не совсем мужчиной: он на охоту не ходил, не курил и не имел врагов. «У меня есть друзья, потом дружки-приятели, потом знакомые, потом незнакомые. Зачем мне враги? Любой человека можно повернуть к себе хорошей стороной. А нет таковой — можно просто отвернуться, перевести в разряд незнакомых...» Каждый новый человек сперва обязательно нравился Мише, и сам он в ответ искренне стремился понравиться. И Мишу любили, особенно женщины. Я его тоже любил, хоть он и не был настоящим мужчиной. С ним можно было шалить, кувыркаться на полу, и это было здорово, потому что Мише незачем было подла-

¹ Примария — городская управа (рум.).

живаться к моему возрасту — он только с виду выглядел взрослым...

Миша был ровесником отца, убежденный холостяк, шутник и балагур. Миша купил приемник и первым долгом поймал Москву. Вдруг мы впервые услышали:

Сердце, тебе не хочется покоя,
Сердце, как хорошо на свете жить.
Сердце, как хорошо, что ты такое,
Спасибо сердце, что ты умеешь так любить!

— Какая песня, Алеша! Господи Боже ты мой, какая песня! — всплеснул руками Миша. — Ты понимаешь, Алеша, большевики — настоящие русские, вот ведь какие песни поют!

— Да, — сказал отец, — у них свежесть. Это точно.

— Именно, — вскочил Миша и повторил (он сразу схватывал мелодию): — «Сердце, как хорошо на свете жить». Черт возьми, молодая страна, завидная. А что мы поем? «Были когда-то и мы рысаками...» или:

Ямщик, не гони лошадей,
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить.
Ямщик, не гони лошадей...

Что мы поем, Алешенька? «Встретились мы в баре ресторана...» (Миша отлично копировал Лещенко и Вергинского) или: «Все равно — где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц...» Или румынские песни. Прекрасные песни, но все минорные, томные. Ты понимаешь, какая в этом политика? Где рассвет, где закат?

— Чур, без политики. Уволь, — отмахивался, улыбаясь, отец, для которого политика была бранным словом. — Лучше споем:

Как много девушек хороших...

— Дура, — смеялся Миша, — ты женатый. Это не для тебя.

Они были разными — отец и Миша. Но в одном сходились полностью — в неистребимой тяге к шутке, веселой проделке. Будто назло окружающим, они не только не торопились стать солидными и взрослыми, а, напротив, медлили и упирались. Промотав три четверти молодости, они никак не хотели расстаться с последней четвертюшкой озорного мальчишки, выдумщика и затей-

ника. Встречаясь, они как бы складывали и умножали свои дольки, молодея на глазах. Хотя я не очень-то понимал их баловство — уж больно не вязалось оно с той каменной мужественностью, которая мне так импонировала, — это не мешало мне хохотать до коликов, до слез — такие слезы я разрешал себе охотно.

Что делать, например, если пришел домой, а дверь заперта и ключа нет? Отец, недолго думая, открыл перочинным ножом форточку, через нее — окно, а когда мы с мамой вернулись... мама на редкость доверчива, поэтому отцу всегда удавалось ее разыграть.

— Ой! — вскрикнула мама, заметив, что дверцы шкафа распахнуты, ящики комода выдвинуты, стулья в беспорядке, один даже опрокинут, а скатерть на полу.

Только мама собралась с криком «Воры!» кинуться за помощью, как в простенке за ковром кто-то прыснул. Мама от ужаса застыла как вкопанная, а я метнулся и храбро сдернул настенный ковер, который был как-то странно всучен. За ним оказался пунцовый от сдавливаемого смеха отец. Конечно, нелегко ему пришлось, пока добился прощения, ласками и поцелуями успокаивая маму...

Я был горд — отец назвал меня молодцом, хотя моя храбрость, признаюсь, не была кристальной: я успел усомниться в серьезности происходящего...

А что придумал Миша на Рождество? Во-первых, он заставил себя ждать, чего с ним не бывало отродясь. Гости недоумевали, празднество не клеилось. Наконец двери распахиваются и появляется торжественный Миша с огромным высоченным тортом на вытянутых руках.

Дамы ахают от восторга и удивления, а Миша небрежно объясняет, что это он со своей матушкой изготовил. Миша водворяет торт на стол и предоставляет моей маме почетное право разрезать его. Польщенная мама берет нож, долго возится, краснеет, встревоженно поглядывает на отца — торт не режется, нож не берет его. Мама волнуется — боится и Мишу обидеть и свой авторитет уронить. Отец с подходящей шуткой о мужском превосходстве спешит на выручку, приподнимает торт и замирает: больно уж он легкий! Тогда поворачивает его набок, и опешившие гости с досадой видят обыкновенное сито, покрытое кремом. Хохот, мама бранит Мишу, а он выскакивает в прихожую, якобы спасаясь от дамского гнева, и возвращается с набором от-

личнейших пирожных... Мир восстановлен, праздник идет своим чередом, «торт» убран на подоконник, но Миша, как художник, не удовлетворенный своим детищем, все поглядывает на него, будто торт еще на что-то подбивает, а на что — не сразу поймешь...

— Дамочки и господа! — озаренный Миша встал над столом, прося тишины. — Вручим-ка сей торт примарю... нет, Стратану! Беднягу население не балует вниманием...

Замазали кремом ножевые следы, позвали прислугу:

— Отнеси господину шефу, но не говори от кого. Так, мол, и так, от почитателей, и сразу сматывайся...

Милые шутники, они никак не ожидали того, что произошло.

Вечер у Стратана начался неудачно. Сын его Титус, великовозрастный гимназист, приехавший на праздники из Бухареста, некстати стал рассказывать о покушении на премьер-министра. Он жестикулировал, судорожно заглатывал воздух и не мог остановиться, хотя аппетит у гостей был уже изрядно попорчен.

— Железногвардейцы, понимаете, подсунули в багажник автомобиля бомбу с часовым механизмом... Трах-тараах! Человеческие мозги, понимаете, у моих ног! Вот как этот студень подрагивают... Понимаете!

Тут служанка и внесла торт, объявив срывающимся голосом, что это подарок.

— От кого? — спросила мадам Стратан.

— Какая-то девушка принесла, сказала — от жителей.

Стратан, несколько удивленный, и все же очень довольный этой разрядкой, поднялся с салфеткой, заткнутой за воротничок, и лично освободил место для торта. Мадам Стратан, розовая и счастливая, оглядывала гостей: дескать, вот видите?

— Осторожно! Тут что-то не так! — сказал помощник шефа, худощавый и нервный молодой человек.

— Всегда у тебя что-то не так! — прогудел Стратан. — Вот ты, сластена, и отведаешь первый кусок!

Стратан решительно, как палач, резанул торт, нож задрожал, скользя, и раздался противный металлический скрежет. Во внезапной мертвой тишине помощник шефа деревянными губами прошептал: «Адская машина!» Гимназист с криком: «Караул!» — высадил окно. Реакция остальных была молниеносной, — задыхаясь и

воя, отпрянули от стола, и через несколько мгновений в столовой лишь две дамы лежали в обмороке, а сам Стратан одиноко застыл над столом, выронив нож, не отрывая вытаращенных глаз от «адской машины». Затем, обливаясь потом и замирая, он стал пятиться задом в спальню, позвонил и поднял жандармов по тревоге. Дом был оцеплен, через окно самые храбрые пожарники ударили из брандспойта по «адской машине».

— Сито! Убей меня Бог, сито! — радостно завопил рябой пожарник.

Он был потом уволен. Ибо, прежде чем вонить, надо сообразить — не повредит ли твой вопль начальству.

Для сохранения престижа Стратану нужна была настоящая бомба. И она была представлена как вещественное доказательство в вышестоящие инстанции. Но тот идиотский вопль: «Сито! Убей меня Бог, сито!» — услышал весь город, будто он передавался по радио.

И город хохотал. Стратан долго не появлялся на людях, исподволь пытался дознаться, кто ему такую свинью подсунул, но, говорят, — безуспешно... Уже весной запахло, о «покушении», устав смеяться, вспоминали все реже и реже, как вдруг ночью в парке был найден Миша — без сознания, избитый до полусмерти. Придя в себя, он толком ничего не смог объяснить. Возвращался из клуба за полночь через парк. Тут его схватили сзади, заткнули рот кляпом, накрыли мешком и долго били, — кажется, сапогами...

Стратан первым стал искать «бандитов». Искал необыкновенно шумно и ретиво, наконец задержал двух пьяниц, но за отсутвием улик месяца через два отпустил их.

Миша кашлял кровью — ему отшибли легкие. Врачи ничем не смогли помочь — Миша умирал. Каждый день его навещал отец. Миша лежал в своей маленькой холостяцкой комнатке, день и ночь у его изголовья плакала старенькая матушка, все просила у Миши согласия пригласить священника. Но Миша и отец, оба друга, бравировали своим свободомыслием, что в определенных кругах было в ту пору признаком хорошего тона. Отец в последний раз был в церкви, когда венчался, и то по слезной просьбе родственников матери. А Миша — и не помнил когда. Он слабо улыбался и все пытался шутить, что все равно попадет в рай, ибо избегал женитьбы, как те святые отшельники, бесспорочные мученики. Но в кон-

це концов Миша пожалел мать, позволил отпевать себя в церкви, только с одним условием: чтобы до кладбища оркестр играл «Сердце»...

Отец хоронил друга. Был нестерпимо яркий осенний день. Миша лежал в цветах, спокойный и отрешенный. Было тихо-тихо, когда его вынесли из церкви, и тут впереди пошел оркестр и грянул:

Сердце, как хорошо на свете жить.
Сердце, как хорошо, что ты такое,
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить...

Улицы были полны народу, двери магазинов и окна домов распахнуты, Миша плыл над толпою, цветы покачивались, музыканты высоко в небо бросали молодую веселую песню, и чем горше подкатывал к горлу горячий комок, тем громче били литавры, тем ослепительней горели медные трубы.

Сердце, как хорошо на свете жить...

Мне было жалко Мишу, я плохо видел его из-за набегающих слез, никак не мог поверить, что он мертв на всегда, что он не слышит своей любимой русской песни, этой большевистской песни, которая впервые звучит здесь во всеуслышанье, по всему городу, и полицейские вынуждены перед ней снимать фуражки с королевским гербом. Часто потом мне снился Миша в гробу, он открывал глаза и поворачивал голову, а его продолжали хоронить, и я в страхе хотел крикнуть: «Стойте, он жив!» — но голоса не было, и гроб несли дальше, и Миша прощально смотрел в яркое небо над головой...

Миша просил не плакать. Но, пожалуй, только один человек выполнил это: отец. Сосредоточенный и собранный стоял он в церкви, когда отпевали Мишу, и своей неподвижностью его лицо походило на Мишино. Сосредоточенный и собранный выносил он гроб и шел за гробом с обнаженной головой. Когда у кладбища порыв ветра удариł пылью в лицо и все стали тереть глаза, отец и здесь не заморгал, не зажмурился, — может, потому, что был в очках...

Я никогда не видел слез отца. Но как-то, много лет спустя, он рассказал мне одну подробность про отступление в Крыму.

В те дни он был на краю последней утраты. Семья осталась за морем, в окружённой Одессе. Он наказал немедленно выехать, — последним судном, которое брали беженцев, был теплоход «Ленин». Вскоре он узнал, что теплоход, атакованный с воздуха, затонул в открытом море. Никто не спасся.

Отец с остервенением рыл противотанковый ров, рыл, поставив на карту все: «Если не упаду до вечера, значит, их не было на теплоходе, не успели». Он не упал. Он уцепился за какое-то яростное суеверие: «Пока держу себя в руках, все будет хорошо».

Вечером, в слабом свете заходящего солнца, когда изнеможенные бойцы легли где попало, отец, смочив из фляжки лицо и кое-как вспенив его обмылком, достал свою шеффильдскую бритву — единственную сохранившуюся из дома вещь — и стал тщательно соскребать щетину с исхудавших щек. В глазах свивались кольцами черные змеи, в ушах стоял грохот, будто танк крутился на месте, но отец аккуратно и упрямо побеждал смерть — он брился...

Через несколько дней пришло известие, что Одесса сдана. Стройбатальон бессарабцев, оказавшихся далеко от дома, приуныл. Пришел политрук — единственный вооруженный среди всех, говорил, что Гитлеру скоро капут, что отборные его дивизии уже полегли на полях сражений...

- А правда, что Одесса... — спросил кто-то.
- Одесса эвакуирована по приказу Ставки.
- А Москва?..
- Кто паникер? — вскрикнул политрук.
- Не кричите, товарищ политрук, — сказал отец. — Всем нам тяжело. Если вы знаете больше нас, то объясните, что к чему...

Политрук посмотрел на отца в упор, потом оглядел обступивших его бойцов и медленно опустил руку с пистолетом.

- Гитлеру Москвы не видать! — И закричал: — Застрелите меня вот этим пистолетом, если не так!
- Почему не даете нам винтовок? — глухо сказал отец. — Я охотник. Стреляю без промаха.

— А кто будет рвы копать? Кто, я тебя спрашиваю?..

Ясно — кто. И опять рыли противотанковые рвы, траншеи, и опять, когда, голодные, обросшие, ложились вповалку, отец, спасаясь от бессилия и режущего чувст-

ва полного одиночества в мире, доставал свою бритву отменной шеффильдовской стали и брился. Утром было некогда, а вечером... Пусть смеются, кому охота, пусть молится, кто верит, а я вот бреюсь ежедневно...

— Ого! Собственной бритвой обзавелся? — спросил Комроты.

— Так точно, — ответил отец. — Из дому.

— Ишь ты жмот! А ну, отдай ротному парикмахеру, пусть всех бойцов омолодит. Его инструмент затупился.

— Простите, нет. Он ее загубит.

— Да ты что? Бритвы жалко? Тут такое творится...

— Нет, — сказал отец спокойно, — нет. Ни в коем случае. — И добавил: — Я уже все отдал. Все потерял. Жену и сына. На мне нитки нет из дому. Это последняя вещь. Нет. Не настаивайте.

Как объяснить? Пусть это заскок, блажь, но последняя вещь уже не просто вещь, а... нет, ничего тут не объяснишь.

Комроты покачал головой, собираясь что-то сказать. Вдруг на бреющем полете вынырнули «юнкеры», построчили пулеметами по степи, а тут еще примчался вестовой, — мол, немцы нас обошли...

Опять пришлось бросить все работы, батальон спешным маршем устремился к Керчи. Вторые сутки шли без отдыха, воды нигде не было, здоровяки шатались на ходу и падали. Многие побросали лопаты, вещмешки, даже разулись, чтобы идти легче.

Отец, как загипнотизированный, шел и шел вперед с полной поклажей, стиснув зубы, и похваливал себя: «Все упадут — один дойду. Видишь, как пригодились изнурительные охотничьи переходы, видишь, как здорово, что не отрастил себе животика! Мы, худощавые, народ живучий...»

Зато в керченском пригороде, в сарае, куда ввалился человек двадцать, отец, едва лег, заснул как убитый. Затемно проснулся, будто от толчка, — третьи сутки не брился!

Но вещмешка не было. Забыл, не положил под голову — и на тебе! Бритва!.. В первый раз в жизни ему захотелось биться головой об стену или повеситься. Отцу показалось, что он еще спит, — ударил себя по лицу, потом провел ладонью по заросшим щекам, сел и заплакал.

Он услышал как бы со стороны странные звуки, вроде икоты, которые выделялись среди тяжелого дыхания и храпа спящих, он ощутил невероятную горячую влагу на лице, но изумление ничего не меняло — капля переполнила чашу...

Двери сарая распахнулись, и комроты гаркнул:
— Подъем! Подъем! Живо!

Оказывается, слух был ложный, немцы не прорвались в тыл. Кого-то из начальства сняли за панику. Предстояло немедленно вернуться на брошенные позиции. Вернуться!

Вдруг отец рассмеялся и смеялся до тех пор, пока других не заразил.

Сарай хохотал.

Комроты, монументом застывший в дверном проеме, крикнул отцу:

— Полоумный, ишь как обревелся со смеху! А еще интеллигент!

Городок историков

*Корни стары, но молоды ветви!
Ты из тех городов-стариков,
Приблизительно двести нашествий
Переживших за двадцать веков...*

Этот тихий городок с удивлением подмечает свою растущую популярность. Видно, кто-то рассказал кому-то, а потом еще кому-то, и разнеслась молва, что летом можно здесь всласть отдохнуть: налицо все преимущества юга плюс раздолье — не то что Сочи или Ялта, похожие на троллейбусы в часы пик.

Тишина, одноэтажные домики и особнячки-кораблики — нет-нет да и попадаются окна круглые, как иллюминаторы. За причудливыми оградами — маленькие виноградники или фруктовые деревья. Ветки акаций и шелковиц зелеными сводами сомкнуты над мостовыми. А тротуары сплошь в каменных плитах, расчерченных квадратиками, — дожди моют их душем, быстро и чисто стекая в лиман, — калоши здесь так же нелепы, как в залах метро. А в самом Днестровском лимане цвета кофе с молоком шныряет всякая вкусная рыба, и до Черного моря рукой подать: четверть часа на катере — и перед тобой расстилается уникальный золотистый пляж без единого камешка.

Всеми пятью чувствами глубоко и надолго вбирай в

себя яркость синего неба и ясное лицо города, построенного из котельца — белого камня-ракушечника; умильтельную русскую речь, смягченную южным выговором; запах дынь, молодого вина, свежей камбалы, сирени и соленого дыхания моря; ощущение горячего, сухого песка и обволакивающей вечерней прохлады с крупными, как абрикосы, звездами; вкус своеобразных талантливых блюд — мусака с мамалыгой и гювече с чесноком, черного кофе, сваренного в медном ибрике с длинной ручкой...

Но пять чувств — это слишком мало. Слава Богу, у нас их — куда больше.

О чем думает приезжий, открывая этот городок? О чем угодно, только не о том, что быть ему историком. Не важно — сразу или погодя, — но никуда он от этого не денется. Надо быть последним туцицей, чтоб, завидя издали седые контуры крепостных стен и башен, которые были бы под стать столице могучего царства, не удивиться: откуда это и зачем? Скромный, тихий городок, пресный лиман, в котором пока дойдешь до глубины — состаришься, вокруг степь да степь, ни горы, ни ущелья, ни темного леса, ничего великого, хоть шаром покати, — и вот на тебе, с бухты-бараахты посреди этой ровности, где глазу не за что зацепиться, вырастает этакая машина, чья-то каменная опора, фундаментальный оплот, прямо камень преткновения среди заштатной тихости, крепость — явно себе на уме.

Если приезжий не очень любопытен, то этот недоуменный вопрос надолго останется без ответа, заслоненный немедленными заботами об устройстве, и какое тебе дело до крепости, пускай стоит! Но не торопись утверждать, что тот вопрос умер, нет, трижды заслоненный, он просто ждет своего часа.

Допустим, ты обладаешь самым стойким иммунитетом к истории, ты еще сопливым мальчишкой не подобрал ни одной античной монеты, а позже, торопясь погладить брюки для свидания с вполне современной девчонкой, ставил не задумываясь утюг на кусок мрамора, на котором угадывается полустертый профиль Александра Македонского, — все равно, когда тебя подкараулит старость, обеспеченная пенсиею, сам того не замечая, начнешь перебирать воспоминания и увидишь, что где-то за ними, над ними, маячит эта самая крепость и, немая, хочет обрести в тебе язык.

Став старожилом, ты постигнешь, что здешние старожилы — все когда-то были приезжими, а те, кто прожил и уехал, — навек остались лиманцами, и этих лиманцев развелось на свете видимо-невидимо. Покопайся в предках любого коренного жителя — и окажется, что его родословная, пусть и древнейшая, куда моложе самого города, перевалившего за две с половиной тысячи лет со дня своего основания. А если возьмешься распутывать клубок и искать концы, то они заведут тебя за тридевять земель и морей, а скорей всего — в тупик, ибо многие национальные нити перепутались так основательно, что слились, как ручейки. Любовь — известное дело — ничего не признает, кроме самой себя, а на розовом теле ребенка границы не проведешь...

Дикие племена и варвары всех мастей охотно посещали этот городок, но однообразные следы их посещений — пепел и зола — улетучились со временем. Лишь те, что были покультурней, оставили здесь более долговечные следы: скифская утварь, молдавские надписи на камне, турецкая мечеть, римские монеты да осколки греческих амфор, — земля так густо насыщена историей, что начни ковырять ее перочинным ножом — и пожалуйста, можешь открывать домашний музей.

Историки-профессионалы и энтузиасты-любители с незапамятных времен ломали копья и всегда готовы их ломать по любому поводу. Одно и то же захоронение столь же доказательно и страстно объявлялось то римским, то греческим, то подлинно славянским. Да что историки! Сохранившиеся свидетельства больше говорят о самих очевидцах, нежели об очевидном...

Древний грек (он, разумеется, считал себя просто греком) сообщал отсюда друзьям пугающие подробности: этот город — последний на северном краю земли, дальше — дикие степи. Вода здесь от невиданной стужи становится твердой и прозрачной, как стекло, а земля надолго покрывается холодным пухом, валяющим с неба, — его можно сбивать в комья и лепить статуи. Так-то оно так, а надменный шляхтич в свою пору писал наипенянейшей паненке, что этот город — самый южный в Речи Посполитой, лето здесь долгое, знойное, вода в лимане «як кава з млеком», зимы почти не бывает — то дождь, то легкий снежок, туземцы лыж не знают, о березах и вовсе не слыхали, знай давят себе виноград, растущий под каждым окошком, да пьют даровое вино... По-

ближе к нашим дням царский чиновник считал этот город западной окраиной Российской империи, а румынский функционер, напротив, — самой восточной точкой великого королевства. Вот как попеременно он считался севером и югом, западом и востоком, и только в одном сходились все свидетельства: этот город — окраина, с какой стороны ни глянь.

Все это так, против фактов не попрешь, но для каждого истинного лиманца Лиманск — не окраина, а центр, откуда начинаются все пути, и неудивительно, что многие убегающие от него к нему же и попадают, лишний раз убеждаясь, что земля — круглая.

Этот город, кажется, существовал всегда — не был он ни слишком малым, чтобы бесследно затеряться в истории, ни слишком великим, чтобы взлететь под солнце и рухнуть раз и навсегда. Он живуч и явно притягивает на бессмертие. Он возвышался неоднократно, но не очертя голову, и не раз бывал жестоко испепелен, но всегда оставался какой-то корешок, откуда сквозь пепел пробивались вскорости новые ростки. Теперь он угомонился и в мудрой скромности своей возвышаться уже не собирается, но и надеется никогда больше не быть развеянным по ветру.

Как правило, лиманские историки не смотрят на самих себя и вокруг. Они не удостаивают вниманием ни себя, ни большинство живых и хорошо знакомых лишь потому, что им не дано оставить имени в истории. Да, историки могут обойтись без любого из нас, но вот сама история складывается не только вообще, а случается с каждым из нас...

*Ветром с полустанка
Отзвук занесен,
Старый зов-приманка,
Позабытый сон,
Как полуширманка —
Полупатефон...*

Ярким зимним утром по сверкающему снегу идет высокий прямой старик в белом костюме, с непокрытой седой головой:

Хлопают калитки:

— Ребята, Аристид пошел...

Побросав санки на горке, орава мальчишек срывается догонять Аристида Аристидовича. Он поднимает свои

пушистые белые брови, потом улыбается в белые усы и дает болельщикам понести ломик и белый саквояж.

Ребята забегают вперед, перекидываются снежками. Аристид Аристидович изредка поправляет усы двумя пальцами левой руки, не спеша идет мимо крепости к лиману. Темные башни и широкие стены опущены сединой. Летом у голубого лимана, среди зелени, под синим небом крепость определенно выглядит белой, а теперь зима заставляет бывалый крепостной известняк признаться, что он просто сер. Однако только до лета, ибо все в мире относительно.

Аристид Аристидович, как аист, окруженный воробышками, ступает наконец на лед.

Я прибегаю позже всех, но вовремя. Он как раз отбывает затянувшуюся за ночь прорубь, быстро раздается и... Дыхание у меня перехватывает, я всей кожей чувствую острый холод воды, хотя стою плотно закутанный шарфом, в теплом пальто и шапке-ушанке.

Старик подо льдом. Мы стоим немые, — хоть и верим в Аристида Аристидовича, а все-таки страшно. Но он находит выход по световому столбу в воде, появляется в проруби, как морж, — волосы у него подстрижены ежиком, глаза окружены лучиками лукавых морщинок. Он докрасна растирается полотенцем.

Я бы тоже так попробовал, но мама...

— Когда вы начали, Аристид Аристидович?

— Лет в двадцать.

О, мне еще далеко до двадцати!

Далеко?

Теперь мне далеко за двадцать, уже плешь проглядывает на макушке, Аристид Аристидович перестал купаться в проруби, но он по-прежнему круглый год ходит в белом костюме, с непокрытой белой головой. По-прежнему сидит прямо, даже в кресле не откидывается и не облокачивается, пьет чай из блюдца, высоко поднося его растопыренными пальцами к усам.

Он красив. Как его ни уговаривали завести себе еще и бороду для полного сходства с дедом морозом, он отмахивается:

— Я вам не Маркс и не Христос!

Но, пожалуй, отказывается он потому, что его подбородок удивительно молод — гладкий, мягкого рисунка, всегда до блеска выбритый. А кому охота скрывать такой подбородок, раз он есть?

Долго, лет до семи, я считал его волшебником. При встрече — дома ли, на улице — он вдруг вскидывал свои знаменитые брови:

— Ай, Стасик, что у тебя в ухе? — и тут же доставал из моего уха конфету. Откуда она бралась? Я никогда без него не находил этих шальных конфет. Он же их у меня обнаруживал в самых неожиданных местах — в ботинке, в носу, под чубом.

Однажды, отправляясь к нему за книжкой, я скрупулезно проверил себя с головы до пят и прямо с порога объявил ему:

— Нет у меня конфет! — сказал это с вызовом, но не слишком твердо — уж очень хотелось, чтоб они были.

— А ну-ка, я поищу! — сказал, потирая пальцы, Аристид Аристидович.

— Покажите, пожалуйста, руки!

Аристид Аристидович протянул добрые открытые ладони.

— Нет, — все-таки сказал я. — Издалека скажите, где у меня конфеты, я сам достану.

Аристид Аристидович опустил руки, помолчал.

— Ну что ж, давай-ка я угощу тебя своими...

— А где же мои? — мне стало обидно до слез. — Где мои, Аристид Аристидович?

— Твоих уже нет. Они теперь у других мальчиков. Понимаешь, конфеты не любят, когда им ставят условия. Вот какая штука. Некий сорванец, когда я у него нашел конфету в ноздре, вошел во вкус и стал требовать еще. Ну, я нашел. А он — еще! «Зачем тебе столько?» — спросил я. «А вы трясите у меня из носу, пока целая гора насыплется. Я продам конфеты и куплю велосипед». — «Так давай сразу вытрясем велосипед!» И я трял мальца до тех пор, пока мы оба не убедились, что велосипед безнадежно застрял и дальше трясти нечего.

И Аристид Аристидович протянул мне конфету, как две капли воды похожую на те...

Но она была не такая вкусная.

Аристид Аристидович не любил рассказывать о себе. Знаю лишь, что когда-то был военным врачом, но ему не повезло: подо Львовом попал в плен к австрийцам, оттуда пешком вернулся зимой восемнадцатого года. С каких пор помню старика — он жил один. Жена давно умерла, его приемный сын Федя работал где-то в Кишиневе и несколько лет сидел за политику.

В комнатах Аристида Аристидовича был образцовый порядок, хотя тесно из-за книг, аквариумов, всяких подзорных труб и астрономических приспособлений. С войны медицина ему опостылела. «Надо лечить не тело, а душу», — говорил он. Решил стать учителем и даже преподавал два года, но власти вскоре закрыли русские школы. Незнание языка, отказ присягнуть румынскому королю да неблагонадежный сынок преградили ему путь к кафедре... Он был вынужден прибегнуть к частной врачебной практике. Но велика ли помощь врача, когда человечество страдает хроническим психозом с нарастающими припадками — войнами. Он искал причину этой главной болезни и делал ставку на разум. Если все поймут...

Я заявился однажды к нему, попыхивая сигаретой. Аристид Аристидович наступил свои непроглядно белые брови:

— Ты вполне разумный молодой человек, все про никотин знаешь. Почему же себе вредишь?

Я ответил ему притчей:

— Жил-был курильщик. Врач ему открыл, что каждая выкуренная папироса отнимает две минуты жизни. Курильщик глубоко прочувствовал эту простую арифметику и стал некурящим. Ежемесячно он с удовольствием подсчитывал, сколько минут выиграл. А на другой день после того, как обвел красным карандашом круглый миллион, попал под автобус...

Торжествуя, я скромно улыбнулся.

Аристид Аристидович подумал и сказал:

— Ой, врешь, молодой человек! Он не попал под автобус.

— То есть как? — изумился я. — Вы утверждаете, что такого не бывает? Что автобусы ни при какой погоде людей не давят?

— Давят, родной. Давят. Но не твоего героя. Раз он себе на уме, он на мостовой повернул голову сначала налево, а потом направо... Случай не с каждым случается.

Позднее я узнал, что статистика, изучившая категории пешеходов, которые преимущественно становятся жертвами транспорта, целиком на стороне Аристида Аристидовича. И узнал со временем дополнительные

ужасы про никотин, но курить все-таки не бросил. Поэтому победа Аристида Аристидовича относительна. Легко жилось бы на свете, если бы теоретическая победа неизменно давала практические результаты!

Такие весьма распространенные противоречия глубоко возмущали Аристида Аристидовича.

— Диалектика, — пытался я его успокоить. — Развитие есть борьба противоположностей.

— Кто это сказал?

— Кажется, Маркс.

— М-да... Я бы сказал, что развитие — это любовь противоположностей...

Надо сказать, Аристид Аристидович не уважал Маркса. Он его почитывал, потом бросил навсегда. Постариковски обиделся на старика и не захотел иметь с ним дела как с ученым, который проповедует жестокость, уничтожение религии, семьи и морали. Когда же увидел, что в Советском Союзе есть и семья, и даже церковь, то приговаривал:

— Это жизнь подправила вашего Маркса! Вот вы на всех углах кричите, что без марксизма шагу нельзя ступить. А я прожил целую жизнь без него, занимался историей, астрономией, биологией и замечательно без него обходился...

Аристид Аристидович разводил рыб, наблюдал ход небесных светил и рылся в старых книгах. Его занятия, в сущности, никому не были нужны, научный мир о нем не подозревал, да он туда и не рвался — жил как хотел и питал свое ненасытное любопытство. Но известно: узнав что-либо, не умолчишь. Невтерпеж. Слово, как воробей — растет-растет в гнезде, да потом все равно вылетит.

И Аристид Аристидович, до войны разменявший шестой десяток, будто бы объявил: «Опоздал я действовать, отныне буду говорить». Я застал его уже преемником Шехерезады, любимцем всех поколений городка. Поговаривали, что он составляет историю Лиманска, но это, кажется, не подтвердилось. Кто слишком любит говорить, вряд ли будет записывать.

За несколько лет до войны в Лиманске стояла обманчивая тишина.

— Повезло нашему городу, — говорил Аристид Аристидович, — первая треть века его пощадила, войны обошли его стороной. Первая мировая рыскала совсем не-

подалеку, грозилась вот-вот нагрянуть сюда, да вовремя выдохлась. Гражданская война тоже ходила по самому краешку — бушевала на том берегу лимана. Так получилось, что на этот раз граница, установленная румынами по лиману в 1918 году, сослужила нам добрую службу, уберегла от беды. Бывает так — на море буря, а лиман не шелохнется. Нередко слыхали мы перепалку, рассказывались всякие страхи, будто в Одессе по два раза в день меняются власти, а то и хуже — налетают сразу две-три и, пока разберутся, кто они и за кого, делят город по веревочке. Кого там только не было, — французы, немцы, турки, белые, красные, зеленые и даже зуавы, что ли?

«И что себе думает этот мир?» — вздыхали лиманцы, наблюдая грозу из окна.

Так-то оно так, но того и гляди шаровая молния влетит тебе в спальню. Никто не знал заранее, что все обойдется. Обошлось, да только с виду. Из года в год терял город своих сыновей, век с самого начала брал с города дань — выбирал молодых парней и совал в руки ружье. Сколько их не вернулось из Маньчжурии, из Галиции, сколько разлетелось во все стороны, по всем лагерям и станам! Не потому ли в городе через двадцать лет объявились целое сословие старых дев?

На том берегу лимана страсти вроде угомонились, шли слухи, что большевики отвоевались и теперь копают картошку. Между берегами пролегала незримая граница — она жила, как больной зуб, который дал тебе передышку, да не сказал на сколько: носишь тихий зуб с собой, но, обмирая, вспоминаешь о нем на каждом шагу. Лиманцы точно сговорились не напоминать о себе, не лезть со своим мнением в Лигу наций — авось большой мир забудет о них между делом. Лиманцы равно опасались и знаменитых преступников, и прославленных правителей, воспитывали детей с тем расчетом, чтоб им не хотелось ни того, ни другого. Они учили их дурачиться на развалинах крепости, как на безобидной львиной шкуре. Мол, зарубите на носу себе, детки: все, что гремело тысячи лет, — казни, козни, победы и беды, — все это навсегда отгремело и теперь никому не нужно, ни мне, ни тебе, ни дяде Илюше...

Но мальчики мечтали о войне. Они Бог весть откуда подхватывали сведения о новейших видах вооружения, они поднимали в воздух саранчовые тучи самолетов,

опускали на дно океанов субмарины, на их картах сшибались стрелки и перекраивались границы...

А взрослые, устав от длительного напряжения, были оглушенны внезапной тишиной и поторопились ей поверить. Они очнулись с первобытной жаждой жить, варить кофе, подвязывать виноград и просто лущить семечки у ворот. Захотелось жить им, заткнув уши, чтоб не слышать мира, как морского прибоя,— слава Богу, на лимане прибоя нет.

Не потому ли в городе подозрительно много глухих или тугих на ухо?

Маленький сверхчеловек

*Не герой, не палач,
Ты, пожалуй, дурацкий с пеленок,
Ты трепач и скрипач,
Ты и третий калач, и теленок,
Но сердито тебя, городок,
Время дергает за поводок
Взд-вперед... Только истина скрыта.
Не ища ни побед, ни беды,
Словно ослик, расставив копыта,
Упираешься ты...*

Лиманцы жили тихо-мирно, но вот объявился то ли человек, то ли черт — пришпорить, встряхнуть, пробудить этот город из вековой спячки, как он выразился. Этого молодого человека звали Ремус Корня, и прибыл он летом тридцать седьмого — казалось бы, отдохнуть...

Приезжий подкатил к гостинице на извозчике, щеголяя тростью и перчатками. Жесты его были небрежны, несколько вялы и изысканы, он казался человеком слегка усталым и презрительным. А его вытаращенные глаза с розовыми прожилками производили какое-то странное впечатление. Он погулял, но не с целью осмотреть город, а скорей чтоб его самого осмотрели. В ресторане он замучил кельнера, требуя мититеи¹ какого-то особого, хитрейшего приготовления, потом — после шампанского — полчаса держал его стоя, все выспрашивал да выспрашивал про город и горожан. Зато на чай отвалил сполна.

Вечером Ремус зашел в клуб. Сыграл несколько партий в бильярд, но неудачно. Проигрывая, вдруг начинал

¹ Мититеи — мясное блюдо (рум.).

тыкать кием не глядя,— дескать, вы думайте что хотите, а мне плевать. Вскоре поил шампанским целый взвод билльярдистов. Следующим вечером проиграл в покер, причем уплатил денежки небрежно, нимало не огорчаясь. Компания вокруг него росла как снежный ком. Стало известно, что он знает Париж и Вену как свои пять пальцев и денег у него куры не клюют. Сначала он расписывал Европу, женщин, но по отдельным его высказываниям было неясно, куда он гнет: то ли аристократ, то ли карбонарий. На восторги наших бедных провинциалов: «Ах, Париж, ах, Вена!» — он ответил мягко улыбаясь, как человек, вынужденный вразумлять младенцев:

— Париж — сладкая зараза, расслабленная лакомка, красивая шлюха.

Это произвело впечатление. Дальше — больше. Причем частенько он, как бы проговариваясь, ронял: «мы считаем», «мы решили эту проблему». Это «мы» окутывало его смутной и жутковатой тайной. Молодежь мотыльками вилась вокруг Ремуса. Он предложил как-то вечером:

— Айда в крепость с шампанским!

Так и сделали. Забрались на башню, нависшую над лиманом. Это была первая «трапеза» проповедника и апостолов. Кстати, апостолов было как раз двенадцать, но это чистая случайность. Важно, что Ремус понимал толк в романтике: тосты под небом, Млечный Путь, как пена шампанского, мертвые загадочные контуры стен с бойницами, высота башни — все это заставляло предчувствовать нечто значительное, необычное.

И Ремус заговорил сперва тихо и устало, потом резко и властно:

— Вот крепость. Она мне нравится и не нравится. Нравится, что она была могучим воплощением силы, не нравится, что одряхлела. Как вам не стыдно жить в этом паршивом городишке, когда крепость живым укором торчит перед глазами? Вы мне тоже не нравитесь и нравитесь. Противно, что вы по уши сидите в этом тихом болоте, но здорово, что вы молоды. А значит, если вас надоумить, вы свое возьмете. Но сначала возненавидьте обывателей, которые хотят вас вылепить по образу и подобию своему. Как вам не тошно среди старых дев, юродивых и жалких кротов? Неужели вся жизнь в том, чтобы ходить в клуб, в парк, в церковь, жениться,

растить брюшко, болеть подагрой, умереть в своей постели и перебраться вот на то кладбище? Видите, там много крестов, но места еще есть.

— А что делать? — спросил с тоской Николенька, сын дяди Мити, владельца ресторанчика.

— Друзья, вы спрашиваете, что делать. — Ремус встал во весь свой средний рост, сцепил пальцы и хрестнул ими. Апостолы вздрогнули. Ремус развел руки и стал дирижировать в такт словам. — Сначала надо понять, что происходит в мире, потом разделить мир на друзей и врагов. Точней: ищи врагов, а друзья найдутся.

— А что особенного происходит в мире? — спросил Сюня, сын парикмахера.

— Скоро война.

Тут у Николеньки и мелькнула впервые догадка, что это черт. Правда, он подумал возвышенней — дьявол, Мефистофель, а не просто черт с хвостом и рогами.

— С кем? — спросил Титус, сын Стратана, гимназист, приехавший на каникулы.

— Будет великолепная война, веселая очистительная гроза, ураган! Вверх дном такие вот городишкы, долой мусор! Останутся сильные, смелые, необузданые, которые хотят все и которым все позволено. Вот и решайте — с кем вы. Пробудится ли в вас орел или останетесь курами? О войне еще поговорим. Теперь — будем искать врагов. Пугливых прошу уйти.

Никто с места не стронулся. Тут уж и Титусу почудилось, что это демон, который заставил содрогнуться Париж и Вену, пролетел, презрительно усмехаясь, надочной Европой и опустился на вершину этой старинной башни. А то, что он был в модном зеленом костюме, что руки с тонкими пальцами выглядывали из белых манжет, — так это было еще острей и замирательней.

— Отлично. Во-первых, долой церковь. Ее идеал — девственность, манная каша и сухие мускулы. А мы за грех! Мы хотим женщин, мяса и силы!

Во-вторых, долой буржуазию. Она ожирела, копит золотишко, трястется над ним и хочет, чтоб за нее воевали другие. А мы хотим жить ненасытно и молодо, транжирить золото и воевать!

В-третьих, долой социалистов. Их идеал — уравнять всех, свести к той серединке, которая ни рыба ни мясо. Они хотят всего в меру и чтоб мир превратился в единый муравейник, над которым висит серая радуга. А мы

хотим неравенства! Высокие должны стать выше, низкие — ниже. В свое время обезьяны разделились: одни до сих пор обезьяны, другие уже люди. Теперь люди должны разделиться. Меньшинство — полубоги, герои, совершенные и ярые. Большинство — волы и рабочие лошади.

— Но полубоги передерутся, если их много! — сказал юркий Милька, сын вдовы.

— Конечно. Мы за войну. Она — вечный огонь прогресса. Только у властителей и война — под стать им. Дуэли полубогов! Турниры! На шпагах, на кулаках! А пулеметы — это против рабов. Впрочем, пулеметы могут не понадобиться. Волы и лошади не бунтуют. Достаточно кнута.

— А как же я? — спросил простодушный Владик. — Я вот ростом не вышел, да и драться, честно говоря, не люблю. Выходит, мне в волы?

— От тебя зависит. Если пойдешь с нами, плевать на рост. Полубог — это конечная цель. Пока что научишься стрелять. А мы тебе найдем высокую женщину, чтоб дети сказали спасибо.

Все рассмеялись. Владик тоже. Выпили еще шампанского. И тут Ремус перегнулся. То ли поторопился, то ли хмель ударил в голову. Он жестом попросил тишины:

— Но главное — мы должны очистить и возродить нацию! Мы и только мы — вот те дрожжи, на которых взойдут полубоги. Остальные в силу внутренней неполноты и с нашей помощью станут волами. Сначала должна победить белая раса. Потом в белой расе должны победить европейцы, и, наконец, среди европейцев должны победить мы — потомки римлян. Многие из нас уже начали это великое дело: в Италии — Муссолини, в Испании — Франко, в Португалии — Салазар. Теперь очередь за нами.

— Значит, мы вместе с русскими будем сначала громить негров или китайцев? — спросил удивленно Титус.

— Ни в коем случае! — увлекся Ремус. — Русские — это Азия, татарская помесь, болгары — тоже монголы. Нет! Мы сначала очистим белую расу. Мы, например, постараемся, чтобы в Румынии жили только румыны.

Вот тут, что называется, проповедник дал маху. Он почувствовал недоуменное молчание апостолов, но не

догадался, в чем дело. Он решил, что сразу слишком много вывалил на их неокрепшие головы.

— А ну, друзья, споем. Давайте! — И он начал:

Проснись, румын, стряхни-ка
Смертельную дремоту,
Какой тебя сковала
Врагов твоих орда.
Пусть молятся народы,
Ты будь готов к полету,
Часы судьбы пробили —
Теперь иль никогда!

Апостолы подтянули, но как-то не очень воодушевленно. Правда, Николенька загорелся. Он представил себе, как он героем вышагивает по главной улице Лиманска, тротуары полны народу и любая девушка кинется ему на шею — только подмигни.

— Виват Рома! — воскликнул он, когда кончили петь.

— А при чем тут ты? — съязвил Титус. — Ты армяшка.

Николенька страшно удивился — он об этом не подумал. Действительно, несколько столетий назад его предки армяне поселились здесь. Но теперь Николенька чувствовал себя полноценным лиманцем и вполне мог воевать за идею. Потому он коротко взорвал Титусу:

— А ты дурак.

— Я румын! — гордо отпарировал Титус.

Сюня опустил голову — он был еврей и не забывал этого.

— Да? — ехидно протянул Афоня. — А по-моему, Титус, твоя мать наполовину гречанка!

— Сам ты грек! — обиделся Титус.

— Ну и что? — стал кривляться Афоня. — Зато моя мама знала твою бабушку, она жила на Харлампьевской, она была гречанка, как и моя мама. Фанариотка!

Апостолы заволновались.

— Тихо, юноши! — сказал Ремус. — Драка — хорошее дело, но не надо так примитивно. Я завтра объясню, что такое раса. Греки были предтечей римлян, не кипятитесь. Давайте завтра ровно в семь соберемся здесь же. Идет?

Однако между «трапезами» произошли некоторые события. Во-первых, еще той же ночью, пока Ремус спал, Титус и Николенька подрались, Милька пытался раз-

нять противников, ему тоже попало, Владик тихо смылся, остальные с интересом наблюдали и мотали себе на ус.

Во-вторых, два скрипача из ресторанных оркестра — Яша и Григ, не участвовавшие в «трапезе», постучались после полудня в номер гостиницы, где остановился Ремус. Он почивал, принял их недовольный, растрепанный, в немыслимо лиловой пижаме, как у фокусника. Того и гляди выпустит из рукава сову или чего похлеще. Яша и Григ долго мялись, извинялись и никак не приступали к делу.

— Я слушаю! — сказал Ремус, причесываясь перед трюмо. Яша и Григ с беспокойством следили за двумя упругими вихрами, которые упорно высакивали из-под расчески и — торчали!

— Домну¹ Ремус, — начал Григ, — у вдовы Мильштейн есть сын скрипач. Боже мой, какой скрипач, хоть и самоучка! Но не в этом дело! Моисей лежит с весны, у него чахотка. Моисей умрет, если его не послать в Италию. Но у него нет средств. Не могли бы вы...

— Нет, — прервал Ремус, не оборачиваясь. Его глаза, как белые шары, выпирали из розовой сетки прожилок.

Яша и Григ оторопели. Солнце выглянуло в окне, пижама Ремуса вспыхнула лиловым издевательским пламенем. Прошла минута молчания. Ремус наконец кончил причесываться — волосы ровно улеглись, но явственно топорщились спрятанные рожки.

— Ну? — Ремус подошел, ослепляя их лиловым.

— Домну Ремус! — вскинулся Яша и коснулся рука-ва пижамы. — Мы вас умоляем! У вас же есть деньги! Одолжите — талант погибает! — Он чуть не выпалил: «Возьмите мою душу, но спасите Моисея!»

— У меня есть деньги. Правильно. Но ему не дам.

— Почему, домну Ремус? Чем он вас обидел? Это ангел. Если бы вы услышали, как он играет на скрипке! Плакать можно!

— Во-первых, он дохлый, во-вторых, он... не румын. Зачем ему оставлять потомство? Это преступление против жизни. Я не собираюсь быть пособником преступления, — улыбнувшись, объяснил Ремус.

Григ взорвался:

¹ Домну — господин (рум.).

— Вы... вы просто жадный! Денег жалко!

— Сколько нужно? — холодно спросил Ремус.

Григ осекся. Яша сделал большие глаза и обрадованно пробормотал:

— Хотя бы... пять тысяч.

Ремус достал из шкафа пиджак на плечиках, вытащил бумажник и не торопясь отсчитал пять тысяч. Яша и Григ следили за ним в оба, боясь пошевельнуться. Ремус посмотрел на них, усмехнулся.

— Я совсем не жадный, — щелкнул зажигалкой, взял две хрустящие бумажки и поднес их к огню. — Еще? — спросил он и зажег следующие две.

Запахло паленой шерстью. Адским дымком потянуло, и предательский хвост шевельнул лиловое пламя пижамы.

Яша и Григ выскочили из номера. Григ быстро перекрестился, а Яша сплюнул и бессмысленно спросил кого-то:

— Зачем?

Титус почувствовал себя новым человеком. В его душе совершился яркий и радостный переворот. До сих пор он следил за жизнью как за неясной, путаной игрой, а Ремус, словно чародей, сорвал пелену с глаз, открыл смысл игры и указал цель. Прежде всего он должен стать беспощадным и сильным: одолей себя, тогда и других одолеешь... Но, Боже мой, как тесно переплетается новое со старым! Новый человек Титус поймал себя на том, что идет по улице с коробкой конфет для тети Розы...

Тетя Роза лет до семи была его нянькой, и он всякий раз, приезжая на каникулы из Бухареста, привозил ей гостины. Не Бог весть что, но все-таки внимание... Правда, Титус на этот раз не заскочил в первый день к тете Розе, отложил на завтра, а завтра как-то забыл... Прошла целая неделя, и мать Титуса раздраженно сунула ему в руки эти несчастные конфеты и приказала отнести. Титус по инерции взял коробку, думая о более важных вещах. И только заметив впереди себя тетю Розу, которая тяжело шла с двумя ведрами воды в руках, он понял, куда идет и зачем. Это его потрясло. Он увидел тетю Розу в совершенно ином свете, как бы с высоты орлиного полета. Он еще приближался к ней широким шагом, прицельно глядя в ее сутулую спину, но озарение уже

разделило их непроходимой пропастью: он устыдился прежнего Титуса, сентиментального птенца, устыдился своей привязанности к этой жалкой безродной курице, квочке, высиживающей без разбору чужие яйца. Кроткая старая дева, провинциальная дура, она — вязкая тина, засасывающая дерзкий порыв. Последняя столичная потаскушка свободней и выше ее! Титус понял: жизнь — дикий жеребец, оседлай его, вцепись в граву, оттолкни свое прошлое, рабское, кисейное детство, дурацкую родню и все рыбье царство этого города!

Титус швырнул коробку на тротуар, наступил на нее ногой и, круто повернувшись, ушел прочь.

А тетя Роза тяжело несла ведра, стараясь не расплескать воду. Она так и не узнала, как с ней расправился Титус.

*Неужели, предчувствуя войны,
Городок, ты невольно готов
Превратить своих девушек стройных
В старых дев, чтобы не было вдов?*

— Роза, целовалась ли ты с кем-нибудь? — любопытствуют бывалые соседки.

Роза то ли виновато, то ли стыдливо улыбается:

— Да ну вас...

— Нет, Роза, признайся!

— Ходил за мной один такой молчун...

— Ну и...

— И как-то у калитки попробовал...

— Ну и...

— Я его как двинула!

— Почему, Роза?

— А что, я такая дурочка, как все?

— Мы, что ли, дурочки? Каждый день целуемся!

— Да ну вас... — Роза не знает, что сказать, ей стыдно про это думать. Когда соседские мужики обнимают в шутку старую тетю Розу, она отбивается, смущаясь, как девочка.

— Ну, а он что?

— Ходил еще... А я все занятая была, не имела времени. (В Лиманске очень любят к месту и не к месту совать глагол «иметь».)

— И тебе не жалко?

— А зачем мне?

- Детей бы завела.
— Ваших хватает. Вам бы все хиханьки да хаханьки, а как детки пойдут — на, Роза, держи!

Старшая в многодетной семье, Роза ссыпалась ухаживала за младшими и не успела оглянуться, как средние сестры выскочили замуж и срочно позвали ее на помощь. Роза поочередно носила на руках племянников и племянниц, укачивала их и пеленала, пока сестры ходили в театр «Одеон» с молодыми мужьями. Детишки души не чаяли в тете Розе, засыпать без нее не могли, их становилось все больше, а тетя Роза была одна.

Когда же она опомнилась... пожалуй, нет, она так и не опомнилась, она раз и навсегда свыклась со своей ролью, ей, как пристяжной кобыле, и в голову не приходило, что можно жить своей жизнью. Некогда было опомниться — она каждую минуту была кому-нибудь позарез нужна.

В гимназии недоучилась, а чему училась — не помнит. После смерти матери ей достались две комнатки — светлая и глухая. Светлую сдавала внаем, сама жила в глухой. Никогда не выезжала из города, не видала поезда, не ходила в кино. Незаметно состарилась, незаметно — потому что не ощутила смены возрастов, запросто путала годы, они в ее зыбкой памяти смешались, сдвинулись без всякой последовательности. Зато всех выращенных ею ребятишек прекрасно помнила по именам. А имен этих было — пропасть! И русских, и румынских, и армянских, и еврейских... К тете Розе водили детей, как в детсад: сначала родня, потом квартиранты, потом сёди, потом соседи соседей... «Погляди, Розочка, за моей Манькой, пока я на базар сбегаю!»

И Роза глядела в оба. С русско-японской войны и до наших дней не было случая, чтоб она упустила что-то, чтоб ребенок расшибся или, не дай Бог, проглотил пуговицу. А еще тем была хороша тётя Роза, что все делала за так, ничего не брала, умудрялась даже гостинцами потчевать своих (то бишь чужих!) малышей... Ох как трудно было тетю Розу отблагодарить! Пригласишь ее за стол — ни за что не сядет.

- Ой, нет-нет, спасибо, я совсем сытая!
А если настоишь, замашет руками:
— Нет-нет, мамалыгу я не кушаю... (В Лиманске глагол «ем» почему-то неизвестен.)
— Так хоть пирожочек! Сладенький!

— Нет-нет, от него тяжело в желудке. Спасибо. Нашлось два верных способа накормить тетю Розу. Первый: вы преспокойно всей семьей обедаете, а тетя Роза возится с дитятей, моет ему попку. Пообедав, оставляете еду на столе, просите тетю Розу посидеть с дитятей, пока уснет. А сами уходите на прогулку. Тогда тетя Роза тайком, как бы воруя, поест — пощиплет то здесь, то там, вдобавок уберет со стола, посуду вымоет.

Второй способ: вы приносите обед в кастрюле прямо к тете Розе на дом, пока она отлучилась в садик с очередными сопляками. Соседи с вами в заговоре и ни за что не откроют, кто принес. Тетя Роза немедленно отправляется по двору — угощать: кому котлетку предложит, кому яблочко. Все, конечно, дружно откажутся, и тогда тетя Роза волей-неволей поест. Но не все — кое-что вкусненькое отложит в сторонку. Для ребятишек.

При всей своей покладистости тетя Роза бывает и мстительной. Конторщица Леля что-то насплетничала про тетю Розу, но одно дело — насплетничать, другое — обходиться без нее. Когда Леля ее позвала, Роза пришла как ни в чем не бывало, молча снесла все капризы Лелиной Светочки. Вечером Леля собралась в театр, хватилась — левой туфли нет. Побежала за Розой, Роза божилась и клялась всеми святыми, что туфли не видала («Чтоб глаза мои лопнули», — повторяла она), помогала искать искренне сокрушалась... Леля с ног сбилась, муж побежал вернуть билеты в театр — туфля нашлась лишь на третий день. А Роза еще с неделю среди всегдашних забот то и дело отвлеченно улыбалась, склонив голову набок...

Теперь тетя Роза — ей под восемьдесят — совсем стала сбиваться, даже заговариваться. Так, например, она вырастила Федю, Федора Аристидовича, потом выняничила его сына Федю, а у него, то есть у Федора Федоровича, родился сынок Гриша. Так она взрослых забыла, а помнит их маленькими и считает, что оба Феденьки и Гришенька — братики.

Я надеюсь еще увидеться с тетей Розой, — может быть, она и меня не узнаёт, но я мальчишкой не тускнея живу в ее памяти. Я приеду к ней за своим детством.

Пишут мне, что тетю Розу поочередно берут к себе родственники и соседи, соревнуясь в опекунстве. Но те-

тя Роза, живя у них, упорно называет их квартирантами:

— Мешают мне мои квартиранты, кашляют по ночам, возятся...

...Через два часа Ремус вышел из гостиницы, поигрывая тростью, и направился к крепости, куда должны были сойтись апостолы.

За это время известие о его поступке облетело город. Среди поклонников Ремуса разразился кризис. Большая часть города ужаснулась, отпрянула, отреклась от дьявола, — главарями этой партии были Яша и Григ. Они перебегали из дома в дом, собирали прохожих на улице и наконец решили объявить лотерею в пользу Моисея, чтоб все-таки снарядить его в Италию (и снарядили. Рассказывали потом, что ему удалось-таки выздороветь где-то в Греции, но домой он не вернулся, уехал навсегда в Америку). Другие стали молиться на Ремуса: необыкновенный, высшего сорта человек, — кто знает, может, таким и уготовано будущее...

А Ремус шел к крепости. По дороге он встретил Аристида Аристидовича, остановился и почтительно приподнял шляпу:

— Честь имею... Я ждал случая познакомиться...

— Вы утверждаете, что скоро будет война? — спросил тот в лоб.

— Поверьте, господин Мутафолов, вы мне нравитесь. Я много о вас слышал и преклоняюсь перед такой молодой и сильной старостью. Вы, Аристид Аристидович, патриарх этого города, вам верят, вас слушают — вы должны быть с нами.

— Будьте добры, объясните.

— Да, Аристид Аристидович, война будет. Гитлер готов обрушиться на Россию...

— Позвольте, у Германии и России нет общих границ!

— Будут! Между ними — цепь небольших государств: Прибалтийские страны, Польша, Румыния. Что делать им, чтоб не попасть в жернова? Кажется, ясно — стать на сторону сильнейшего. Но в правительствах этих стран засели тупые и слепые буржуа. Нам надо заменить их настоящими азартными политиками, которые пойдут с Гитлером и разделят его добычу. Другого выхода нет. Вот мы в Румынии постараемся сделать это. На-

шему кораблю нужен дерзкий капитан, а не коронованный бабник! Всех нынешних политических импотентов мы заставим мостить автостраду Бухарест — Берлин.

— Позвольте, господин Ремус. По вашему мнению, высшая, что ли, раса — потомки римлян. А Гитлер считает иначе. Дойчланд юбер аллес.

— Господин Мутафолов, это не важно. Гитлер ошибается, называя немцев избранной нацией. Германцы ходили на четвереньках, когда римляне уже владели миром. Но мы выиграем на этой ошибке. Гитлер выдохнется, пока разобьет Россию. Тогда мы потихоньку и оттесним его!

— Вы надеетесь перехитрить Гитлера?

— Именно.

— Еще вопрос: вы проповедуете нечто в духе Ницше, — дескать, смерть слабым, падающего подтолкни?

— Допустим.

— Так Ницше первым подлежал уничтожению — он был немощным, несчастным, глубоко больным человеком. По-видимому, ненависть к собственным слабостям родила в его душе мечту о сверхчеловеке. Но если б его кокнули в колыбели, кто бы создал такое учение?

Ремус не нашел что ответить. Стариk не дал ему опомниться и продолжал:

— Полагаю, вы зря спешите в крепость.

— Это почему?

— Никто не придет.

— Вы? Вы их отговорили?! Ты, стариk, объявляешь нам войну?

— Молодой человек, нервничать не к лицу сверхчеловеку. Честно говоря, я их не отговаривал. Это дело ваших собственных рук.

— Что вы мелете?

— Это не я. Просто Лиманск не разбирается в национальностях. Не понимает, когда говорят, что родиться румыном — преимущество, а русским — недостаток. Или наоборот... Этот город на мякине не проведешь.

Ремус двумя пальцами быстро и ловко крутанул трость пропеллером, произнес с высокомерной досадой:

— В таком случае этот город — лишился. Придется срыть до основания и на его месте построить военно-морской лагерь. Называться будет «Восточный Форт». Я вам обещаю.

И Ремус твердо зашагал в сторону крепости.

Аристид Аристидович остался посреди тротуара. Он покачал головой: «Старая песня. Ой какая старая!»

До сих пор историки не пришли к согласию, сколько было названий у этого города — две дюжины или три. Доподлинно известно лишь то, что от Адама до наших дней на него натыкался каждый завоеватель, а наткнувшись, брал штурмом, первым делом сравнивал с землей и тут же в донесениях о победе переименовывал — то ли потому, что завоеватели не терпят всего, что было до них, то ли предчувствуя неминуемое возрождение городка.

И действительно, само пепелище немедля начинало сортировать завоевателей: одни, как перекати-поле, уносились дальше, другие оглядывались и прикидывали — был здесь город, и кажется, не зря.

Во-первых, прекрасная бухта для кораблей. Река перед морем образует широкий тихий лиман — ни тебе бурь, ни приливов. Во-вторых, если смотреть с севера, то это ворота к морю, путь к Царьграду и проливам, — за ними берега греческие, итальянские, африканские и прочие. Если смотреть с юга, то опять же это ворота, тот же путь, только не туда, а обратно. В Литву, Москвию и мало ли еще куда. Если смотреть с востока, то здесь берег Черного моря как бы переламывается, круто поворачивая на юго-запад и открывая путь на Балканы. Кто переступит этот порог, кто пройдет эти ворота, тот, считай, оседлал Дунай. А если, наконец, смотреть с запада, то здесь ворота, которые, будучи закрытыми, спасают от сквозняка азиатских просторов, а распахнутые — указывают путь к Днепру, Волге и Кавказской гряде.

Короче говоря, здесь не может не возникать становище, само место приказывает граду быть. Именно здесь, а не левей или правей.

Так не сдуру ли покуражились, спалив и порушив все, что могло гореть и рушиться?

Между тем возвращались невесть откуда уцелевшие старожилы и с удивительной сноровкой и упорством брались за старое — вили гнезда, ибо воители огнем настилились вдоволь, но их праздник весь вышел и настали будни.

И замешкавшиеся пришельцы начинали ощущать зуд в руках, сначала как бы от нечего делать оглядывали уцелевшие стены, потом устанавливали камень на

камне и не могли удержаться, чтоб не приладить и крышу. Город возрождался — под новым именем.

Однако почему жители, принимаясь за старое, не возвращались к старому названию? Может быть, потому, что надеялись впредь не подвергнуться опустошению, скрыв под псевдонимом прежнее имя — невезучее или ставшее кому-то ненавистным. Но если столько псевдонимов, то поди отыщи настояще! Нет, пожалуй, всякий раз новая жизнь, начинаясь, меняла и паспорт, именуясь по мужу, по завоевателю... Но скорей всего, что и это не так: здесь чаще всего пахло не супружеской любовью и даже не браком по расчету, а просто насилием. Завоеватель довольствовался тем, чтоставил свое клеймо, и оно держалось до следующего нашествия. Но упрямый этот город исподтишка завоевывал завоевателей, превращал их в оседлых жителей своих, и они, питаясь соками этой земли, в который раз смыкали разорванную цепь, полагая, что начинают с чистого листа.

Эти рассуждения успокаивали Аристида Аристидовича, но не было в них гвоздя. Он остро пожалел, что нет рядом сына. Федя отбрил бы как следует этого молодца... Но Федя в начале мая был посажен за решетку непонятно за что. Он же мальчишка, ему всего семнадцать. Почему его засудили? Конечно, он горяч не в меру, но он же не подорвёт основ...

Аристид Аристидович не соглашался с резкими взглядами сына, его вообще коробило от всех немедленных рецептов переустройства мира, он считал, что опасно сортировать людей по расам или классам, лучше воздействовать на разум и совесть большинства... Конечно, чувствовал шаткость своей идеи, но оправдывал ее: человечество не созрело для разумных поступков, хотя идет к тому. Надо терпеливо вдалбливать ему в голову, что дважды два — четыре. Да, если уподобить суткам возраст Земли, то возраст человечества окажется меньше секунды. То есть разумная жизнь на Земле только-только прорезывается...

Однако, столкнувшись с Ремусом, Аристид Аристидович затосковал по страстным убеждениям сына. Ему захотелось увидеть, как Федя положил бы на лопатки Ремуса. Он бы гордился и восхищался сыном. Он представил себе нечто вроде диспута, где перед лиманской молодежью стоят лицом к лицу Федя и Ремус.

«Браво, господин Ремус! — сказал бы Федя, усмехаясь убийственно и свысока, хотя он ростом чуть пониже Ремуса. Зато плотней. Федя ни за что не унизил бы свою правоту до раздражения и гнева. — Браво! Великолепно! Вы провозгласили свою исключительность и заставили меня рыдать от восторга. В самый раз созвать на съезд всех Ремусов из всех держав — вот будет потеха! Ведь итальянский Ремус ни в жизнь не уступит румынскому в исключительности! А французский Ремус — у того в запасе Наполеон, не шутка! А у испанского — Колумб! Тут налетит восточный Ремус с Чингисханом, британский потрясет ключами всех морей, американский козырнет мировым долларом, русский Третьим Римом, арабский и турецкий выставят две шеренги властителей полумира! Короче, у каждого Ремуса — полная рука козырей. Но кто выиграет, когда у всех жуликов исключительно козыри! Когда за каждого Бог и историческое право! Заметьте, ложь, подделываясь под правду, всегда совершает ту же ошибку — принимает одновременно тысячу правдивых обличий, а у правды одно-единственное лицо! Но давайте рассмотрим поближе ту монолитную нацию, за которую ратует наш доморощенный Ремус. Входит ли в нее полуголодное, темное крестьянство? Ни в коем случае! По Ремусу оно — быдло, не имеет ничего общего с истинными наследниками римлян. А рабочие, потрясшие недавно все королевство Гривицкой вооруженной стачкой? Тоже нет. Они прокаженные, в них гнездится зараза коммунизма. Они, по Ремусу, врожденные рабы, сиречь тоже быдло, а не потомки преторианцев. Наш Ремус отвергнет и духовенство за проповедь смирения, и интеллигенцию за ее бесплодные умствования, и буржуазию за оплывшую салом лень и тупое самодовольство. Итак, нация Ремуса тает на глазах. Остается идея и наш элегантный господин Ремус! Посмотрите на него внимательно — под его модным костюмом кроется цепкая нация! Кто за ним пойдет, если пойдет? Мясники и кретины, как за его германским двойником — тем, с усиками...»

Да, жаль, что нет Феди... Однако Аристида Аристидовича утешало, что Ремус и сам оплошал. Аристид Аристидович действительно не отговаривал его так называемых апостолов. Каждый порознь по личным соображениям решил малость погодить, сочинив оправда-

ние перед остальными. Один лишь Титус, говорят, рвался, но его не пустил отец. То ли Стратан из осмотрительности охранял сына от подвохов политической игры, то ли успел пронюхать, что погода меняется и железногвардейцам грозит опала...

И все-таки — не хватает Феди! Пусть идут события, как им положено, но отсутствие нужной личности делает их куда бледней и медлительней. Тем более когда личность эта — его сын. Аристид Аристидович тяжело переживал его арест, но где-то в глубине души повторял, что нет худа без добра, надеялся, что реальные препятствия отрезвят Федю, убеждая его, что жизнь не волевой наскок, а куда более хитрая штука...

Мочка уха

*Лучше тыщу мук,
лучше сто смертей,
но из подлых рук
никаких услуг —
подлая рука
пристает к твоей...*

Федя был арестован в Кишиневе вместе с другими за участие в беспорядках, то есть в первомайской демонстрации. На допросах вел себя вызывающе, чем сразу выделился из остальных и был удостоен особого внимания.

Когда Федю взяли, он даже втайне обрадовался. Жаждал испытать себя в столкновении — лицом к лицу с врагом показать свое превосходство.

С какой-то веселой ненавистью Федя ждал побоев и пыток. Он знал, что его презрительного взгляда не выдержит ни один агент сигуранцы. Но по воле случая Федя попал в руки следователя, который слыл интеллигентом и либералом. И правда, Серджиу Поп был в своем роде неглуп и обладал достаточным опытом.

— Вот что, Теодор, — начал он сразу, усадив Федю, — я знаю, что ты связан с большевиками и утечистами¹, потому не морочь голову и не играй со мной в жмурки. Давай по-джентльменски, начистоту. Я откровенно скажу, что думаю. Я думаю, что ты дурак. Ты лезешь на рожон, а нам с тобой бороться неохота. Мы живем в мирной стране, и нам борьба ни к чему. А ты

¹ УТЧ — румынский комсомол.

затеваешь кавардак в этой стране. Кому это нужно? Я скажу кому. Только иностранной державе. Ты — слепая пешка московской агентуры. Вот почему ты дурак. И отсюда — первый вопрос: не пора ли тебе поумнеть?

Серджиу Поп был отчасти искренен. Ему жилось легко и приятно, он смотрел на свою службу сквозь пальцы и выбрасывал ее из головы, как только отрабатывал положенные часы. Он служил, чтоб осталльное время жить в свое удовольствие. Он любил жизнь и умел ею пользоваться. Пожалуй, это было единственным его убеждением. Людей, которые всецело, всерьез увлекались чем-нибудь — политикой, наукой, карточной игрой или женщинами, — он называл подлошадниками: если ты не сумел оседлать, как лошадей, свои страстишки, они на тебе ездят... Он и за карьерой не гнался, вполне довольствовался достигнутым и обосновывал это застольной мудростью: перепьешь — стошнит. К своему королю он относился как к галстуку: нужды в нем никакой, но так уж повелось... Он и к Богу был вполне безразличен, хотя исправно хаживал в церковь. Приличия есть приличия. Зато политических бунтарей, идущих на лишения и жертвы ради каких-то идеалов, он считал придурками или неудачниками.

А Федя, приготовившийся к удару и отпору, насторожился и с любопытством глядел на следователя. Лицо у того было мирное, слегка утомленное. Ни злобы, ни звериного блеска в глазах. «Что за фрукт? — подумал Федя. — Разыгрывает роль или в самом деле мямя?» А вслух сказал:

— Не старайтесь. От меня ничего не услышите.

Серджиу Поп сокрушенно покачал головой. Молча стал постукивать пальцами по столу. Вроде подбирал ритм какого-то танца. Он понял, что ему лень допрашивать. Игра не стоит свеч. Определенно этот парень из тех, непрошибимых, ненормальных. Хоть кол на голове теши, ничего не добьешься. Знал по опыту эту интонацию, эту позу, это мертвое упорство, которое только крепнет от попыток его сломать. Серджиу Поп прикидывал, как оформить протокол допроса, заранее зная все результаты.

Федя, тяготясь молчанием, крепился. Его так и подмывало ввернуть что-нибудь такое, чтоб эта самодовольная рожа перекосилась. И не выдержал.

— Позвольте и мне, дураку, быть откровенным, —

начал он тихо, ощущая легкую дрожь напряжения.— Только без обид.

— Какие могут быть обиды?— Серджиу Поп поднял глаза и перестал выстукивать румбу.

— Ну, так вот. Я считаю, что вы — паразит. Клоп. Клопу тоже неохота бороться с человеком, ему и так хорошо, но человек давил и будет давить клопов. Хотя занятие это — препенеприятное. Смердит!

Серджиу Поп похолодел и тут же вспотел. Но не дрогнул. Только глаза его помутнели, будто он перестал видеть Федю, а кадык дернулся, как от глотка. Нельзя поддаваться этому хаму. Лучший способ не унизиться до обиды — отогнать ее, как муху. Он помолчал, выигрывая время. Его глаза медленно возвращались к зрячести. Пальцы опять вспомнили румбу.

— Теодор, ты проговорился. Значит, ты коммунист. На паразитах помешались все коммунисты, даже в свою песню вставили: мол, «паразиты — никогда». Ты попугай, Теодор. То есть, по-вашему, товарищ Федор. Итак, продолжим. С какой ячейкой ты связан?

Серджиу Поп понимал, что ничего с допросом не выйдет, но ритуал есть ритуал. Федя усмехнулся и стал рассматривать портрет короля на стене.

— Видный мужчина,— сказал он.

— Вполне,— ответил Серджиу Поп.— К нему ты и обратишься за помилованием. Но чистосердечное признание...

— Не тратьте время зря,— сказал Федя, закинув ногу на ногу.— Зовите сразу своих живодеров.

Серджиу Поп был не прочь поскорее избавиться от этого парня. Он инстинктивно сторонился больных, пьяных и одержимых. Особенно одержимых. Он не верил, что здоровый, нормальный человек может поступаться своими интересами ради идеи. Он видел насквозь людей своего круга, знал, что служение Богу, родине или королю — просто привычное притворство, одно из необременительных правил для всех, кто принял условия игры. Но этот парень не притворяется. Он окончательный дурак, фанатик. В таких случаях пытки — отвратительное, зряшное дело. Кто слаб, тот и без пыток расколется, только надо умеючи запустить руку в его внутренности. Да и вообще пытки, мордбобой — это некультурно, они не делают чести молодой европейской стране. Кто их только придумал?

— Ты прав. Давай кончать.— Серджиу Поп зевнул, прикрывая пальцами рот.— Меня ждут к ужину.

Он позвонил. Вошли трое.

— Будьте добры, заткните ему рот кляпом и привяжите к стулу, да покрепче.

Приказ был выполнен.

— Поверните лицом к стене.— Серджиу Поп не хотел встречаться с Федей глазами. Он чувствовал себя неловко.— Теперь отрежьте пол-уха. И отведите в камеру.

Серджиу Поп хлопнул дверью и ушел.

Связанный Федя недоумевал. Поведение следователя было странным, даже бессмысленным. Что это за пытка, когда у тебя ничего не выпытывают?

А следователь торопился оформить протокол. Он велел отрезать арестованному пол-уха для отчета. Иначе вышло бы, что он не исчерпал всех методов дознания. Служба. У нее свои правила игры.

Встреча с таким следователем многому научила Федю. В тюрьме, да и после Серджиу Поп назойливо торчал у него перед глазами. Сначала Федя задыхался от ярости. И бессилия. Все его силы, сжатые в кулак для борьбы с врагом, ухнули в какую-то свистящую пустоту. Единоборства не получилось. Этот мямяля оказался хуже всякого зверя. И страшней. Федя раскусил загадку, понял, что такой безразличный исполнитель, не верящий ни в чих, ни в чох, опасней убежденного в своей правоте негодяя.

Феде мучительно хотелось еще раз встретиться с ним. Особенно после победы народа. Но, если следовать правде, выходило, что Серджиу Поп при перемене власти не ощутит большого потрясения. Он с легкой душой продаст всю сигуранцу со всеми ее потрохами. Я, мол, подневольный чиновник. Зато теперь могу пригодиться, весь к вашим услугам. Я, мол, в душе никогда не одобрял мерзостей... И ведь в чем-то правду скажет, сукин сын. Действительно, не одобрял. И борьбы не хотел. И самолично не бил, не пытал. Даже сводил к минимуму страдания заключенных!

Федя думал-думал, переворачивал этого типа и так и этак, как дотошный исследователь, ищащий сути. Может, такие, как он,— в самом деле слабое место врага,

вынужденного, за неимением лучшего, вербовать мелких приспособленцев? Может, стоит это учесть, стоит поприжать таких — и откроется зияющая брешь в твердыне старого мира?

А может, как раз наоборот — это самый тайный, самый неистребимый его продукт? Может, это тот песок, который страшнее горы? Та песчаная пустыня, в которой захлебнется самая бурная река? Мертвый мелкий песок, забивающий уши, ноздри, глаза... Лучше ходить по гвоздям, чем увязать в песке.

Нет, никогда Федя не допустит, чтобы светлый дворец будущего занесло песком! Нет, никогда Федя не коснется подлой руки. Даже утопая. Иначе подлая рука тут же прирастет к твоей — не отдерешь!

Только чистые, только чистые, только чистые руки — для революции!

Отрезанная мочка уха — прекрасная памятка, на всю жизнь. От безразличных, не верящих ни во что.

На суде от него ничего не добились, но срок увеличили...

Бесенок

*Берегись меня, сутана,
Я — великий сатана! —
Вот какая песенка
У бесенка...*

Ремус потоптался на башне, потыкал ботинком камни и, раздосадованный, отправился в клуб, где решил отыграться, с лихвой перекрыть издержки — проигрыши, угощения и банкноты, демонстративно сожженные перед Яшой и Григом.

Той же ночью он укатил в Бухарест, заклеймив Лиманск позором за его косность и тупость.

Но надо сказать, что укатить-то он укатил, да след оставил. Оставил смутную тревогу какого-то нарождающегося веяния, которое сначала охотно откупоривает шампанское, а впоследствии требует крови. И вдобавок бедные апостолы стали чувствовать свою национальность как нечто самодовлеющее.

Разбуженное внимание к своему происхождению вызвало у многих смешанное чувство неполноценности

и превосходства. Николенька, сын дяди Мити, например, уже не думал, глупей он или умней других, а думал, что он — армянин, то есть, с одной стороны, хуже других, потому что живет не на армянской земле, своей земли не видел и своего языка не знает, но, с другой стороны,— он лучше, потому что является потомком мужественного древнего народа, создавшего свою письменность и культуру тогда, когда многих народов еще и в помине не было. Так же думали и еврей Сюня, и Милька-цыган. Последний открыл свою прародину — Индию — и увлекся учением йогов.

Сыновья все чаще стали обращаться к родителям с вопросом: кто я такой? Разразилась повальная страсть к истории десятков народностей, осевших в наших местах, и великое смущение овладело многими, в ком скрестились по две, а то и по пяти кровей,— поди разберись, кто ты. Особо если у тебя мать молдаванка, а отец турок. Неужто левой рукой разить правую?

Это был окольный путь в прошлое, окольный, потому что в поисках начал исследователи отходили все дальше и дальше от Лиманска, от живой истории земли, где родились и выросли.

...В тот вечер в клубе отец, его друг Миша и нотариус Коврига решили сыграть в покер. Как раз искали глазами четвертого, когда подвернулся Ремус.

— Покер? — спросил он, поздоровавшись.

Отец промолчал, а Миша радостно согласился. Как он потом объяснял, обрадовался новому человеку и еще немножко тому, что этот новый человек, по слухам, играл небрежно и легко проигрывал.

Сели, Ремус был задумчив. Часа полтора игра шла с переменным успехом. Ремус пальцем поманил кельнера:

— Ужин на четверых. С шампанским.— И, обратившись к партнерам, добавил:— Я угощаю.

Кельнер подкатил маленькие столики с закуской к каждому играющему. Под столиком висели ведерки с льдом, в которых покачивалось шампанское. Пока один сдавал карты, остальные закусывали. Коврига, по обыкновению, отставил стул и сидел боком, чтобы дать место своему прославленному животу.

Отстранив кельнера, Ремус собственноручно откупорил бутылку, причем весьма ловко — не уронил ни кап-

ли пены. Разлил. Миша стал отказываться,— я, мол, пить не люблю.

— Прошу,— сказал Ремус грустно.— Хоть пригубите. Ради меня.

Чокнулись, и Ремус стал тасовать колоду. При этом он вдруг вдохновился, рассказал несколько крепких анекдотов про похождения короля и его брата Николая.

Еще смеяясь, отец чуть-чуть раздвинул свои карты, чтобы угадать их по уголкам. Три валета! Отлично. Открыл игру. Вошли все. Ставка была триста лей. Отец купил две карты и почувствовал толчок удачи — прибыл четвертый валет. Значит, каре, то есть редкая и сильная фигура. Чтоб не отпугнуть партнеров, предложил плюс двести лей. Но Миша тут же дает плюс пятьсот,— интересно, на что он надеется? Не поднимая глаз, Коврига говорит:

— Плюс тысяча.

— Тысяча пятьсот,— с запинкой говорит Ремус.

«Я быстро стал соображать,— рассказывал отец,— у Миши, наверно, не Бог весть что — он любит рисковать, у Ковриги хорошая карта, он зря не полезет на рожон, а вот господин Ремус, ей-Богу, блефует, у него полно денег, вот и берет нас на испуг. Не выйдет. Как-никак, у меня каре валетов. Говорю:

«Тысяча восемьсот»,— и выкладываю деньги.

«Две пятьсот!» — говорит Миша, радостно вертя головой.

Колыхнув животом, Коврига прогудел:

«Пять тысяч».

«Ну... десять тысяч»,— сказал Ремус.

На столе уже куча денег. И тут меня осенило: Ремус — шулер! Он под анекдоты с шампанским сделал накладку, сдал нам всем сильные карты, а себе — сильнейшую. Вот теперь и втягивает нас в ловушку.

Я бросил карты и толкнул ногой Мишу, чтоб и он не платил. Черт с ними, с теми тысячами, стоп. Миша с минуту молчал. Я понимал, какая происходит борьба в его душе. Однако вера в друга взяла верх — он бросил карты и, как потом рассказывал, тоже толкнул ногой Ковригу. Но тот набычился и, ни на кого не глядя, все-таки выложил десять тысяч.

Открыли карты.

Как я и предполагал, у Миши оказалось дамское каре, у Ковриги — королевское, а у Ремуса — тузовое!

Ремус спокойно собрал наши денежки. Я и Миша поднялись. Коврига с картами на горизонтальном животе сидел как прикованный. Он тупо уставился на руки Ремуса. А Ремус удивленно перекатил свои выпученные глаза по нашим лицам:

«Игра кончена?»

«Да, — сказал я. — Ничего не поделаешь, не пойман — не вор. Но учтите, господин Ремус, здесь с вами никто больше играть не будет. И вообще, мне кажется, вам лучше уехать».

Ремус пожал плечами, встал и ушел, не оборачиваясь.

Конечно, завсегдатаи клуба заметили, что Ремус положил в карман кругленькую сумму. Они поздравляли его, набивались на угощение, но, сославшись на спешные дела, он покинул клуб навсегда, сказав одну-единственную фразу:

— Дураки всегда проигрывают!

Когда Титус после каникул вернулся в Бухарест, он кинулся искать Ремуса, потрясшего Лиманск. Раз господин Ремус знает весь Бухарест, то и весь Бухарест знает Ремуса! Но почему-то никто его не знал ни по имени, ни по приметам, ни по великим идеям, обуревавшим его. Точнее, были десятки Ремусов, но других, а великие идеи — одна радикальнее другой — высказывались чуть ли не в каждой кофейне.

В Лиманске у Титуса, разумеется, допытывались про Ремуса (Титус приезжал на Рождество и на Пасху), но он многозначительно щурился.

— Конспирация. Его, наверное, знают под другим именем. Возможно, он правая рука самого капитана Кодряну¹. Мы еще о нем услышим, помяните мое слово.

И действительно, в Лиманске еще услышали о нем, а потом даже — увидели.

В конце августа тридцать девятого Николенька по поручению дяди Мити побывал в Яссах. На третий день он заскочил в отделение Камера Мунчий (Дом Труда — нечто вроде официальных профсоюзов под управлением государства) и нос к носу столкнулся с чиновни-

¹ Корнелиу Кодряну — лидер «Железной гвардии», румынской фашистской организации в тридцатых годах.

ком, у которого было лицо Ремуса. Пополневшее, но с теми же выпученными глазами.

Николенька опешил. Черт в тихой канцелярии напугал его сильней обыкновенного черта с рогами.

— Домну Ремус... — прошептал он.

— Вы меня не знаете, и я вас не знаю! — сухо и быстро, не разжимая губ, проговорил Ремус и скрылся за какой-то дверью.

За два года Николенька повзрослел, его уже нет-нет да и называли по имени-отчеству, потому он довольно быстро преодолел замешательство и стал прикидывать: «Черт испугался меня больше, чем я его. А если так, то почему? Не потому ли, что время другое?»

Время было другое. Король запретил все политические партии, в том числе и «Железную гвардию». Капитан Кодряну был убит, прочие главари легионеров сидели за решеткой или скрывались.

Николеньку затомило любопытство: неужто черт сдрейфил и отрекся от самого себя? Может, и в церковь ходит? Вот потеха — как он теперь заговорит...

И толкнул дверь, за которой скрылся Ремус. Увидел его, уткнувшегося в бумаги, подошел вплотную:

— Домну Ремус, я здесь никого не знаю, составьте мне компанию. Где можно хорошо поесть и выпить?

Глаза Ремуса быстро обшарили комнату (в ней никого больше не было), потом внимательно ощупали Николеньку, его лицо, костюм, руки. Николенька просто-душно улыбался.

— Где вы остановились? — спросил Ремус.

Николенька назвал гостиницу и номер.

— Прекрасно. Я зайду за вами в семь. — И Ремус опять уткнулся в бумаги.

Он заявился на полчаса раньше, сразу подошел к окну и поглядел, куда оно выходит.

— Поужинаем здесь, — предложил.

Заказали. Только на сей раз Ремус отказался от любимого шампанского, запросил цуйку. После нескольких рюмок он преобразился, стал говорить без умолку, вскакивал, вскрикивал, совершенно забыл свои предосторожности, хвастал, рисовался, даже пел легионерские песни.

Тараторил торопливо, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, не договаривая, часто хватал Николеньку за руку или хлопал по плечу. Под конец обнимал его

и порывался целовать, но ограничивался тем, что прижимался к его щеке щекой, избегая губ,— видимо, брезговал. Николенька чувствовал в его прорвавшемся темпераменте двойственность: Ремус пьян и одновременно понимает, что пьян, он откровенничает и следит за собой и за своим собеседником, он раскрывается, но при этом неясно, когда раскрывает себя, а когда — того, которого играет. И все это вместе отдает чем-то лихорадочным и надрывным.

— Так и живешь, друг мой, так и живешь,— говорил Ремус,— живешь добропорядочно и кисло, цуйку плохо пьешь. Хочешь, я встрихну тебя, ты парень не дурак, я из тебя человека сделаю. Сейчас пригласим женщину, две, три — сколько душа пожелает. Женщину надо брать молча. Я тебе покажу. Это как на охоте, как на войне. Стрелять надо молча. На войне женщин берут без реверансов. Позволь себе безобразничать — тогда почувствуешь свободу. У нас нет свободы, потому что мало насилия. Я никогда не женюсь. Дозволенное — это смерть. Все дозволенное — смерть. Знаешь, как один еврей пошел к проститутке. Она разделась и легла. «Нет,— сказал он,— одевайся и сопротивляйся!» И евреи бывают умные. Но ум у них не в ту сторону. Они как микробы в теле нашей нации. У микробов свой ум... Почему король разгромил нас? Он втюрился в живовку, она ему нашептала. Микробы хотят нашей крови, мы их утопим в крови. Ты будешь с нами!

Некуда тебе деваться. Скоро наступит размежевание. Или туда, или сюда. Никому не удастся отсидеться. Мы тебе обещаем все, они — ничего. Они сулят тебе растительное существование, ты будешь деревом, и тебя будут подстригать садовыми ножницами. А от нас ты получишь все недозволенное. Пей. Пей, не бойся. Сейчас мы пригласим женщину и скажем ей: «Одевайся и сопротивляйся», как сказал один еврей, когда... Я уже это говорил? Давай выпьем и споем, пусть слышат Берлин и Москва. Мы переживаем трагические дни. Король запретил нас. Нас у-би-ва-ют. И в этот момент Гитлер, этот фюрер — только непревзойденный фюрер может свалить такого дурака! — Гитлер протягивает руку Москве. Нас предали, вместо того, чтобы... А они призваны драться. Драться! Риббентроп должен был вытащить шпагу или кинжал... Я смеюсь. Но сквозь скрежет зубовный. Они должны глотки друг другу грызть!

Что они делают, что делают! Я всегда говорил, что Гитлер хорош для начала, только для начала. Мне бы власть, я бы не валял дурака. Как в картах. Для меня все карты прозрачные. Что хочу, то и делаю. Сейчас позовем женщину. Да здравствует отдушина! У тебя есть деньги?

Николенька кивнул.

Николенька давно и пугливо ждал такого вопроса. Он слушал Ремуса с раздвоенным вниманием, будто стоял спиной к клетке с тигром. Смотрел в глаза собеседнику, кивал, а спиной чувствовал тигра.

Повторенное слово «женщина» вызвало в Николеньке сосущее беспокойство, чем-то напоминающее высотобоязнь. Сердце колотилось, замирая от напряжения и страха.

Николеньку не смущило, что женщину можно назвать за деньги. Он привык, что его отец в ресторанчике за деньги угощает лучшими блюдами, улыбается и с предупредительной нежностью ухаживает за клиентами. Не притворство, нет,— он вдохновляется, входит в ресторан, как актер на сцену, входя в роль. Актеры тоже получают деньги. Николенька наивно мечтал о нежности. Войдет женщина и сыграет ему нежность. Он совсем не хотел безобразничать.

В Лиманске жили четыре проститутки, но те не в счет. Николенька еще мальчишкой считал их дурочки, а когда подрос, брезгливо воспринимал их существование — какие они женщины?

А здесь, в незнакомом городе, незнакомка ясно представилась ему кинозвездой в купальнике. Николенька трусил, но хотел. Потому он не смог произнести «да», а тихо наклонил голову и тут же вспотел.

— Прелестно,— сказал Ремус. Налил себе цуйки, поморщился — цуйки хватило на полстопки. Стал доить бутылку, считая капли. Глаза его налились кровью.

— Давай лучше закажем еще цуйки,— сказал он.— А то здешние курвы или работают в сигуранце, или больны сифилисом. Выпьем и махнем к одной вдовушке, она во какая! На ней вдвоем уместимся! А ты, кстати, не работаешь в сигуранце?.. Я шучу.

Николенька оскорбился и за кинозвезду и за сигуранцу, но виду не подал. Он уже стал жалеть, что связался с Ремусом. Но дальше — хуже. Вылакав еще полбутылки цуйки, Ремус вдруг объявил, что хочет спать. Он снял пиджак, повесил его на спинку стула, лег на

Николенькину кровать поверх одеяла, зевнул и прикрыл ладонью глаза.

Опешивший Николенька прошелся по номеру, поправил пиджак Ремуса на стуле, поглядел в окно и, обернувшись, вздрогнул: Ремус сквозь слегка раздвинутые пальцы следил за каждым его движением.

Николенька похолодел. Не зная, что предпринять, он выровнял пробор дрожащей расческой. Потом решительно снял пиджак, повесил на другой стул и ушел в туалет. Пусть Ремус проверит его карманы и перестанет подозревать!

Минут десять он шумно мыл руки и отфыркивался. Наконец вышел. Ремус лежал в той же позе. Николенька сел на стул и стал ждать. Оба не двигались.

Прошло с полчаса. Ремус встал.

— Все. Поблаженствовал.— Он потянулся за бутылкой и допил ее.— Пошли.

Николенька не стал допытываться куда. Лишь бы вывести его из номера. Было поздно, шел дождь.

Ремус выглянул в окно.

— Эти двое возле фонаря давно стоят? Кто они?— спросил он.

— Откуда я знаю?

— Так,— сказал Ремус.— А что у тебя в шкафу?

— Два жандарма!— не выдержал Николенька.

— Ты не смейся. Нас убивают. Травят. Потому что нас боятся. Чуют, какая мы сила... Но чем сильней стиснешь пружину, тем стремительней она расправится!

На улице Ремус схватил Николеньку за плечи и прошептал в ухо:

— Донесешь — каюк! Из-под земли достанем и кокнем. Слишком много знаешь, будешь у нас на примете. Всю жизнь.

— Я ничего не знаю. Я в политике не разбираюсь,— сказал Николенька.

— Посмотри мне в глаза. Отвечай. Ты с сигуранцей не связан?

— А вы?— отпарировал Николенька. Ему стало невмоготу.

— Я? Да ты пьян, что ли?— Ремус потряс его за плечи, потом обнял и прижался щекой к его щеке.— Держись за меня, орленок, со мной не пропадешь. А теперь отведи меня домой. Дождь идет.

— Извините, — сказал Николенька, — у меня голова болит. Спокойной ночи.

— Лети, орленок. Я не держу... Постой. Дай пятьсот лей до завтра. Слово мужчины.

Николенька дал. С облегчением.

Всю ночь он не мог заснуть. Хоть выпил гораздо меньше Ремуса, его мучило. Он задремывал и вскакивал от каких-то гадких видений. Ремус выходил из шкафа и тихо заползал под кровать. Вместо луны — глаз в кровавых прожилках не мигая глядел в комнату. Пахло цуйкой и еще чем-то кислым. За стеной взвизгивал женский голос и, казалось, двигали мебель. Кинозвезда в купальнике издевательски смеялась ему в лицо. Где-то далеко вспыхивали немые, бледные молнии. Бесшумное пламя охватывало гостиничный номер. Через окно бесшумно проплыл самолет. Пахло гарью и войной. Война (Николенька не знал) как раз в это время начиналась в Польше, соседней стране...

За стеной все будто двигали мебель. Николенька зажал уши и, измученный, заплакал. Ему захотелось домой. И как можно скорее.

Родной отец и приемный сын

Федю преследовали неудачи. Отсидев три года, он вышел весной сорокового.

Сумел восстановить связи, но вскоре крупно рассорился с товарищами из УТЧ. Его обвиняли в том, что он отстал, не понимает обстановки, эмоции берут верх над тактикой. Федя возражал, что он видит обстановку ясней, чем когда бы то ни было, с возмущением отметил отступление от принципиальной революционной программы и наотрез отказался подчиниться новым директивам, противоречащим его убеждениям.

Когда Федя появился в Лиманске, он был одинок, но полон дерзких замыслов. Он решил действовать на свой страх и риск, доказать оппортунистам свою правоту.

В первый же вечер он порвал с отцом.

Аристид Аристидович страшно обрадовался возвращению сына, но силился скрыть счастье — сын не выносил бурного изъявления родственных чувств. Он ни

о чем его не расспрашивал, только все видел перед глазами усеченное ухо. Хлопотал, застилал кровать белоснежным бельем. Примус шипел — на нем варилаась картошка, а керосинка подогревала бак с водой для купания.

Федя думал, глядя в окно. Ему было в ту пору двадцать лет. Добродушное некрасивое лицо с широким носом делало его похожим на простоватого, недалекого парня. Но молчаливый, неподвижный или спящий Федя — это не Федя. Когда он говорил, становился Дантоном. Быстрая речь, быстрые движения — Федя говорил всем телом, — он был весь напор чувства и убеждения. Он шуток не понимал («разве можно шутить в такое время?»). Он был плотью и голосом идеи, а не толкователем ее. Боль, искренность, требовательность преображали его маленькие карие глаза.

Тут, пожалуй, становилось заметно, что он на самом деле не родной сын своего отца. Аристид Аристидович тоже мастер поговорить, но совсем в ином роде. Старик как бы вне идеи, которую излагает. Вернее — над ней. Тон снисходительного всепонимания. И непреодолимое желание выставить в нелепом виде все радикальные страсти века.

В тот вечер Аристид Аристидович ирикусил язык. Боялся повредить своему счастью. Он надеялся, что с Федей после всех перипетий произошла какая-то перемена, надо только учуть — какая. Ужин дымился на столе, покрытом белой скатертью.

— Садись, Феденька.

— Сейчас. — Сын просматривал книги отца. — Винегрет у тебя, мешанина под видом порядка. Как можно по алфавиту располагать? Пушкин — Писарев. Маркс — Мальтус... Примирияешь непримириости?.. Как ты можешь спать в этой комнате? Все твои книги ссорятся!

— Феденька, время многое примиряет...

— Ничего не примиряет.

— Хорошо, Федя, я переставлю книги. Садись. У нас сегодня картошка со сметаной, жареные бычки, мамалыга со шкварками. Все или на выбор. Потом будет кофе с каймаком. Ты любишь.

— Кофе! — сказал Федя горько. — Ты не знаешь, что у меня на душе.

— Ты много пережил, Федя. Знаю.

— Не обо мне речь. Я не о себе думаю!

— Понимаю. О революции. Ты ее четыре года назад предсказывал, а она опаздывает. Революция не поезд, она не ходит по расписанию.— Видя, что Федя вскинулся, Аристид Аристидович торопливо добавил:— Но она будет. Сто революций было и еще будет. Никто не говорит, что их больше не будет! Садись, стынет.

— Отец, происходят вещи пострашней. Я остался один как перст. Пока я сидел, наши сняли лозунг борьбы с фашизмом. Мне, понимаешь, объясняют, что у Советского Союза договор о ненападении с Германией и этот договор нельзя подрывать. Мол, Гитлер только и ждет, чтоб его спровоцировали. Не тот, мол, момент. Я кричу, что договор — дело не партийное, а государственное. Сталин правильно рассудил: пусть империалисты дерутся, революцию приближают. А у нас другое дело. Мы — подпольная партия в стране, которая на распутье: или мы, или Гитлер. Мы должны бороться против агрессора и его румынских слуг. А мне опять объясняют, что агрессор не Германия. А Франция с Англией. Они объявили войну Германии, они хотят втянуть Балканы в бойню. Значит, острие борьбы — в их сторону! И это говорится, когда кровь не высохла на улицах Мадрида! Партия сбита с толку. Единого фронта против фашизма не существует. Король не сегодня-завтра падет в ноги Гитлеру. У нас будет фашизм, ты соображаешь?

— Федя, я тебя умоляю. Поговорим после ужина. Поешь, родной. Тебе еще искупаться надо. Ты устал.

— Ты издеваешься? Или тебе плевать на все, что я говорю?

— Феденька, не горячись. Я очень хорошо тебя понимаю и думаю, что ты прав. Гитлер для меня отвратительная загадка. Как он мог появиться в наши дни? Ну, Нерон — ладно, дело было на заре цивилизации. Но сегодня! И в такой культурной стране, как Германия, на родине Гёте, Бетховена. И Маркса!

— Никакой загадки нет,— сказал Федя резко.— От капитализма к империализму, от империализма к фашизму — одна цепь.

— Может быть. Все-таки загадка — как ему поверили все немцы? И твои рабоче-крестьянские массы. Но не в этом дело. Я с тобой согласен, ему нельзя дать развернуться, он таких дров наломает! Понимаем, а

сделать ничего не можем. Судьбы мира решаются не здесь, и нас не спрашивают. Войны начинаются не здесь и не здесь оканчиваются. Мы всегда на обочине. Мы — побочные. Печально, но факт.

— Наконец-то! Прекрасная формула. Вот тебе разгадка, почему Гитлер пришел к власти. В Германии тысячи городков, как этот. Вся Германия состоит из таких милых городков. И в каждом городке по мудрому седому старику, проповедующему, что наша хата с краю. Гитлер должен в ноги поклониться таким мудрецам за их философию. А он, скотина, топает по их головам коваными сапожищами!

— Я — пособник фашизма?! — Аристид Аристидович попробовал засмеяться, но у него не вышло. — Ну, а что ты можешь? Расскажи, пожалуйста. Языком трепать и я умею.

— А то, что жизни не пожалею, всех растормошу, всем глаза открою. Вот на том берегу лимана пролетарская власть. Вы что, ослепли, не видите? Свобода — вот она! — рукой подать. Там захотели сами решить свою судьбу, не по-слу-ша-лись милых седых старцев! Мне стыдно за своих земляков, которые называются подданными Божьей милостью короля, в то время, как на том берегу любой пионер пропадает со смеху, когда слышит о Боге и короле. Любой пионер понимает больше тебя. Он знает, что делать.

— Ты хочешь революции в Лиманске?

— Промедление смерти подобно. Гитлер не насытится. Для него Дания и Норвегия — семечки. Он через Бельгию рвется к Парижу. Французские предатели, запретившие компартию, будут разбиты. Значит, Гитлер завтра возьмется за нас. Слепые идиоты, он устроит здесь кровопускание!

— Федя, бедный мой Федя, ничего ты не сделаешь. Где ты возьмешь в Лиманске промышленный пролетариат для революции? У нас полторы дюжины рабочих на мельнице и электростанции. Я их всех знаю наперечет. Авердян не хочет неприятностей и дает им жить спокойно. А на консервном заводе одни женщины. И те не подыхают с голоду. Румыны ведут себя осмотрительно, кумекают, что город — на границе. И держат приличный гарнизон в казарме, не считая пограничников. Как тебе втолковать? Город у нас дурацкий, не такой, как тебе надо. Не здесь начинается твоя классовая борьба.

— В крестьянской России пролетариат тоже был в меньшинстве. И однако! Возьми бинокль и погляди на ту сторону!

— Федя, я только хочу тебя уберечь от разочарования. Просто-напросто ты опять угодишь за решетку.

— Не ты ли побежишь в полицию?

— Федя!

— Прости, я не хотел... но мне нечего здесь делать. Будь здоров. Нам с тобой не по пути.

Федя схватил кепку, хлопнул дверью и ушел в майскую ночь. Стариk долго сидел за столом, прикрыв глаза. Будто умер сидя. Давно остывли картошка со сметаной, бычки и мамалыга со шкварками. Сиротливо белела застеленная кровать для Феди. Бак на керосинке кипел. О нем забыли.

Отец хотел вылепить сына по своему образу и подобию, а невольно толкнул его к революции. Аристид Аристидович удалял от Феди отроческие иллюзии, учил его трезво глядеть на мир. А окружающий мир, который застал Федя, держался на трех китах — Бог, родина и король. Отец мягко и доступно объяснил сыну законы природы: чем больше разгадок, тем меньше места для веры. Бог опутан церковью и догмой. Но какой разумный человек откажется от познания и сомнений? Незачем далеко ходить: в Лиманске перебывали десятки богов — от финикийских, греческих и римских до мусульманского и христианского (последний в двух вариантах — католическом и православном). Бог вездесущ, точно капитал, он состоит из национальных валют. Испанский Бог обслуживает Испанию, английский — Англию, румынский — Румынию и хранит соответствующих Божьей милостью королей.

Бог хранил царя и двуглавого орла — более ста лет все лиманцы рождались гражданами Российской империи, но вот к концу мировой войны Российская империя перестала существовать — прежнее понятие родины без предупреждения отменяется. Сфатул Цэрий предлагает молдавскую родину, Центральная Рада — украинскую, белогвардейцы — белую родину, большевики — красную. Под шумок заявляются румыны и без разговоров объявляют, что родина Лиманска — великое румынское королевство. Бог отныне защищает только румынскую корону. Прикажете такую свистопляску считать разумной? О короле и говорить нечего. Что сказать о прави-

теле, который выдвигается не по уму и способностям, не по желанию страны, а по наследству? Попробуйте ученых, писателей или певцов назначать по такому принципу!

Аристид Аристидович наставлял сына ради свободного развития его разума, а вовсе не ради бунтарства. Он избегал разговоров о том, советском береге, который виден был из окон дома,— считал это преждевременным и небезопасным. Он поправлял и высмеивал сына, когда тот пытался забегать вперед и самостоятельно мыслить. Непрекаемость отца стала со временем раздражать Федю. Он все чаще спорил, упирался и тяжело переживал удары иронической логики Аристида Аристидовича. Молодость требует решительных выводов и действий, а Аристид Аристидович находил удовлетворение в самом процессе познания и считал, что глупо соваться под слепые колеса истории, лучше умом воспарить над ней.

Но советский берег вместе с солнцем каждое утро вставал перед глазами сына, когда он просыпался, и ежедневно множество былей и небылиц, слухов и пересудов толкали к разгадке тайны красного флага; но в городе сохранились еще очевидцы татарбунарского восстания двадцать четвертого года, бессарабского восстания, над которым развевался тот же красный флаг; но в библиотеке отца нашлись книги, которые шли дальше отца и открывали смысл и цель немедленной революционной борьбы. Писарев и Горький, Роллан и Барбюс, популярные брошюры о Бакунине, о Марксе и Плеханове. Из непоследовательного чтения Федя выбирал лишь то, что ему было нужно, лишь то, к чему рвалась его душа. А рвалась она к ясности. И ясность пришла озарением: на планете существует всего две нации — нация угнетенных и нация угнетателей. Вековая классовая борьба на наших глазах завершает предысторию человечества. Час пробил: одна шестая часть земли уже свободна. Началось триумфальное шествие новой эры. Эры социальной и человеческой справедливости.

Федя был счастлив, что родился вовремя, что он современник величайшего исторического преображения. Он торопил свой возраст, спешил действовать.

В пятнадцать лет Федя в одиночку попытался переправиться на тот берег, был жестоко избит румынскими пограничниками и возвращен домой. В шестнадцать он

с двумя школьными товарищами готовился к побегу в революционную Испанию, но во время сборов с ним установили связь утечисты и отсоветовали: надо сначала войти в организацию, приобрести революционный опыт, научиться действовать сообща... Федя с радостной готовностью вступил в подпольный комсомол. В том же году бросил школу, ушел из дома, чтобы стать рабочим,— поступил учеником на Кишиневский механический завод. В семнадцать он уже был арестован.

Аристид Аристидович не мог остановить сына. Не мог остановить германские танки, мчащиеся к Ла-Маншу. Не мог остановить тех людей, которые распоряжаются людьми и дают имя событиям. Тех, которые понятия не имеют о Феде, о самом Аристиде Аристидовиче и обо всем Лиманске. Тех, которые мыслят более широкими категориями и округленными числами.

На Аристида Аристидовича накатил давнишний кошмар. Чувство полной бессмыслицы, ярости и бессилия. Как в 1916 году в Галиции, когда он вторые сутки без перерыва оперировал и бинтовал раны. Извлекал осколки и пули, ампутировал руки и ноги и ни о чем постороннем не думал. Некогда было думать. Канонада сотрясала окна лазарета. Война тоже работала без перерыва, втыкала осколки и пули в здоровые тела, не считаясь с тем, что у него только две руки, что он не успевает. Когда в лазарет внесли новую партию раненых, Аристида Аристидовича внезапно обожгла острая обида. Он закричал:

— Прекратите! Прекратите это издевательство!— Он ясно увидел, что одинок и одурачен, все остальные поголовно заняты тем, что торопливо наносят друг другу рваные раны, причем тут же увечат и тех, которых он вылечил.— Перестаньте стрелять!— Он затопал ногами. И услышал, что канонада затопала на него ногами, приказывая продолжать страшную игру. Ей почему-то хотелось, чтобы Аристид Аристидович вытаскивал пули, которые она старалась загнать поглубже.— Перестаньте! Иначе я застрелюсь!

Теряя сознание, услышал:

— С ним истерика... уложите...

Теперь та же истерика, только тихая. Немая. Аристид Аристидович видит, как сын шагает по ночным

улицам, решительно и сердито несет свою жизнь кому-то невидящему, глядящему поверх него. Несет свои двадцать лет, свою завтрашнюю любовь, завтрашнюю зрелость, завтраших детей. Такую бесценную ношу. И такую обесцененную.

Но Федя не попал за решетку. Аристид Аристидович узнал, что Федя тайком ночует у Милочки, чей муж в солдатах. Она работала на консервном заводе и знала Федю еще до тюрьмы. Аристид Аристидович обрадовался: любовь — хорошее дело, Феде как раз в пору... Он зря обрадовался. Огорченная Милочка ему потом рассказала, что Федя спал на полу и на нее ночью никакого внимания не обращал. Днем был внимателен и заботлив, а к ночи супровел.

Не выдержала однажды Милочка, заплакала. Федя тут же вскрикнул, — видно, не спал.

— Не реви! И без тебя тошно!

Милочка поняла, что Федя не спит ночами из-за нее, мается. Наверное, боится обидеть. Вот глупый! Милочка мигом сбросила рубашку и юркнула к нему, вся в слезах и смеясь.

Федя отпрянул, как ошпаренный. Издалека сказал сдавленным голосом:

— Не подходи и слушай. Иначе уйду.

Он объяснил, что любит и уважает Милочку, но пусть она не будет дурой и не испытывает его волю. Он, да будет ей известно, против всяких предрассудков. Он за полную свободу отношений. Но для всех, кроме себя. Во-первых, есть дела поважней, и преступно в такие дни устраивать личное счастье. Отвлекаться. Во-вторых, чтоб никто не смел подумать, что он ратует за свободу отношений ради себя, в погоне за удовольствиями. Будто хочет первым этой свободой воспользоваться. Так вот, не первым, а последним! Это принцип.

— Я никому не скажу. Вот тебе крест! — Милочка поняла, что он боится, как бы не проявили... Но ведь и она тоже хочет, чтоб никто не узнал, принимает тысячи предосторожностей, впуская его в дом и выпуская.

Федя застонал:

— Но я буду знать! Как ты от меня скроешь?

С этими словами он вышел на кухоньку и выпил себе кружку воды на голову.

— Придется от тебя уйти. Это невыносимо, — сказал он из-за двери.

Милочка плакала в темноте.

И еще узнал Аристид Аристидович, что с Федей беседовал Авердян. Низенький, кругленький, в светло-сером костюме, под широкой серой шляпой, Авердян был похож на гриб из мультипликационного фильма. Во время перерыва он шел через двор мельницы и увидел Федю, сидящего с четырьмя рабочими на ящиках. Федя торопливо ел огурцы с хлебом, — видно, был голден. Рабочие, заметив хозяина, встали. Федя, покосившись уголком глаза, продолжал сидеть.

— Здравствуй, Федя, — сказал Авердян.

Федя промычал что-то, не поднимая головы.

— Я хочу с тобой поговорить, — сказал Авердян.

— Говорите при них, — ответил Федя.

Авердян пожал плечами и отошел. Федя пошептался с рабочими, встал и догнал Авердяна.

— Я слушаю, — сказал он сухо.

— Что я тебе плохого сделал? — спросил Авердян. — Ты меня считаешь врагом.

— Не вас лично...

— И за то спасибо. Вот что, Федя. Я давно знаю твоего папу. И тебя — с тех пор, как ты сисю сосал. Я вижу, ты честный и упорный юноша. Мне плевать, что ты сидел в тюрьме. Будешь у меня работать?

Федя помолчал, наступившись.

— Разве ты не должен зарабатывать себе кусок хлеба, как все люди? Разве это помешает твоим убеждениям?

— Дальше. — Брови у Феди были сдвинуты, но он начал улыбаться.

— Мне нужен делопроизводитель. Жалованье твердое. Будешь сыт, одет, и еще останется.

— Так, — сказал Федя. — Премного благодарен. Я согласен. Но только грузчиком. Если грузчиком — пойду.

— Вай-вай, зачем такой цирк? Ты же не грузчик, посмотри, какая у тебя спина. Голова из нее все соки высосала. Твоя работа — головой. Каждому свое, Федя.

— Как хотите. Я сказал.

— Ага! Ясно как Божий день. Ты боишься быть сы-

тым, боишься, что рабочие тебе не поверят. Но если пойдешь в грузчики, они помрут со смеху. Рабочие не любят фокусы-покусы.

— Значит, вы не согласны. Нет так нет.

— Интересный ты юноша, просто интересный! Можешь ты мне объяснить, чего ты хочешь? Чтоб меня рабочие повесили? Хорошо, я буду висеть с высунутым языком. Ты отдашь мельнице рабочим. Если они будут управлять, они не будут работать. Если будут работать, кто-то другой будет управлять. Зачем же ты меня вешал?

Этот вопрос произвел впечатление на самого Авердяна. Образ виселицы задел его за живое, потому следующие фразы он произнес обиженно:

— За то, что плачу рабочим как положено? За то, что помогаю бедным армянам, покупаю одежонку их ребятишкам? За то, что кормлю даром на Успение две сотни человек? За то, что бесплатно провел электричество в церковь? За то, что у меня долги в банке на десять лет вперед?

— Господин Авердян, не делайте из меня дурака. И не тяните за язык. Чтобы понять грозу, как вы догадываетесь, надо изучить электричество. Так чтобы понять развитие общества, надо изучить социальные науки. Надо много книжек прочитать, господин Авердян. Истина существует независимо от меня. Узнайте истину и оставьте меня в покое. Честь имею! — Федя с преувеличением почтением откланялся и отошел.

Говорят, что Авердян приобрел кое-какую социально-экономическую литературу, но прочитать не успел.

Он был самым богатым человеком в Лиманске. Кроме электростанции и мельницы он владел пятьюдесятью гектарами виноградников и тремя домами. Получив наследство наравне с братьями, он один умножил его. Ему уже стукнуло пятьдесят, а детей не было. Братья — что братья? Вертопрахи и моты. Потому богатство ради богатства не очень-то занимало Авердяна. Он увлекся благотворительностью, пожелал стать самым уважаемым и любимым в городе. Отцом Лиманска. Он любил, когда к нему обращались за помощью. Частные лица, общественность и местные румынские власти. Обратись к нему Федя за средствами, он бы наверняка дал. Снис-

кать любовь революционеров — это же чрезвычайно лестно. К тому же он верил, что ласка укротит и самого что ни есть сердитого.

У него был автомобиль, но в последнее время он ходил исключительно пешком. Увы! Не ради того, чтобы быть доступней лиманцам. У него обострился жестокий геморрой, и врачи советовали как можно больше ходить. Не помогло. Бабки поили его настоем стальника, захарки сжигали его окровавленные исподники и развеивали пепел по ветру... Дней через десять после описанного разговора он поехал в Вену, к какой-то мировой знаменитости по этой части. Знаменитость оплещала. Авердян умер на операционном столе, и тело не успели доставить в Лиманск: Бессарабия как раз отошла к Советскому Союзу. Жена Авердяна потеряла в несколько дней и мужа и все имущество. Она уехала в Бухарест, бросив недвижимость. А наличных капиталов у покойного почти не оказалось...

Деятельность Феди была окутана глубокой тайной. Как потом выяснилось, он намеревался в урочный день вывесить красные флаги в крепости, на башне электростанции и на пожарной вышке, чтобы их увидели с того берега. Одновременно — митинг перед примарией, где первую речь сказал бы Федя. К тому времени распространенный румынский гарнизон присоединится к митингующим. Перед штыками солдат полиция с жандармерией и пикнуть не посмеют. Восставший Лиманск послужит примером для остальных городов и сел. Даст толчок. Даже если погибнет. Лучше погибнуть, чем покориться надвигающемуся фашизму. Но скорей всего братья с того берега не допустят падения Лиманской республики.

Федя знал характер лиманцев, они недоверчивы, норовят увиливать от решений и выжидать. Он знал, что их надо поставить перед фактом. Когда их тычешь в факты носом, они делают правильный выбор. Значит, первое дело — заручиться поддержкой гарнизона. Румынские солдаты — поголовно крестьянские парни, с ними найдется общий язык. Они на собственной шкуре испытали нищету и никогда не станут стрелять в тех, кто за бедных, против богатых. А офицеры...

Тут навстречу Феде — неожиданная удача. Ему до-

кладывают, что локотенент — то есть лейтенант — Ион Георгиу — свой человек. Читал Маркса, убежденный интернационалист. Солдаты — редкий случай — любят его и уважают. Его помощь невероятно ускорила бы дело.

Федя думал. Открыть карты офицеру — риск колossalный. Придется лично встретиться с Ионом Георгиу и прощупать его, прежде чем... Но как проверить его стойкость? Единственный скорый способ — рассердить. Тогда выяснится, что для него идея — романтический налет или дело жизни.

Итак, Федя отправился на ссору. Офицер должен был ждать его в крепости на вершине полуразрушенной башни в воскресенье в девять вечера. Федя знал, что в десять у лейтенанта свидание с барышней, но был беспощаден и подошел к условленному месту без четверти десять. Он наткнулся на Иона Георгиу у подножия башни. И, не подумав извиниться за опоздание, сразу набросился:

— Почему ты здесь, внизу?

— Что? — смешался тот. — Я не умею лазить ночью.

Федя чиркнул спичкой и осветил Иона Георгиу. Затянутый в талии молодой офицер, прямые сапоги в обтяжку, блестят. Лицо без особых примет. Тонкие усики над крупным ртом. Большие, удивленные глаза.

— Придется лезть, — сказал Федя, бросив спичку, и ловко стал взбираться по разрушенной стене, цепляясь за камни. — Где ты там?

Георгиу тяжело дышал в темноте и шаркал по камням. Значит, все-таки лез. Федя стоял на вершине башни. Справа — огни Лиманска, слева, на том берегу, — тоже огоньки. И одно небо над ними. Странная, лживая картина. На самом деле между этими и теми огоньками пролегает граница резко противоположных миров. Здесь тьма, там свет. Здесь прошлое, там будущее. Федя мысленно накладывал карту на окрестность, карту, где сталкивались два цвета — черное и красное.

Минут через пять на башне появился Ион Георгиу. Наверно, был еле жив, но держался.

— Товарищ Георгиу, — начал Федя в лоб, — готов ли ты на опасный шаг ради общего дела?

— Я готов, — тихо ответил Георгиу.

— А почему ты так легко соглашаешься? Ты даже не знаешь, о чем речь.

— Так я ж вам верю. Я давно ищу кого-нибудь из вас...

— Кому нужна слепая вера? Это в вашей армии учат не рассуждать.

— Товарищ Константин (так назывался ему Федя), я не знаю, почему вы сердитесь. Я один, а у вас организация. Я хочу подчиниться организации, чтобы правильно действовать.

— Значит, ты заранее согласен на опасное поручение?

— Так точно.

— И не откажешься от него через десять минут?

— Никак нет! — четко и весело ответил Георгиу. В этих «десяти минутах» ему почудилась легкая улыбка, смягчение тона.

— А скажи, пожалуйста, как согласуются твои убеждения с королевскими погонами? С этой дрянью? — Федя стукнул тыльной стороной ладони по правому плечу офицера.

Георгиу вздрогнул от неожиданности.

— Я не думал, что вас смутит моя форма. Вы же знали...

— Брось. Ты вырядился и блеск навел на сапоги, потому что спешишь на свидание...

— Я не спешу, товарищ Константин! У меня к вам много вопросов, особенно по теории...

Но прервать Федю не удалось.

— От тебя одеколоном пахнет! Ты не хотел лезть на башню, чтоб не замараться...

— Я полез, товарищ Константин!

— Ты так легко на все соглашаешься, чтоб сократить разговор, тебя фифочка ждет!

— Кто? Как вы сказали?

— Фифочка.

— Товарищ Константин, что с вами? Она честная девушка!

— Честная девушка! Если ты марксист, ты должен знать, что честь — понятие классовое. Твоя Маргариточка — мелкобуржуазная девица. Ее папочка держит зубной кабинет и дерет за каждый зуб. Все ее наряды — от зубов! У нее губа не дура, она не станет гулять с рабочими, ей подай офицерика. Ведь ты же офицерик, дорогой кавалер!

— Прекратите, это не ваше дело! Прекратите сейчас же или я...

— Или что?

— Или я уйду!

— К фифе?

Георгиу, дрожа, повернулся и стал нащупывать ногами спуск. Он хотел быстрее, но не получалось. Он засопел, колотя ногой по стене. Камень с грохотом покатился в темноту.

— Помочь? — спросил Федя серьезно и устало.

Георгиу не отвечал. Когда он почти добрался до подножия башни, Федя наклонился и спросил:

— А как же поручение?

— Идите к черту!

— Ну вот. Не прошло и десяти минут...

Георгиу сорвался и шумно соскользнул наземь. Стало тихо. Георгиу не двигался.

Федя быстро спустился к нему.

— Ты что?

— Я думаю, — в его голосе слышались слезы. Он медленно приподнялся и стал отряхиваться. — Вы мне устроили проверку. Это дурацкая проверка.

Федя помолчал и сказал грустно:

— Пусть. Мне очень жаль. Но на тебя положиться нельзя. У тебя нет выдержки.

— Вы ошибаетесь.

— Я не могу рисковать. Прощай. Постарайся, когда пройдет час, быть с нами, — и Федя протянул руку Иону Георгиу.

Хотя лиманская молодежь воспринимала классовую борьбу как-то отвлеченно, теоретически, то есть без живой ненависти, которая требовалась Феде, ему кое-что удалось. Его интернациональная проповедь сразу нашла прямой отклик. Я уже говорил, что наша молодежь с легкой руки Ремуса безбожно запуталась в национальном вопросе. А у Феди ларчик просто открывался. Лиманск — не румынский, не русский, не армянский, не болгарский — и т. д. То есть ничей? То есть — социалистический! Важен ты, твой труд, твой ум, а не кровь твоей бабушки! Братству трудящихся безразлично, кто ты по крови, как безразлично, белобрыс ты, чернав или лыс, как колено! Заборы, ограды, межи, рубежи, демаркационные линии, кордоны, границы — все это

придумано собственниками. В будущем свободном мире не будет границ, как нет их внутри Союза Советских Республик, где дружно живут сто народов!

И вдруг все провалилось. Федю предупредили о предстоящем аресте. Сесть за решетку, да еще в такое время? Ни за что на свете! И Федя скрылся. Четыре дня о нем не было ни слуху ни духу.

На пятую ночь рыбак Грицько, молодой смешливый хохол, загнал свою лодку в камыши неподалеку от Лиманска и через плавни, в обход, вернулся домой.

За полночь Федя стал пробираться к условленному месту. Его задержала какая-то возня, шум и перекличка среди пограничных постов. Он был вынужден притаиться в камышах, по пояс в воде. Шли часы, шум не прекращался, вспыхивал свет, визжали и тявкали собаки. То тут, то там в слепом небе урчали моторы. Что-то потрескивало — то ли далекий гром, то ли тоже моторы. Федя, измаявшись, почти отчаялся, когда возня стала стихать. Он осторожно начал пробираться к лодке. Долго ее не находил. На востоке медленно проступала розовая полоска. Федя подумал, что вот теперь картина правильная — свет идет с востока, за спиной густая тьма. Но подумал с горечью: ночь проходит, срывается весь его план. Надо спешить, скорей!

Федя наткнулся на что-то твердое, оступился и громко шлепнулся в воду. Он чуть не задохнулся от досады — сейчас поднимется переполох и его схватят! Он замер, всмотрелся в то темное и длинное, на которое наткнулся. Лодка! Ну где наша не пропадала, будь что будет! Федя подтянулся, залез в лодку и лежа стал отталкиваться веслом. Камыш зашуршал. Шуршал противно и — как казалось Феде — оглушительно. Но он уже махнул рукой на все — полоска рассвета алеет и ширится. Надо немедля выплывать. Лодка вышла из плавней и легко заскользила по открытой воде, лиман плескался тихо, будто вздыхал. Федя почувствовал озноб удачи. Тревога не поднялась. Он сел, вскинул оба весла, бесшумно погрузил их в воду и откинулся. Он греб быстро и глухо, как в немом кино. С каждым взмахом увеличивались его шансы на успех. Уходящий берег был темен и мертв. Будто не было свирепой границы старого мира. Федя не сводил глаз с черного удаляющегося берега, грозящего окриком и вспышкой выстрела.

Прошло минут двадцать. Федино сердце колотилось — не так от спешки, как от наплывающего ликования. Ускользнул! Стояла такая невозмутимая тишина, что ни о каких сторожевых катерах не могло быть и речи. Через считанные минуты он пересечет границу. Странно, нелепо, забавно — он и не заметил этой воображаемой линии посередине лимана. Ею пренебрегают все — волны, рыбы, птицы, облака, солнце, но человека карают смертью за прикосновение к ней. А ее-то на самом деле нету. Отважься, пощупай — нет, и баста! Федя разогнал лодку, поднял весла и обернулся к восточному берегу.

И оторопел.

В розовой предутренней дымке по воде на него шла бесконечная цепь темных предметов. От ужаса он выронил весла, в глазах зарябило.

Что это? Неужели на самой границе стоят цепью румынские катера? Бред какой-то! Федя глядел, глазам своим не веря.

Цепь судов молча приближалась. Высоко в небе залетали самолеты. Был миг, когда Федя почувствовал себя ничтожной песчинкой под огромным небом между далекими берегами. Как во сне, все четче обозначались понтоны, амфибии... И вдруг Федя ясно услышал звонкую русскую речь:

- Товарищ командир! Впереди лодка!
- Гляди, лодка!
- Рыбак, наверное.
- Черта с два рыбак! Руки вверх!

Федя, качаясь, встал во весь рост и высоко поднял руки. Он плакал. Стоял и, всхлипывая, плакал, обессиленный, опустошенный вспышкой немыслимой радости. И жмурился — солнце всходило.

...Федя вернулся в Лиманск утром 28 июня 1940 года вместе с частями Красной Армии. Он, пожалуй, последним из лиманцев узнал, что границы уже нет — за ночь она распахнулась — и теперь от Лиманска на восток — никаких границ, вплоть до Тихого океана.

Но зато Федя был первым лиманцем, встретившим первых красноармейцев при первых лучах солнца.

Москва шагает

*В сороковом было лето. А осень — едва ли,
А снега и морозы — не помню такого...
Утром июньским бойцов целовали,
Может быть, только за русское слово.*

Лето сорокового года началось тревожно. Немцы вошли в Париж, а англичане отчалили к своему острову, побросав все вооружение в Дюнкерке.

В Лиманске с осени прошлого года появились польские беженцы. Они рассказывали про немцев страшные вести, не успокаивались, не забывали с течением времени, а напротив — припоминали все более ужасные подробности, будто бои в их стране не кончились в две недели, а разгорались. Лиманцам казалось, что беженцы переувеличивают.

В Лиманске сияло солнце, дул ветерок, первые пляжники старательно загорали. На базаре появились черешни и вишни. Ждали огурцов. Приятно было обманывать себя, что война выдохлась: Гитлер наелся досыта, проглотил пол-Европы. Куда же больше? Сто лет будет переваривать, если не лопнет...

В середине июня долгожданный «форд» наконец прибыл. Медленно, попыхивая, выехал новый автомобиль на улицу Карола Второго, бывшую Александровскую, повернул направо, к самой крепости, и вернулся по Михай Витязу, бывшей Николаевской. На площади он остановился, попятился задом, дернулся вперед, описал два круга, трижды погудел и опять свернул на бывшую Александровскую.

За рулем сидел шофер Ганс при галстуке, а сзади, едва умешаясь на сиденье, — нотариус Стельян Коврига. Весь город от мала до велика уже знал, что нотариус опять выписал себе автомобиль — на сей раз фордовский, американский.

Коврига больше всего на свете любил автомобили, хоть сам и не водил. Он ежегодно менял их, охладевая к прежним моделям, как только появлялась новая.

— А где же старая? — спрашивали.

— Я с ней развелся! — неизменно шутил он.

Коврига был холост и тучен, жил в семи комнатах и частенько закатывал балы. Выпить был не дурак и в картишки сыграть не прочь. Охотно посмеиваясь над своей неимоверной тучностью, не раз демонстрировал

фокус: садился в кресло и на огромном пузе, как на столе, устанавливал чашечку кофе с блюдцем и рюмку коньяку.

Хохотал заразительно. Однажды он прямо-таки слег со смеху из-за отца.

Был день рождения Ковриги, вернее — не день, а дни, потому что гуляли уже третий сутки. Под утро хмельные гости разбрелись по комнатам, отец уснул на диване рядом с посапывающим начальником почты. Через час его разбудили:

— Алеша, что ж ты Лизу оставил одну? К ней прокурор пристает.

Отец вскочил, с трудом напялил брюки и ринулся в бой. Прокурор только-только получил пощечину от перепуганной мамы. Он несказанно обрадовался отцу, но, догадавшись, что на него сердятся, стал так горячо и ловко оправдываться, что даже мама улыбнулась. Он называл маму богиней, говорил о своем платоническом восторге и наконец горестно воскликнул:

— Я пьян, господа...

— Кто бы мог подумать, что в прокуроре сидит такой адвокат! — сказал отец, оставшись вдвоем с мамой.

Было уже не до сна. Подробно обсудили инцидент, выпили кофе, вдруг мама заметила:

— Отелло, на тебе брюки как-то странно сидят!

Отец недоуменно пощупал брюки и хлопнул себя по лбу: он второпях поверх своих надел чужие!

Но больше смеялись над самим Ковригой в тот памятный день, когда он опробовал седьмую машину.

Выехали за город, испытали все ухабы сельских дорог, потом газанули прямо через поле, наискосок.

— Ай да машина! — восклицали гости. Хозяин таял.

Поле пересекала железная дорога.

— Вперед, Ганс! — скомандовал Коврига.

Машина въехала на насыпь, коснулась рельсов и заглохла. Ганс и так и эдак пробовал — ни тпру ни ну! В это время показался поезд. Все шарахнулись врасыпную из машины и в ста шагах от нее ждали, что будет. Коврига глухо стонал.

Паровоз с разгона съездил машину по носу, она тут же повернулась задом, потом передом — и так три раза... Поезд умчался.

Ганс первый забрался в машину и заорал:

— Мотор жив!

Помятая машина с вывернутыми колесами вразвалку, как утка, сползла с насыпи.

Что было делать? Опять расселись и скорбно двинулись в обратный путь. Машина продвигалась через силу, переваливаясь с боку на бок и постреливая. Целые села выбегали поглязеть на это чудо техники. Пыльные, укачавшиеся пассажиры не оглядывались по сторонам. Багровый Коврига героически сносил позор и, говорят, худел на глазах.

Но он отыгрался. Через два месяца появился тот самый «форд» с прямоугольным верхом и широкими подножками — последний крик тогдашней моды. Коврига опять нагрузил его пассажирами и нанял цыган-музыкантов. Они разместились на подножках и на крыше. Велено было играть. И музыканты старались — скрипки, флейты и барабан сотрясали небо.

Вот с таким оркестром машина, ликуя, проехала по всем тем селам, перед которыми позорился Коврига. Он время от времени высовывал из окна руку и нашлепывал на лоб тому или иному музыканту монету в сто лей. Те отвечали еще большим рвением. Собаки всех окрестных сел сходили с ума, куры взлетали выше труб, а утки пытались утопиться в пруду. Народ валил со всех сторон: разнесся слух, что едет король, сам Карол II из Бухареста. Подвыпивший пономарь ударил в колокола, поп выбежал сонный, на ходу оправляя рясу...

— Вот! — хохотал Коврига. — Запомните, больше такого никогда не увидите!

Но народ обступил машину, остановил ее и стал осаждать Ковригу жалобами, просьбами и требованиями. Музыканты сбились и замолкли.

Коврига потом рассказывал, что в тот миг ему помешались вилы, косы и топоры. Однако недаром мать его в рубашке родила! Он величественным жестом потребовал тишины и возгласил басом:

— Слушайте, имеющие уши! Король едет за нами! Он сейчас проезжает Пырлицу! Готовьте хлеб-соль, сушки дети!

Воспользовавшись замешательством, Ганс вывел машину из толпы и уже без музыки погнал ее к городу.

В эти дни румынские пограничники получили секретное указание усилить наблюдение за границей. Кор

левские войска стягивались к Днестру. Однако жизнь в городе шла по-прежнему. Власти были на местах, управленические колесики крутились, как заведено, иногда заедали и требовали смазки, как положено.

А через голову Лиманска — между Москвой и Бухарестом — состоялся короткий и энергичный диалог...

Днем и ночью на советском берегу в глубокой тайне готовились к переходу через Днестр. На всякий случай была объявлена готовность № 1, десятки расчехленных орудийных стволов были уже нацелены в сторону Лиманска.

Румынским властям было невдомек, что на том берегу сформированы другие власти, функции распределены, печати заготовлены, даже вывески: «Лиманский горисполком», «Лиманский горпищеторг», «Горотдел НКВД» и другие — заказаны. Редакция газеты «Лиманская правда» уже готовила первый номер. Одесская типография печатала листовки, воззвания и плакаты. Сотни портретов Сталина складывались в аккуратные пачки по десять килограммов. Несколько памятников вождей были приготовлены к переправе.

До глубокой ночи на том берегу новые власти изучали карту Лиманска, расположение учреждений и предприятий, списки лиц, на которых можно положиться, и списки лиц, от которых следовало избавиться...

Не знал адвокат Ивановский, что его выступление в защиту нескольких татарбунарских повстанцев пятнадцать лет назад теперь сыграло свою роль — на том берегу лимана его фамилия отмечена красным карандашом: «Тов. Ивановский И. Б. — председатель временного Лиманского исполнительного комитета».

Адвокат Ивановский в то время, полежав полчаса после обеда, выпил кофе по-турецки и отправился по делам в примарию. С портфелем на коленях, он дожидался приема как раз перед теми дверьми, за которыми через несколько дней будет восседать сам — первый советский мэр города...

Аристид Аристидович помнил, как двадцать два года назад бессарабцы по примеру Петрограда тоже увлеклись революцией и свободой.

Румынский король внезапно ввел свои войска в утратившую равновесие Бессарабию. Конечно, он клялся, что не станет вмешиваться в дела этого края и что немедленно уйдет, как только упрочится порядок.

Порядок же означал возвращение к старому — с той разницей, что на место царского жандарма заступал королевский. А так как возвращение к старому требует постоянных и немалых усилий — вроде как держать доску под водой, — то войска и королевская администрация готовы были прилагать эти усилия бессрочно.

Приятно было румынскому королю (как и всякому королю) расширить свои владения, но еще приятней было бы заполучить Бессарабию без самих бессарабцев, ибо население этой неблагонадежной провинции успело вкусить свободы, а вкус свободы, как известно, ничем не вышибить. Бессарабцы распространяли заразу по всему королевству, протестовали, агитировали, то есть никак не понимали тех благ, которые им сулил королевский порядок. К началу тридцатых годов удалось утихомирить их. Многие смекнули, что капитализм, хоть и проклятый, все же более сытный, чем тощий социализм на том берегу. Власти удовлетворились наступившим спокойствием: они тоже подвержены иллюзиям и охотно толкуют молчание как знак согласия. Тем более что к середине тридцатых годов и большевики умерили тон — даже пошли на восстановление дипломатических отношений с королевской Румынией.

Вначале падение большевиков ожидалось со дня на день, потом с году на год... К сороковому году уже не ожидалось вовсе...

В Европе бушевала война. Сталин решил, что настал удобный момент, и поставил ребром бессарабский вопрос. Это был ультиматум.

Король и так и этак прикинул и понял, что ждать помощи неоткуда. Французское посольство изучает немецкий язык, английское разводит руками, а немецкое почему-то советует уступить...

Аристид Аристидович (не без влияния Феди) нашел для себя успокоительное объяснение поступкам Москвы: она защищает мир и свои идеалы перед новой империалистической войной. Если эту формулу повторять как заклинание, то получается просто и ясно. Иначе ум за разум зайдет. Иначе как понять новый раздел Польши, войну с Финляндией, события в Прибалтике? Только стремлением спасти все, что можно, пока фашисты туда не сунулись. Да. Но почему ультиматум, предъявленный Румынией, составлен так странно? Почему Молотов ни с того ни с сего утверждает, что Бессара-

бия населена преимущественно украинцами? И вообще — разве интернационалистам важно, кем заселена?

Откуда было знать Аристиду Аристидовичу, что еще в августе прошлого года Москва с Берлином договорились о сферах влияния в Восточной Европе и заодно предрешили судьбу Бессарабии! Да и само понятие Бессарабия будет упразднено: красный карандаш Иосифа Виссарионовича перекроит границы Украины и Молдавии таким образом, чтобы они не напоминали ни о чем бывшем когда-либо прежде...

Многое не знал Аристид Аристидович, но он нутром безошибочно чувствовал: судьба его самого, его близких, судьба родного края решается, где угодно, только не здесь, — самих бессарабцев никто никогда не спрашивает.

Король попробовал было сочинить длинное послание: пока его в Москве прочтут да пока разберутся, может, какая лазейка и откроется.

Но Москва не стала читать, Москва желала услышать, да или нет, ровно до такого-то часа, секунда в секунду.

Часы стучали.

В Лиманске наступил вечер. В парке играла полковая музыка, в «Континентале» пела Розита, в кинотографе «Одеон» Чарли Чаплин выступал чечетку, в клубе стучали бильярдные шары.

Никто в Лиманске не прислушивался к часам, но они — стучали.

В Бухаресте кабинет министров лихорадило. Ораторы перебивали друг друга, кричали, требовали, но даже самые воинственные то и дело поглядывали на часы. Не отстают ли, не спешат ли? Который час точно?

Карманные, ручные, стенные — все тикали на разные голоса и не в лад. В речах само собой открылась пауза. Сверялись часы.

Уже было ясно, что придется выговорить да. И это слово начало выговариваться — с великим трудом, будто самое длинное и замысловатое на свете. Оно билось в стиснутых зубах и выворачивало скулы. Обнаружилось, что правительство во главе с королем мучительно заикается. Но пока челюсти дробно выступали «Дддд...» — отзывались отбойным молотком телеграфные аппараты, дрожь прошла по радиоволнам, и от этого сотрясения карточным домиком стало сыпаться много-

ярусное королевское господство между Прутом и Днестром.

Проблема чемоданов разразилась во всей своей потрясающей остроте. В чемоданы не вмешались особняки и виноградники, магазины и сады. В чемоданы не вмешалась красная мебель, монументальные вазы и верстовые ковры. Мелкие вещи — и те издевательски раздулись, разбухли и, топорщась, не укладывались, не набивались, не втискивались. Крышки чемоданов выстреливали и отскакивали, извергая взбесившееся добро.

Румынский летчик Мирча Пуркару, квартирант тети Розы, в полночь бегом вернулся домой, кинулся собирать пожитки. Мирча был совсем еще юноша, маленький юркий крепыш. Весельчак и задавака, он сейчас был туча тучей. Торопливыми, точными движениями он хватал и складывал свои вещи.

Тетя Роза стояла и смотрела, опустив руки вдоль платья.

— Болваны! — вырвалось у Мирчи. — Струсили! Какой позор на весь мир! Надо было дать отпор! У них фанерные танки, всем известно! Финны их чуть не побили, а мы в десять раз сильнее финнов!.. Черт знает что такое!

Тетя Роза молчала. Мирча коленом прижал чемодан и защелкнул замки. Мимо окон прошла песня. Молодые голосазывающие горланили «Очи черные».

Мирча цепким взглядом впился в темное окно.

— Вот как! Корми-корми волка, а он все в лес смотрит! Так вы нас провожаете? — горечь искреннего возмущения прозвучала в его словах. Он оглянулся на тетю Розу.

Она... улыбалась, склонив голову набок. Невольная, слишком откровенная улыбка играла на ее лице. Почти блудливая. Как тогда, когда Леля убивалась в поисках туфли, а тетя Роза прекрасно знала, что она ее не найдет...

— Что вы сказали? — вскрикнул Мирча.

Тетя Роза пожала плечами, все еще улыбаясь.

Мирча схватил чемодан и, не попрощавшись, хлопнул дверью.

— Мы еще вернемся! — Стекла звякнули, посыпались замазка.

Отец бреется, щедро намыливая кисточкой щеки. Собирается в клуб. Радиоприемник «Минерва» лопочет что-то по-болгарски. Вдруг замечаю, что отец с бритвой на весу смотрит на аппарат, будто из него должна вылететь птичка.

Он громко зовет маму:

— Лиза, скорей! София только что передала, что завтра здесь будут русские. Румынам дано три дня на выезд. София врать не станет.

Я потрясен. Завтра здесь будет Россия! Россия, которую я никогда не видел, но знаю по Пушкину, Гоголю, Шаляпину. Причудливый вихрь взбудораживал мое воображение: солдаты Суворова, сани-тройки, «у самовара я и моя Маша», казаки в папахах... Почему-то почудилось, что завтра будет зима, яркий белый день и над снегами встанут березы России и ели сказочной высоты. И воздух, которым нельзя надышаться. А крикнешь — все четыре стороны света отзовутся эхом...

— Да? — всплеснула руками мама. — А когда пойдем встречать? А какое мне платье надеть?

Меня покоробило, что мама приняла это чудо, это небывалое событие как нечто само собой разумеющееся, будничное.

Я не сообразил в тот миг, что мать и отец родились, когда здесь была Россия, и она, Россия, была им привычной. Возвращение к знакомому с детства казалось им возвращением в само прошлое. Они не понимали, что той знакомой им России давно уже нет и быть не может...

За полночь Ганс подкатил «форд» к нашему дому. С рекордной быстротой Коврига преодолел ступеньки крыльца, коридор и ввалился в столовую. Он был неузнаваем. Глаза, как при пожаре, искали товарища по беде.

Отец и Коврига были добрыми приятелями. Никогда между ними не пробегала кошка. В картах ли, в деловых отношениях любая напряженность снималась шуткой. Оба чурались политики, — казалось, они полностью свободны от нее. Рассорить их было немыслимо.

Комната, где все вещи на местах, потрясла Ковригу и ужаснула, как улыбка сонного младенца при кораблекрушении. Но, встретившись глазами с отцом, он понял,

что здесь все знают и... не собираются бежать. Отец встал и молча предложил стул. Коврига задыхался, не мог вымолвить ни слова.

Между двумя приятелями пролегла государственная граница. Переговариваться через границу было нелегко. За несколько секунд молчания выяснилось, что они, сами того не ведая, просто играли роль приятелей в какой-то дурацкой комедии. Игра прервана резким ударом, и каждый — сам по себе...

Прозрение тяготило. Коврига отстранил предложенный стул.

— Я спешу, — с трудом выговорил он.

— Я тебя провожу, — сказал отец.

Они вышли. Минуты через две «форд» рванул с места и умчался в ночь.

Я трепетно ждал открытия России. Я собрался не спать до утра, но предательский сон умыкал меня. Ночь была неподвижно длинной. Свет горел в гостиной, взрослые приходили и уходили, по улице мчались машины, тарахтели подводы; песни, ругань... Я просыпался, вскакивал:

— Уже Россия?

Еще нет. За окнами темно. Свет в гостиной. Шорох разговора. Суeta на улице.

Ах, какая она медленная, последняя румынская ночь! Я с мальчишеской жестокостью как бы откинул все румынское, даже те песни, сказки и книги, которые успел полюбить. Я гнал прочь, торопил эту ночь.

Да здравствует перемена! Перемена — прежде всего!

Может быть, только за русское слово...

Не знали большевики на том берегу лимана, что ходит здесь в линялой шали, допотопной шляпке и стоптанных туфлях их горячая сторонница — Аня.

Сестры Мержановы — Аня и Соня — старые девы, к тому же глухие. Аня — худенькая, говорит быстро и невнятно. Запоем читает книжки, втихомолку пишет революционные стихи и отважно называет себя якобинкой. Она глуха ко всему дурному, что говорят о большевиках, она твердо знает — они за бедных, против бога-

тых и попов, в них чисто и свято пламеет дух раннего христианства с его идеалами равенства и простоты: если у тебя две рубашки, одну отдавай ближнему.

— Они погубили Россию, царя расстреляли! — кричат ей.

— Что? Я и говорю: они миротворцы и заступники обездоленных.

— Они безбожники! — и тычут пальцем в небо. — Безбожники!

— Бога нет. Но Христос был. Он первый большевик.

У Ани своя легенда о Христе. Твердит, что это открытие Ренана, но у того, кажется, нет ничего подобного. В общем, будто бы Христос был гениальным самозванцем. Он откликнулся на всеобщее ожидание Сына Божьего, на острую жажду учителя. Христос совсем не в пустыне провел долгие годы, а в Тибете, где учился силе внушения, власти над своим телом и волей, над волей и сердцем толпы. Вроде гипноза по-нынешнему. Потому-то, когда он явился народу как проповедник, ему ничего не стоило совершать чудеса: шагать по воде, кормить пятью хлебами пять тысяч голодных, исцелять словом и т. п. Он пользовался своим чудодейством не для себя. Раз уж так вышло, что разумом нельзя стронуть с места человечество, надо зажечь его верой, ибо вера способна двигать горами.

Поэтому всякими фокусами-чудесами он приобщал толпы к идее равенства и братства, идее спасительной и неотразимой, которой суждено было завоевать Римскую империю.

Дело шло на лад. Обновленная религия восходила, как солнце. И, как водится, у новой веры объявились враги — приверженцы старой. Иисус этому втайне радовался, ибо понимал, что учение надо скрепить кровью — собственной кровью. Иначе оно не вечно. Свой замысел он открыл Иуде, лучшему другу и единомышленнику. Иуда согласился — он принес самую страшную жертву, сыграл роль презренного предателя. За тридцать сребренников... А распятый Христос, наученный йогами временной смерти, благополучно умер на три дня, воскрес и... удалился навсегда. Он тоже принес немыслимую жертву — сошел со сцены, вычеркнул себя, как лишнюю строку после прекрасного финала. Он отрекся от себя, от своего имени, и никому не известно, сколько еще прожил и где окончил дни. Он

жил немым свидетелем своей славы, бесправным, безликом странником. И когда его учение стало извращаться теми или иными учениками, когда появились различные толкования — и все от его имени, — он скрепя сердце молчал, не имея права выдавать себя, свой ум. Верил ли он, что его учение в конечном счете преобразует мир и человека? И с каким чувством умирал неизвестный старик: с гордостью? горечью? усмешкой?..

Да, христианство, возникнув на дальней окраине, вскоре победило первую державу мира — Римскую империю. Но в этой победе таилось поражение. Империя в последний момент изловчилась и, якобы сдаваясь, приняла Христово учение, но лишь для того, чтобы спокойно остаться империей. Она коварно сменила одежды, смекнула, что лучший способ обернуть себе на пользу религию угнетенных — это сделать ее державной религией, потому христианство ныне — величайший тысячелетний обман. Потому идея равенства и братства возродилась на наших глазах уже без театральных чудес и фокусов, без Бога и — против Бога. Потому Аня так полюбила эту идею.

Как-то Аристид Аристидович попытался ей возвратить (разумеется, письменно), что коммунисты, прия к власти, так же извратили свое учение, как христиане — свое, но Аня, гордо вскинувшись, брезгливо вернула ему записку:

— Порвите сами эту гадость на мелкие кусочки. Правду нельзя извратить!

Соня — та поплотней и себе на уме. Соня мастерица раскладывать пасьянсы. «Аня придуривается, не видит, что мы никому не нужны, так было — так будет». Соня обзывает свою сестрицу идеалисткой и оригиналкой. «Вот зашли мы вчера к Марусе, она дала нам бульон с курочкой, и мусака, и курабье, и кофе с каймаком, а Аня все болтала, болтала и голодная ушла...»

Мама как-то послала меня отнести им угощение — пирожки с кабаком, то есть с тыквой. Во дворике, полузаросшем бурьяном, меня сразу заметили их собачки — колченогие, с красными слезящимися глазами. Эти собачки давно разучились лаять и скулить, они просто кидались к ногам глухих старушек, — это был знак, что идут гости (на улице собачки дергали поводки, если Аню и Соню кто-нибудь окликнул).

Я подошел к раскрытым дверям приземистого доми-

ка, но старушки не обратили внимания на сигналы собачек. Старушки быстро-быстро жестикулировали, что-то бормоча друг другу в лицо...

И вдруг я понял — они ссорились. Невозможность изъясняться доводила их до исступления. Аня метнулась к комоду, взяла лист бумаги и, присев к столу, стала писать, захлебываясь. Тогда Соня выдрала страницу из тетради и тоже застручила карандашом. Резко обменялись посланиями; Аня читала, — раскрыв глаза и рот от удивления, Соня — поджав губы и презрительно сощурившись. Немедля схватились за карандаши — писать ответы. Им было не до меня.

Я тихо ушел, положив на подоконник веранды пирожки с кабаком. С тех пор мне не раз видится, как в полной тишине две непримиримые противницы заваливают стол нотами и ультиматумами, ломают карандаши и не разумеют друг друга...

Июньским утром сорокового года Аня восторженно толкалась со своей собачонкой среди красноармейцев, высаживающихся на берегу лимана. У нее был красный бантик, пришпиленный у сердца. Ей поздно сказали, она не успела испечь гостинцев, потому взяла с собой мешочек орехов и совала их в руки бойцов. Ей подарили вырезанный из газеты портрет Сталина (она так и не расслышала, кто он такой), а молодой боец дал целую горсть новеньких копеек.

Увидев золотистый блеск монет, Аня страшно смущалась — она полагала, что в революционной России уже нет денег... Но тут же заговорила, как бы извиняясь за свое минутное замешательство:

— Красивые, со звездочкой... О! «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вот правильно, — чтоб человек не о деньгах думал, а о революции! У вас, товарищи, никто из-за золота не убивается?

— Нет! — боец рассмеялся. Аня просияла от счастья.

Она трогала красные звезды на пилотках, задавала тысячи вопросов, ей что-то отвечали, кричали на ухо, она плакала и от радости и от огорчения, что плохо слышит настоящую русскую речь. Она старалась угадывать по губам, но мешали волнение и слезы. Собачка совсем ошалела. Ей отдавили лапку, но Аня упоенно тащила ее за собой то вправо, то влево. Она хотела пригласить какого-нибудь солдатика к себе постояльцем, но то ли никак не могла выбрать, то ли бойцам не

разрешали... Помню, как она схватила за рукав ладного, статного бойца, выше ее на две головы, и все повторяла «товарищ», не могла насытиться этим необыкновенным словом:

— Товарищ, товарищ, какой вы счастливый, у вас равенство, воля, какой вы молодой, товарищ...

— А вы не волнуйтесь, бабуся. Полный порядок!

— Что? Что, товарищ? Я что-то плохо слышу. Я писала про вас стихами. Сейчас вспомню. Минутку, минутку... Я не могу вспомнить. Идите, товарищ, идите дальше, не останавливайтесь. Впереди столько нищих, обездоленных, темных...

Ее оттеснили, она растерянно взяла на руки собачонку.

— Что у тебя с лапкой? Брось! Смотри, как все рады, как рады...

В последний раз увидел я ее лет через пятнадцать. С ней была собачонка — колченогая, с красными глазами. Наверное, другая, похожая, — не могут же собачки так долго жить!

— Как ты вырос, Стасик! Какой молодец-удалец! Ты стал большевиком?

— Большевиков уже давно нет. Есть члены КПСС.

Она не расслышала, она поняла по-своему и обрадовалась:

— Правильно, правильно. Одним хорошим человеком у нас будет больше. А то теперь такое время, когда и мерзавцам выгодно называть себя советскими. Соня всю жизнь была дурочкой. Когда русские отступили, она говорила: «Вот видишь? Ничего у твоих большевиков не вышло». А я хранила те копейки со звездочкой, которые подарил мне молодой большевик в первый день. Я ей, дуре стоеросовой, долбила: «Они вернутся, вспомни Кутузова!» Но что она смыслит в истории — вся в пасьянсы ушла! Тяжело было, ох, как тяжело! А как наши вернулись, тут уж я ей сказала: «Вот видишь!» А она — она меркантильная! — говорит: «Что тебе от твоих большевиков перепало? Ты, Аня, пела: «Кто был ничем, тот станет всем», а кем ты была, тем и осталась — бедна, как церковная мышь!» Объясни ты ей, Стасенька, что я ничего для себя и не просила, я за людей, за людей рада — уже ползели с большевиками. Что я? Мы не служили, нам и пенсии не полагается, это правильно. А что не совсем хорошо — тоже

правда! — так все из-за тех антихристов, что опять войну готовят. Я теперь за мир пишу стихами. Как-нибудь принесу почитать. Только не сердись, что с твердыми знаками, — никак их не переборю. Букву «ять» давно не пишу, справилась, а вот «еры» сами выскакивают, на кончиках закручиваются...

...старых дев, чтобы не было вдов...

Мама выглянула в окошко и ахнула:

— Опять идет эта кукла!

Стамбулова получила благородное воспитание и была преисполнена достоинства. Она медленными шажками двигалась по тротуару и никому не уступала дорогу. Перед встречными останавливалась, глядя немигающими глазами. Ждала, чтоб ее обошли. Она входила в дом, важно кивала, здоровалась, плотно усаживалась у стола и молчала. Ее полагалось развлекать. После кратких сведений о здоровье она доставала из сумки какие-то жалкие тряпки, безделушки и предлагала матери купить их. Мама отказывалась. Говорить больше было не о чем. Но Стамбулова невозмутимо восседала на стуле, и маме ясно было, что без обеда она с места не стронется.

Стамбулова ела не торопясь, предварительно спросив маму, мыла ли она овощи кипяченой водой, свежее ли мясо и у кого куплено.

Я досадовал, что мама не глядя отвергала все Олимпиадины товары. Вещи были совершенно бесполезные, следовательно, очень для меня интересные: несколько крупных разрозненных бусинок, жестяная банка с обезьянками и пальмами из-под кофе «Мокко», перочинный нож с поломанным лезвием, рамка, изъеденная древоточцем, медная оправа для очков...

Я не вытерпел и спросил:

— А нет ли у вас старинных монет?

Олимпиада не донесла ложку до рта, медленно перевела глаза на меня и значительно проговорила:

— Есть. Очень ценная.

Я загорелся. Я заставил маму отправиться со мной к ней. Мама не стала заходить в Олимпиадину каморку — мы присели на скамейке у калитки. Стамбулова вышла с мотком старых чулок в руках. Она томительно

долго и неуклюже развертывала их, пока, наконец, появился серебряный рубль Николая II. Я замер от воссторга. Это была моя мечта. Я протянул руку и тут же отдернул ее — по профилю самодержца полз рыжий клоп.

— Ах, эти противные букашки! — сказала Стамбулова и большим пальцем смахнула зверя.

— Пойдем, — сказала мне мама.

— Нет, — сказал я. — Купим. Я тебя очень прошу, мамочка!

Но Стамбулова заломила сказочную цену и искренне обиделась, когда ей об этом сказали. Николай II опять завернулся в чулок.

— Она ничего не понимает в ценах! — сказала мама, когда мы ушли.

Да, Стамбулова когда-то была молода и знала себе цену. Она ходила по городскому парку в длинном белом платье, с белым зонтиком, и, говорят, один гимназист из-за нее бросился в лиман, а какой-то поручик спился. Рассказывают еще, что некий генерал имел на нее виды, но, как на грех, случилась революция и того генерала след простыл... А уж после генерала не полюбишь поручика! Олимпиада была надменна и недоступна, как царевна, и глупа, как пробка. Впрочем, об этом тогда было мудрено догадаться, потому что она была красива и умела таинственно молчать.

Мама ее не выносила, а мне она казалась смешной и жалкой.

Помню, с какой стойческой гордыней продвигалась она, как памятник, к дому, не оборачиваясь, когда ее закидывали снежками мальчишки. Ее спина коротко вздрагивала от ударов, белые губы были втянуты, а из удивленных совиных глаз выкатывались слезы... А когда по улице, роняя пену, мчалась бешеная собака и люди бросались врассыпную, Стамбулова — единственная — застыла среди тротуара, как пень, отвернувшись от собаки и выставив за спиной свой старый зонт. Отец выскоцил из ворот с охотничьим ружьем и бахахнул из обоих стволов.

Стамбулова посмотрела на убитого пса, потом на отца и вздохнула:

— Ой, почему так громко?

Летом сорокового года она пришла к отцу. Развернула на столе потертый на сгибах гербовый лист самого

царского двора, где говорилось, что мещанка Стамбулова Олимпиада Евстафьевна внесла 20 рублей золотом в заем, объявленный в помощь раненым воинам, за что ей от имени императрицы высочайшая благодарность.

— Теперь они должны мне вернуть. Я хранила — знала, что русские придут. Будьте любезны, объясните, куда обратиться.

Отец помедлил и решил ответить напрямик:

— Эта бумага теперь ничего не стоит!

— Почему вы так говорите? Сама императрица...

— Между царем и большевиками нет ничего общего. Пора знать.

— Почему вы так говорите? Императрица...

— Господи! Большевики расстреляли императрицу!

— Что вы такое говорите? Как не стыдно! — опешила Стамбулова.

— Увы! Так и сделали: бах-бах! Ту самую. Наложницу Распутина...

По-видимому, «наложницу» отец ввернул зря. Стамбулова вдруг картино подняла голову и дрожащим голосом произнесла:

— Я, сударь, не была ничьей наложницей. Тем более — императрица!

Братья Столянские были глухие и одинокие, но до чего же милые старички! Высокие, сутуловатые, лысые, неописуемо вежливые и застенчивые. Говорили, вытягивая губы трубочкой, будто у них зубов не было. Жили в доме из трех комнат возле лимана, но спали в кухоньке, потому что комнаты были превращены в музей и мастерскую. Чего там только не было! Чучела птиц и животных, которые водятся в Бужаке, скелеты ископаемых, амфоры и всевозможная древняя утварь, черепа, стрелы, ожерелья, монеты и даже ядра...

Особенно любовно был выделан аист. Он стоял как живой, распластав крылья, и держал в клюве гроздь винограда.

— Аист — чудесная птица! — сказал однажды старший Столянский, взяв меня за плечи.

Я с высоты своих десяти лет огорчился, полагая, что услышу вновь известную сказку про то, как аисты приносят детей. Но под мягкую, слегка шамкающую речь перед моими глазами возникло нечто иное. Оказывает-

ся, когда крепость была осаждена татарами, в ней начался голод. Враги, не сумевшие штурмом взять крепость, расположились лагерем и ждали, пока голод сделает свое дело. Но молдаван спасли аисты. У них были гнезда на всех крепостных башнях. Умные птицы стали приносить гроздья винограда людям, приютившим их...

Я вспомнил об этом, когда лет через двадцать в крепости расположилась киногруппа для съемок. Крепость становилась популярной — ее будили от векового сна и вызывали на сценическую площадку. Но не для того, чтобы она сыграла самое себя, — крепостью пользовались для любых исторических и трагических сюжетов, кроме ее собственных.

Так вот, режиссеру понадобился аист для какого-то кадра. Изловили аиста и привезли в наскоро сколоченной клетке из планок. Согнув свою тонкую шею в низком ящике, аист покорно ждал своей очереди предстать перед камерой. Ждать пришлось долго. Не раз бегали к режиссеру с жалобами, что аист не ест и не пьет.

— Ничего, пусть проголодается как следует...

Но аист так и помер, не притронувшись к пище и воде. Узнав об этом, Аристид Аристидович чертыхался:

— Ой, дураки, бисовы дети! Так он же не мог есть и пить. Ему надо голову закидывать! Ему надо в небо глядеть, когда пьет. Это ж не свинья, а птица аист.

Да, создали аисту условия, вычитали у Брема, что он особенно любит, а позабыли про мелочь — ему надо в небо глядеть.

Помню, как Столянские сокрушались: отливают из металла разных орлов, ставят им памятники, на монетах чеканят, а ведь аисту больше к лицу такая честь: птица умная, мирная, домовитая и храбрая...

— Птичий донкихот! — пошутивал Аристид Аристидович.

— Так мне хочется сделать аиста из серебра! — вздыхал старший Столянский. — Но куда там!

В мастерской Столянских толпились скульптуры, вылепленные из глины или выдолбленные из дерева, гипсовые барельефы на местные исторические и бытовые темы. Братья делали чучела на заказ, продавали и скульптуры, но неохотно, только для пропитания. Остальное время отдавали своему музею, где тесно сплелись история, этнография и искусство.

Они панически боялись сановных лиц и начальников,

робко и извинительно замыкались перед взрослыми, зато с удовольствием объясняли ребятишкам, как, и что, и откуда.

С одним только Аристидом Аристидовичем водили дружбу — у них было немало общих привязанностей, с той разницей, что Аристид Аристидович окунался в прошлое, чтобы разгадать настоящее и будущее, окунался, как в прорубь, чтоб вынырнуть бодрым и свежим, а братья Столянские застыли, повернувшись лицом к прошлому, и не хотели оборачиваться.

Я застал их как-то втроем, они рассматривали небольшой череп. Видно, было уже много высказано, они молчали, глядя на него, тем полным смысла молчанием, которое связывает понимающих. Старший Столянский взял меня за плечи, усадил.

— Видишь, это молодая молдаванка. Мы ее нашли после оползня в овраге. Ее не хоронили, судя по положению и по вещичкам при ней. Да там и нет захоронений. Вот ломаем голову — что с ней случилось?

— Когда... случилось? — спросил я испуганно.

— При Штефане Великом. Наверно, после того, как турки взяли крепость, — ответил Аристид Аристидович.

— Какие у нее зубы! Замечательные зубы, ни изъяна, ни пятнышка. Думаю, она красивая была, — качал головой старший Столянский.

Череп меня пугал. Какая уж тут красота! Угадав мое состояние, младший Столянский сказал, улыбаясь:

— Положу у изголовья, засну — она мне приснится, какой была. И я ее выплю. Тогда увидишь...

Во время войны старики Столянские исчезли. Я пришел к их домику и нашел только стены, пустые, как безглазый череп. Кто растащил их сокровища? Никто не знал. Я выпытывал у известных в мальчишеском мире проныр, пройдох и продувных бестий. Многие признались, что сразу после исчезновения хозяев заглянули в их дом, но божились и клялись, что ничего там не было, кроме никчемного барахла и нескольких ядер. Потом туда ухнула бомба...

И вот осенью сорок пятого года старики Столянские, когда никто уж их не ждал, тихо вернулись из эвакуации. Совсем были плохи. Тощие, в обносках. От них я узнал, что перед уходом они все свое добро зарыли в укромном месте. Вот только дом восстановят — и отроют...

Они взялись за работу, и действительно через год по кирпичику, по бревнышку, как два старых аиста, сложили заново свое разоренное гнездо. И как-то тихо и незаметно померли в голодную зиму сорок шестого... Аисты спасли бы старичков, но аистов не было — война их разметала.

Так и по сей день неизвестно, где музей Столянских. Благо хоть он тут, в этой земле, и кто-нибудь удачливый на него наткнется рано или поздно.

И еще одну загадку я не разгадал. Дошел до меня слух, что кто-то из Столянских в молодости был влюблен в тетю Розу. Любовь была тайной и безнадежной — кто пойдет за глухого? И еще потому любовь была напрасной, что Роза никак не откликнулась на самые древние находки, самые редкие чучела и самую искусную лепку. А ей отдали бы все, лишь бы она пожелала. Она не пожелала. Роза, способная уловить шорох за версту, обнаружила врожденную глухоту к истории и пренебрежение к времени. Но безответная любовь живучая. Молва твердила, что кто-то из Столянских всю жизнь ее боготворил, придавал ее черты своим изваяниям. Но молва постарела и путала — указывала то на старшего, то на младшего... А может быть, оба любили ее?

Тетя Роза ничего про это не знает, не узнает своих черт в глиняных формах тех статуэток, которые породили молву. Да и статуэток, собственно, уже нет...

Федя, Свобода и Милочка

В сороковом было лето...

Счастливый и смущенный стоял Федя на берегу лимана среди праздничной суматошной толчей. Каждый красноармеец немедленно обрастал встречающими, словно намагниченный. Объятия, поцелуи, восклицания... Федя обмяк и оглох, как от крутого подъема на головокружительную высоту. Солнце сияло слишком ярко, синева неба, зелень акаций и сквозная голубизна береговой воды ослепляли глаза. Все зыбилось, рябило, как от резкого перехода из тьмы кромешной в радужный свет. Федино счастье было столь внезапным и непомерным, что казалось галлюцинацией. Над толпой заструи-

лось ярко-красное знамя. Федя зажмурил глаза и тряхнул головой. «Вот незадача! Не хватает еще грохнуться в обморок! Совсем раскис!» — подумал он, покачнувшись и не замечая, что его в самом деле толкают, постепенно оттесняя в сторонку. Ведь так получилось, что он как бы путался под ногами, не будучи ни встречающим, ни прибывающим. И тем и другим было не до него. Возможно, он так и остался бы незамеченным, если б не Милочка. Она Бог весть как сумела его разглядеть и бросилась ему на шею с воплем:

— Феденька! Федя-а!

Милочка открыто и бурно осыпала его поцелуями (все целуются!), взяла в ладони его голову.

— Где ты пропадал? Я уж думала...

Федя опомнился. Живые Милочкины губы вернули ему ощущение того, что все вокруг настоящая правда, явь — и никаких гвоздей. Он улыбнулся.

— Да погоди ты... — До него дошло, что надо действовать, как того требует исторический момент. И немедленно. — Погоди, — повторил он. — Дай сообразить.

— Феденька! Теперь ты будешь большим человеком. Твоя взяла!.. Боже, где ты так вымазался?

Федя увидел, что к нему пробивается отец. Видно, услышал Милочкин вопль.

— Так, — сказал Федя. — Отец идет.

Милочка коротко оглянулась и зашептала:

— Федь, приходи вечерком.

— Зачем?

— Затем, — и юркнула в толпу.

Отец шел к нему, протянув руки, как слепой. Федя выглядел странновато. Озаренное лицо, жеваная рубаха, заляпанные брюки и ботинки. Еще не обсох после тех плавней. Федя смотрел на отца, не двигаясь. Ноги не шли. Федя провел ладонью по глазам. Он решил обняться с отцом, и ему стало тепло и легко. Но Аристид Аристидович неправильно истолковал его жест и то, что он не шагнул навстречу. Да, Федя не любит нежностей, может опять обидеться. И опустил дрожащие руки. Просто подошел и сказал:

— Здравствуй, сын.

— Здравствуй, — ответил Федя и заморгал. Может, оттого, что его ослепил белоснежный костюм отца. Может, оттого, что объятие не состоялось. Но оно все-таки пробивалось за каждым словом.

— Я рад тебя видеть.
— Я тоже.
— Вот и кончен наш спор, Федя.
— Да, отец.
— Можно пригласить тебя домой? — осмелился Аристид Аристидович, стараясь придать своему голосу шутливо-торжественный тон.

— Можно, — улыбнулся Федя. — Только не сейчас. У меня уйма дел, голова кругом идет. Я одурел от радости. Правда.

— Когда тебя ждать?

— Зачем ждать? Приду. Сегодня приду. — Он протянул руку отцу и быстро стал подниматься по склону.

Дорогой Федя лихорадочно обдумывал сиюминутный план. Пружинистая жажда деятельности возвращалась к нему. Во-первых, надо немедленно помочь установлению новой власти. Экспроприировать богачей, раздать всем поровну сады и виноградники... Нет, не с этого начинать! Сперва взять в свои руки вокзал, почту. Открыть тюрьму. Закрыть церковь... Нет, собрать митинг перед примарией... Нет, скорей в банк, на склады, чтоб никто не успел увезти награбленное!.. Нет, все-таки первым долгом открыть ворота тюрьмы... Нет, собрать сначала верных людей и распределить обязанности... Голова раскалывается, с ума сойти — и только! Ах, черт, возьми, я же не один устанавливаю власть рабочих и крестьян. Что это я так размечтался? Мне поручат конкретное дело... Нет, ждать нельзя, и так опоздал! С чего же начать?

Аристид Аристидович мучился. Он успел пригласить к себе русского командира, когда услышал Милочкин вопль: «Федя-а!» А теперь не знал, как быть. Возвращение Феди, примирение с ним меняли все дело. Старику хотелось в первый день побывать с глазу на глаз с сыном. Поговорить по душам. Впервые в жизни Аристид Аристидович совершил позорный поступок — он не вернулся к русскому командиру. Воровато выбрался из толпы и, не оглядываясь, улизнул домой. Казалось ему, что и усы покраснели от стыда.

Аристид Аристидович хлопотал. Наводил порядок в доме, соображал ужин для Феди. Он хватался то за одно, то за другое, — куда подевалась его всегдашняя

четкость? Но и неудивительно — день-то выдался из ряда вон выходящий. Вдобавок ему и мешали. То и дело врывались соседи или знакомые — им позарез нужно было узнать, что думает Аристид Аристидович о Сталине, о диктатуре пролетариата, о цене рубля по отношению к лею, о значении таких кабалистических слов, как комбат, помкомвзвода, эмтээс или осоавиахим... Поминутно извиняясь и отбиваясь от них, Аристид Аристидович вышел из дома и поспешил к дяде Мите раздобыть чего-нибудь вкусненького. И винца.

Ресторанчик дяди Мити шумел, как улей. Сам дядя Митя бросался от столика к столику, будто спасал утопающих. Он торговал по сниженным ценам, а с красноармейцев вообще денег не брал. Однако те смеялись и, уходя, оставляли смятые рубли на столике. Дядя Митя принимал рубли и леи. Говорили, что рубль стоит сорок лей. Дядя Митя диву давался — русские явно переплачивали, бросали рубли, не считая. Неужели правда, что они презирают деньги и вскорости их отменят?

Он понятия не имел, что так называемый курс рубля, введенный советами, был принудительным. Все приезжие, как по мановению волшебной палочки, разбогатели — вот в чем был секрет их безоглядной щедрости.

Аристид Аристидович с трудом пробился к стойке и, улучив момент, крепко поймал дядю Митю за фалды.

— Митя, бутылочку мускату. Знаешь, того самого...

— Дядя Митя, мне только бутылочку мускату! — услышал Аристид Аристидович заискивающий голосок. Это была Милочка, взволнованная, сияющая, в ситцевом платье в горошинку, с красным бантиком на груди. Она впилась в дядю Митю, никого не видя.

Аристид Аристидович наклонился к ее щечу:

— Добрый день, красавица. Твой муженек вернулся?

Милочка ойкнула.

— Как вы меня напугали! Разве можно так — в самое ухо!

Аристид Аристидович тихо прошмыгнулся в свой дом и запер дверь изнутри. Меня, мол, дома нет. И взялся за дело. Между прочим он переставил и книги — пусть не гневается Федя, что чистые с нечистыми вперемежку...

Смеркалось. Стол был накрыт. Аристид Аристидович достал старый граммофон, завел его, установил толстую пластинку с «Эй, ухнем...», подул на нее. Осталось только запустить... Ба! Придется зажечь свет, иначе Федя подумает, что его действительно нет дома.

На свет, как мотылек, тут же прилетел Афоня — сосед через дорогу. Он единственным духом выложил все новости: как был митинг на площади, как провозгласили, что теперь все равны и свободны и — кто не работает, тот не ест, как потом пели песню со словами: «Весь мир насилия мы разрушим до основанья...» И еще, между прочим, ваш сын Федя хотел выступить, а ему сказали: пойди переоденься!.. Он был, кажется, простите меня, немного выпимши. Конечно, на радостях...

А Федя шел по темнеющей улице задумчиво, не торопясь. У него свистело в ушах от этого вихрем промчавшегося дня. Именно вихрем. Будто машина времени рванула его вперед на два десятилетия. Вчера еще он был дореволюционным подпольщиком, а сегодня окунулся в волну двадцать третьего года революции. Вот об этом он никогда всерьез не думал. Ему почему-то казалось, что он хоть и в сжатые сроки, но пройдет все ступени, все этапы революции, от вооруженного восстания до первого кирпича в фундаменте социализма. А вышло так, будто он сразу попал на вторую серию фильма и теперь усилием воображения мучительно пытается восстановить пробел и одновременно понять то, что происходит перед глазами. В нем совершилась напряженная внутренняя работа, может быть, даже ломка, потому, когда его окликнули, он вздрогнул и решил, что бредит: к нему бежал румынский офицер в полной форме.

— Господи, какое счастье, что я вас нашел, товарищ Константин!

Перед Федей стоял запыхавшийся Ион Георгиу.

— Понимаете, я не знаю, что делать. Это ужасно! Меня три дня назад послали на Днестр... Когда узнал, что произошло, я вырвался оттуда и вот... Марго не хочет никуда ехать, я решаю остаться, мне говорят, что румынские офицеры должны в течение трех дней покинуть Бессарабию, а ее отец плачет, что меня русские посадят как шпиона и их тоже за компанию... Товарищ

Константин, помогите мне оостаться! Вы же знаете...

Федя взял Иона Георгиу под руку и направился к крепости. На них оглядывались. Больно уж нелепо выглядела эта пара при свете фонарей — подтянутый румынский офицер и вихрастый, чумазый парень в мятой одежде и грязных ботинках. Двое красноармейцев, шедших по мостовой, — может быть, патруль, — обменялись мнениями:

- Никак расстаться не могут!
- Чего здесь только не увидишь!

А Федя говорил серьезно и твердо:

— По-моему, тебе надо уезжать... Постой, выслушай сначала. Я тебе вполне верю. Но там ты будешь нужней. Понимаешь? Здесь достаточно сил. Здесь и без тебя обойдутся. А там каждый наш человек — на вес золота.

- Но я люблю Марго! Мы любим друг друга!

— Будет ребенок? — серьезно спросил Федя.

— О нет! Она честная девушка. Мы собирались пожениться... О Боже, как мне жаль, что не успели!

— Товарищ Георгиу, личные дела потом. Не отвлекайся. Пойми, что Румыния предстоит то же самое. Там обязательно победят коммунисты. Сейчас, после потери Бессарабии, в румынском правительстве разразится кризис. Весь ихний строй затрешил по швам! Недолго ждать — вы встретитесь и поженитесь...

В конце улицы загрохотало. Взлетели занавески, из окон выглянули любопытные и встревоженные лица. Калитки захлопали, ребята с визгом понеслись навстречу танкам.

Мостовая дрожала. Тяжелые танки шли с открытыми люками. Им конца не было видно.

Федя зачарованно смотрел на эти темные громады. Ион Георгиу снял фуражку и китель, чтобы не бросаться в глаза. К тому же вечер был теплый. Оба молчали, пережидая.

— Видел ли ты когда-нибудь подобные машины? — крикнул Федя, глядя вслед последнему танку.

— Нет. У нас нет танковых войск. Но, товарищ Константин...

— Меня зовут Федор. И говори мне «ты». Я тебя понимаю. Так вот. Я это беру на себя. Ни один волос с ее головы не упадет. Я буду помогать ей, пока ты не вернешься. Но только там не зевай. Считай, что это мое

тебе революционное поручение. Рассказывай правду о коммунистах, о завтрашнем дне всех трудящихся, товарищ Георгиу.

— Товарищ Федор, сегодня решается моя судьба. Я буду откровенен. Я тоже думаю, что сейчас в Бухаресте будет кризис. И король полетит к чертям. Но ведь может так случиться... А что, если вместо всего этого... Я говорю, что, если будет война?

— Война? — Федя помолчал. — Да, война. Сейчас перед Гитлером нет никого, кроме Советского Союза. Да. Но если в ближайшее время в Румынии и на Балканах победят коммунисты, то Гитлеру придется туда. Кроме того, ты думаешь, оккупированные французы, чехи, поляки будут терпеть? Германский пролетариат, ты думаешь, долго будет молчать? Так что война, помяни мое слово, будет короткой... Ты видел, какая мощь у Красной Армии?

Прощание было душераздирающим. Марго ревела, как по мертвому. И он, закрыв глаза, все гладил и гладил ее по голове. Федя, не ожидавший такого взрыва чувств, взял с полки наугад две книги, машинально перелистал. Они любовно были надписаны Ионом Георгиу Маргарите. Одна — иллюстрированное издание легенды про мастера Маноле, зодчего, который замуровал жену в стене строящегося храма. Федя хмуро разглядывал рисунок, где склоненный мастер Маноле, потупив глаза, обкладывал камнями бедра молодой женщины. Она смеялась, думала, что это шутка... Другая книга — стихи Эминеску. Перелистывая, Федя заметил, что одно четверостишие подчеркнуто:

Мы не знали, где бродили.
И когда взошла заря,
Мы о многом говорили,
Ничего не говоря.

Федя захлопнул книгу. Маргаритин отец, зубной врач Иванченко, плотно закрыл ставни — незачем всей улице знать, что дочь не может оторваться от румынского офицера.

Как она сквозь слезы глядела на Иона! Никто в жизни на Федю так не глядел. Ему захотелось уйти. Зачем он, устроивший это прощание, еще торчит здесь?

Все сказано, растолковано... И прощаться бы им надо побыстрее. Лишняя нервотрепка. Поцелуй только расправляют душу... Федя щемяще вспомнил, что его самого тоже целовали сегодня утром. Конечно, не так, но все-таки... Хотя он, собственно, ни разу ее не поцеловал...

Маргаритин отец никак не ожидал быть свидетелем такой любовной сцены. Тревожная догадка терзала его. Неужели, не дай Бог, у них так далеко зашло?.. Какое там неужели? Ясно как Божий день.

Он поманил Федю пальцем,— дескать, тут посторонним делать нечего.

Они вместе прошли в зубоврачебный кабинет, похожий на уютную камеру пыток. Иванченко был суеверен и растерян. Здесь, в сверкающем кабинете, Федя выглядел босяком и бродягой. Но как раз это делало его в глазах дантиста грозным представителем новой власти.

— Да вы присядьте. Вот кресло...— сказал он Феде.
— Нет уж. У меня зубы здоровые.

— Пардон... Я хочу поговорить с вами, как мужчина с мужчиной. Мы остаемся, я не могу бросить свой кабинет. А он уезжает. Вы уверяете, что он еще вернется, вы утешаете. Но если она забеременела? Может быть, лучше сделать ей аборт?

Федя почувствовал омерзение. Он поглядел на хобот бормашины, на блестящие инструменты за стеклом.

— Теперь, значит, вы будете драть русские зубы?
— Что?— смеялся Иванченко.

А Федя, засунув руки в карманы, глянул поверх его головы. И увидел на стене красочный портрет короля.

— Подходящее место,— сказал он, ухмыляясь.— Слушать стоны больных... А ну, дайте его сюда!

Иванченко съежился и окончательно сдрейфил:

— Пожалуйста. Мне он совершенно не нужен. Я и забыл про него.— Он подкатил к стене винтовой стул с круглым сиденьем, взобрался на него, покачиваясь, и торопливо снял портрет.

— Клещи!— приказал Федя, как врач во время операции.

Дантист мигом подал блестящий инструмент, напоминающий клещи. Федя ловко вытащил гвоздочки, отбросил задник портрета и извлек Карола II из-под стекла.

— Порвите, — сказал Федя. — Мне руки морить не хочется.

Иванченко с готовностью рванул короля пополам.

— Прелестно. А теперь слушайте: если Маргарита беременна и не родит, с вас будет спрос. Честь имею!

Федя вышел из зубоврачебного кабинета прямо на улицу. Теплое звездное небо стояло над головой. Где-то пели. Федя почувствовал, как он устал. Ночь без сна и такой день... Отец, верно, давно его ждет. Только сначала он на минутку заглянет к Милочке, она звала его, — может, у нее какое затруднение...

По дороге он старался вспомнить, почему мастер Маноле замуровал свою жену. Кажется, было ему видение: без такой жертвы храм не достроить. И мастера поклялись — чья жена первая придет поутру, та и будет замурована. Стояли мастера на недостроенной стене, и каждый молился, чтоб его подруга опоздала. Первой пришла жена Маноле. Она торопилась принести ему завтрак. Маноле просил и ветер и дождь остановить ее, задержать. Но она пришла первой с тем несчастным завтраком... Она все смеялась и смеялась, пока не дошли камни до ее груди. Тогда она сказала, что ей больно, что камни давят молодую грудь...

«Странная легенда, — подумал Федя. — Но она народная. Что хотел ею сказать народ? Конец-то понятен: воевода погубил мастера Маноле, чтоб тот не построил в иных местах лучшего храма. Воевода осуждается — это ясно. Но к чему вся первая половина? Хотел ли народ сказать, что без жертв ничего не построишь? Или, наоборот, что жертва была напрасной? Надо будет перечитать. Да, предстоит учиться и учиться...»

*...и взлет, и расплата,
и горькая кровь,
и стыдная сладость,
и слабость, и скорбь...*

Милочка шумно обрадовалась Феде. Ее миловидное курносое лицо по-детски сияло. Какая-то она новая. Волосы, обычно стянутые в узел, распущены и падают ниже плеч. От них несет одеколоном. Руки оголены, платье с красным бантиком туга перехвачено пояском. А на столе — закуски, салфетки, бутылка вина.

— Что ты так вырядилась? Ждешь кого? — спросил он.

— Тебя, Феденька, — игриво улыбнулась она.

— Ну вот. Я к тебе на минутку. Я устал.

Тут Милочка заметила, что он и вправду какой-то печальный, не только усталый. А она ждала его веселого, ликующего.

— Что-нибудь случилось?

— Да как тебе сказать... — Федя сел на стул, Милочка — подле него. Она ловила каждое его слово. — Я, значит, хотел ночью перебраться на ту сторону. Ну и... — Федя развел руками и виновато улыбнулся. — Ну и вернулся вместе с ними... то есть с нашими. Как-то непривычно еще говорить — наши. Страшновато. Какое у меня право на это? Я ничего не успел сделать, прямо скажем — не заслужил. Так вот. Весь день я носился, как угорелый, хотел им... хотел нашим чем-нибудь помочь. Но, понимаешь, Милочка, у наших все великолепно организовано. Пока я туда-сюда, все ключевые позиции города взяты под контроль. Все четко налажено, продумано... Олух я этакий, радоваться надо, а мне немножко досадно, что не сумел пригодиться. Я так ждал этого дня! Знаешь, я даже газету хотел выпустить, а она, оказывается, уже вышла... Когда только успели ее набрать — ума не приложу...

— Только и всего, Феденька? — всплеснула руками Милочка. — Вот глупости! Завтра же они тебя позовут. Еще спасибо скажут. Ты ж за них в тюрьме сидел, бедненький мой, молоденький... Федя, давай я тебя выкуплю, накормлю и спать уложу. Завтра будешь свеженький, как огурчик, красивый.

Федя оторопело глянул на Милочку.

— Ты боишься, Феденька? — Милочка вскочила, обвила его руками, плеснула в лицо волной волос, душно пахнущих одеколоном, и горячо шепнула на ухо: — Теперь ведь можно, Феденька. Можно.

Федя хотел сказать что-то, но горло сдавило, стало жарко и зябко. Он будто целый век стоял, упираясь, в быстром потоке и вдруг с облегчением сорвался и поплыл, поплыл. Он прижал к себе Милочку, изумляясь ее телу, стал искать ее губы, глаза, шею. Милочка выскользнула.

— Подожди, дурачок, — выключила свет и зашуршила платьем. — Сейчас, — шепнула она и тут же оказа-

лась в Фединых руках.— Ой, да разденься ты, ой, Федя, Федька, перестань! Разденься, говорю!

Но Федя неловко упал с ней на пол. Он прижался горячей щекой к ее груди, ощутил ладонью ее дышащий живот, вдруг как-то дернулся и замер. Потом вскочил на ноги.

— Что, Феденька?— спросила она.

Федя молчал, тяжело дыша.

— Ну что с тобой?

— Я пойду,— глухо сказал Федя из темноты. Унизительное чувство стыда навалилось на него всей своей тяжестью.

Милочка поняла. Поднялась. А он, услышав ее движения, всполошился:

— Не зажигай свет, пока не уйду!

— Никуда ты не уйдешь.— Она в темноте поймала его, стиснула.— Ты будешь меня слушаться. Это бывает. Это чепуха. Дать тебе вина?

— Дай.

— Сперва сядь и сиди послушно. Дурачок ты мой родной.

Федя обреченно опустился на стул. Милочка дала ему в руки стакан.

— Постой. Вместе.— Она остановила его руку.

Чокнулись в темноте. Федя выпил с трудом — горло перехватывало.

— Теперь давай поужинаем,— сказала она.

— Не хочу... Ты говоришь — это бывает?

— Конечно. Я уже забыла. Давай-ка я тебя выкуплю. Вода еще горячая. Таз есть...

— Я сам. Только не зажигай свет.

— Я только спину...

— Я сам, говорю.

Через час свежевыкупанный Федя получил от Милочки мужнико белье и лег в кровать. Пока Милочка минут десять хлопотала на кухне, он уснул. Как провалился.

Среди ночи ему приснилось восстание. Он первым вскакивал на баррикаду, а она оказывалась пустой. Он бежал дальше и нигде никого не находил. Потом хватился, что он вообще один в опустелом городе. Куда-то все подевались. Он, видно, отстал, его забыли предупре-

дить. Свистел ветер, хлопая открытыми дверьми и окнами. Потом он увидел Иона Георгиу — тот строил стену, делая вид, что не замечает Маргариту, которая сидела рядом на камне. Федя почему-то возмутился:

— Ты ж поклялся ее замуровать! Не увиливай!

Ион Георгиу испуганно обернулся, схватил Маргариту за руку и потащил к стене. Она засмеялась и сказала Феде:

— А про лодку ты забыл? Забыл?

Федя опрометью бросился искать лодку. С бьющимся сердцем он ее нашел и вытолкнул из камышей. И сразу яркое солнце ударило в глаза — на корме сидела Милочка в чем мать родила.

— Что ты здесь делаешь? Как не стыдно!

— Теперь можно, Феденька, — улыбнулась она и скользнула к нему.

...Федя полупроснулся в объятиях Милочки. В жаркой темноте он чувствовал ее всю и чуть не плакал от радости. В полусне все получилось легко и просто. Как невиданное открытие. Великое и простое. Открытие, над которым бьешься-бьешься, а оно вдруг приходит в полуслне — свеженькое, готовенькое. Решенное без всяких усилий. Без головы.

— Ну вот и здорово, — засмеялась Милочка. — Просто здорово! А ты — уйду!..

Она целовала его. Федя плыл куда-то, воздушный, легкий. Он чувствовал, что любит Милочку. Любит ее радостное, отзывчивое тело. Особенно грудь. Он почему-то никогда не представлял себе, какая у Милочки трогательная грудь (он сказал это, и она переспросила, смеясь: «Трогательная — чтоб трогать?»). Теперь он удивлялся ей, как нечаянной находке...

А он-то думал, что это — сложно. Темно и хищно, как обман или воровство. Вчера еще это казалось идейным предательством. И падением для замужней женщины. А Милочка делает это с таким веселым удовольствием, что все сложности как рукой сняло. Феде казалось, что все противоречия разрешились, что утром он встанет новым человеком, умудренным и переполненным поющей силой. Первый день свободы... Он сегодня стал свободным гражданином. И мужчиной. Он улыбался, засыпая, слегка стесняясь своей слабости.

Аристид Аристидович ждал Федю далеко за полночь. Под утро он забылся, сидя у окна. Так и заснул одетым на стуле, он, не выносящий никакой расхлябанности.

и скорбь...

У тети Розы на квартире остановились два молодых лейтенанта. Тетя Роза стирала им портянки и готовила картошку в мундире. Они же ей раздобыли валенки — редкость по тому времени. Правда, валенки ей не пригодились — зимой у нас большей частью сырьо, — но тетя Роза обменяла их на шерстяные варежки и была чрезвычайно довольна.

Один из лейтенантов — Игорь, начитанный и серьезный, комсомолец, пристально поглядывал на тетю Розу, как бы разгадывая некую проблему. Наконец спросил:

— А румынские офицеры останавливались у вас?

— Были, как же. Домну Мынтулеску, такой полненький, потом Мирча Пуркару, вертлявенький.

— И вы им тоже готовили картошку в мундире?

— Им? Нет. Они хотели бифштекс, а я не умею. Я им только кофе варила. По-турецки.

— Та-ак... — Игорь стал расхаживать по комнате, поскрипывая сапогами. — Вот мы вас освободили, ясно?

— Да, — на всякий случай согласилась тетя Роза.

— Вас всю жизнь эксплуатировали. Все эксплуатировали — и родня и соседи. Пора с этим кончать, ясно?

Тетя Роза озабоченно посмотрела на сапоги Игоря. «Надо их почистить», — подумала.

— У нас нет эксплуататоров, ясно?

Тетя Роза закивала несколько испуганно.

— Я за это возьмусь, — решительно продолжал Игорь. — Я вас устрою при госпитале. Будете зарплату получать.

Наверное, лейтенант сдержал бы слово, если бы их часть не перевели куда-то. Тетя Роза испекла блинов на дорогу — уж очень ей понравились эти молодые русские лейтенанты. Второй — Степан — чувствительно играл на баяне, был домовит, обстоятелен и любил повторять: «Це дило треба розжувати».

Кстати, она так и не усвоила, как их величать. В сороковом ей без конца вдалбливали, что не «господа

офицеры», а «товарищи командиры», в сорок четвертом ей объяснили, что уже «товарищи офицеры», а в промежутке опять были «господа офицеры», то есть румыны. Тетя Роза безбожно путалась, извинялась и нашла выход: называла их только по именам. Это ни у кого возражений не вызывало.

Ресторанчик дяди Мити

Дядя Митя приходит к отцу посоветоваться. Дмитрий Карпович, собственно, никому не дядя. Но вот уже более десяти лет все его так называют. Из-за ресторана-чика. Вывеска гласит скромно и солидно: «Ресторан». Но настоящее ему имя — «У дяди Мити». Хотя, по справедливости, надо бы «У тети Аньюты». Она знаменитая стряпуха, а в Лиманске почти немыслимо прослыть знаменитой стряпухой — на каждой улице уйма знаменитостей по части кулинарного искусства. Каждый дом чтить свою богиню стола, но избыток богинь порождает вежливую войну и любезное единоборство. Конечно, мелькают моды и всевозможные новые веяния, однако любая хозяйка в муках творчества силится внести что-то свое, ибо, как во всяком искусстве, и здесь презирают эпигонство и явное подражание.

Зазывают семьями в гости, и сразу разыгрывается чрезвычайно вкусное и трепетное сражение. Женщины, конечно, хвалят хозяйку. Но хвалят и жалят:

— Изумительно, Мария Ивановна, просто изумительно! Спасибо, я возьму еще маленький кусочек... Нет, нет, только кусочек. Вчера мы были у Антонины Михайловны, она, конечно, сплетница, но добавила в салат маслины. Это чудо! Как только она догадалась, просто удивительно! Попробуйте, душечка, добавить в следующий раз маслины. Вы будете икать от удовольствия!

— Ах, мне очень приятно, что вам понравилось! И вашему мужу,— смотрите, как он аппетитно уплетает... Артем Сергеевич, я вам положу еще, кушайте, пожалуйста... Правда, маслины не помешали бы, я давно знаю, ваша Антонина Михайловна ничего тут не придумала. Но сейчас подадут утку с маслинами. Маслины там должны сыграть. Пальчики оближете!

— Как жаль, я не смогу жареную утку. У меня почки.

— Ах, что вы, моя милая, это Антонина Михайловна кладет маслины к жареной утке. А я ее, уточку, обкладываю глиной — и в печь. Она у меня томится в собственном соку. Глина вместе с перьями сама отходит, и уточку хоть целиком глотай...

Мужчины весьма охотно пользуются застольными баталиями. В конце концов, ради них они и устраиваются. Известно, что без мужчин умение стряпух превращается в искусство для искусства и приходит в упадок.

Единственное, что их, то есть мужчин, раздражает, — это неистовая предупредительность хозяек. Они мешают мужской беседе, свободной и сосредоточенной еде. Они неусыпно и ревниво следят за каждым глотком и движением челюстей. Они мысленно жуют вместе с вами. Они, ерзая, ждут, вымаливают, выколачивают из вас похвалу. Воистину, присутствие творца — самый чувствительный недостаток творения.

Мужчины, как правило, придерживаются тонкого нейтралитета и не ввязываются в борьбу. Они вдоволь наедаются, пьют и похваливают как положено. Но не более того. Иначе потом несдобровать. Мир в семье дороже истины. Даже если ты потрясен каким-то симфоническим салатом, сочиненным хозяйкой, ты по дороге скажешь жене:

— Салат был ничего, только уксусу маловато. Уксус — дело хитрое, не всякая угадает.

— А почему же ты уплетал так, что противно было смотреть?

— Ничуть, просто ел из вежливости. И потом все остальное было куда хуже, совсем не в моем вкусе. Ты ж меня знаешь.

Жена, успокоившись, переключит свою энергию на творческие проблемы: что действительно удалось сопернице, в чем она оплошала и как ее переплюнуть.

Границы признания той или иной знаменитости постоянно колеблются, и одна только тетя Аньютка пользуется вселиманской привычной славой. А привычная слава всего прочнее. Это значит, ты победил давно, страсти вокруг тебя улеглись, ты спокойно паришь над схваткой — пусть соревнуются остальные. С тобой же никто и потягаться не смеет. Ты вне конкурса, точно классик.

Тетя Анюта охотно делится опытом. У нее, например, получается исключительная свинина на гратаре. Пожалуйста: нет никаких секретов: делайте так-то и так-то. Хозяйки свято выполняют ее указания, а свинина чуть-чуть, да не та, хоть тресни. Антонину Михайловну прямо-таки заело: в чем закавыка? Она напросилась поприсутствовать при священнодействии тети Анюты,— так сказать, усвоить на практике. Тетя Анюта глянула на угли, быстро обмазала кусок свинины подсолнечным маслом, посолила, поперчила и плюхнула на решетку. Потом другой, третий. И вдруг перевернула первый. Тут Антонина Михайловна чуть не подскочила. Она, оказывается, следила за секундной стрелкой.

— Как же так, Анюточка? Ты говорила, каждую сторону две минуты, а сама — за полторы?

— Да? — удивилась тетя Анюта. — Может быть...

— Ты не мудри, ты скажи честно!

— Я ж тебе говорю, Тоня. Две минуты. Когда больше, когда меньше, а так, конечно, две минуты. Это уж точно.— Тетя Анюта ловко сняла первый кусок и перевернула второй.

— А откуда ты знаешь, когда больше, когда меньше?

Тетя Анюта напряглась и честно попыталась разобраться. Она долго объясняла, что зависит от огня, от качества угля, от самой свинины, от запаха, от потрескивания жира, от... И в то же время она переворачивала и снимала с гратара кусок за куском. Антонина Михайловна, волнуясь, мотала на ус и следила по часам. Получилось черт знает что: для каждой стороны разное время, от полутора минут до двух с половиной. Это при равных-то условиях!

— Дай отведать! — взмолилась Антонина Михайловна. Она отрезала по ломтику от каждого куска. Съела, всем существом прислушиваясь к тончайшим оттенкам вкуса. Поразительно — совершенство было полнейшим! Тютелька в тютельку!

Антонина Михайловна ушла обиженнная: все-таки Анюта мудрит, недоговаривает...

Откуда ей, бедной, было знать, что многому можно научиться, да не всему...

Итак, победил всеобъемлющий талант тети Анюты. Я бы сказал — интернациональный талант. Все блюда, все вкусы, все кухни ей по плечу. Щи и шашлык, мама-

лыга и паприкаш, мусака и курабье — все дается ей легко и непринужденно, как музыка Моцарта. И в каждом блюде, будь то суп по-гречески, или судак по-польски, или тефтели по-молдавски, неизменно присутствует неповторимый Анютин почерк.

Ресторанчик на сорок мест обслуживается дядей Митеем и тетей Анюютой. Она, понятно, творит, он добывает материал для творчества. Но кроме закупок у дяди Мити еще три немаловажные функции. Во-первых, он винодел и виночерпий. Вино — это его независимая и самостоятельная республика. Тут он царь и бог. Его замыслы вынашиваются и зреют в бочках под землей. Погреб с каменными сводами огромен и полон тайн. От главного зала ответвляются полузыпаные узкие ходы, неизвестно куда ведущие. Я твердо верил, что один из них сообщается с самой крепостью, тоже полной тайн.

Во-вторых, дядя Митя принимает заказы гостей, подает на стол и производит расчеты (наличными или в кредит). Потому он всегда на виду, как артист, а режиссер — на кухне. Николенька, их сын, непричастен к ресторанчику — он метит в художники.

А в-третьих, дядя Митя именно артист. Он подсаживается к гостям, он раскрывает идею каждого блюда, придает ему смак, создает поэзию предвкушения.

— Вот, извольте, уха. А знаете ли все шесть условий для настоящей ухи? Рано-рано, когда последние звезды тают, отправляйтесь на берег лимана и закупите у рыбаков разную трепетную рыбку. Чтоб обязательно и бычок, и короп, и щука. Бух эту рыбку в ведро. Пусть покипит на костре прямо на берегу. Потом рыбку долой и в ту же юшку еще порцию. И так три раза. Вот вам первые три условия. Разная рыбка — раз, костер на берегу — два, тройная варка — три. Четыре — это подать обжигающую уху в глиняной миске, а рыбку отдельно, на блюде. К ней муждей — чесночный соус, горяченькую мамалыгу и кружку белого холодного винца. Вы скажете, теперь все, можно приступать. А где же еще два условия? Они-то как раз и венчают дело. Надо еще до ухи двое суток не есть, не пить и надо еще уху делить с другом, да чтоб этот друг беспрестанно чмокал и ахал: «Что за уха, Господи Боже ты мой!» Вот тогда уха окончательная, наивысшая!

Ну, давайте теперь чокнемся, это мой рислинг, отве-

дайте. А кстати, знаете, почему люди чокаются? Нет? Так я вам скажу. Чтоб все пять чувств пустить в ход. Берешь стакан в руки — ощутил прохладу вина, глазом оценил его прозрачный цвет, потянул носом его запашок. Губы и нёбо вкус воспримут. Чего же не хватает? Ухо плачет в бездействии. Нужен звук! Звук сдвинутых разом кружек, стаканов, бокалов — дружеский всплеск, перестук сердец. Чокнемтесь, дорогой, за ваше здоровье!

Дядя Митя не любил румын. То есть не румын вообще, а тех, которых видел, — налетевших командовать и хоряничать. Он не очень-то говорил по-ихнему и вдбавок коверкал и путал слова. Не любил их и за то, что открыли в парке шикарный ресторан «Континенталь», с летней верандой, фонтанчиком, беседками, цыганским оркестром, певицей Розитой и четырьмя отдельными кабинетами. Кормили там дорого и паршиво, нагло доили и обсчитывали, но глупые лиманцы Бог весть почему, как только заведутся деньги, спешат сунуть их в лапы владельцев «Континенталя». Дядя Митя недоумевал и чертыхался. Он бросил в бой все свое красноречие, чтоб разоблачить и высмеять «Континенталь». Лиманцы хихикали, соглашались, что, конечно, «Континенталь» жуткая обдираловка и рассадник желудочных язв, но назавтра от них же можно было услышать хвастливое и томное: «Ну и кутнули мы в «Континентале» во всю ивановскую!»

Дядя Митя видел, что число его верных поклонников не только не растет, но даже редеет. Он подстегивал тетю Анюю, требуя от нее выдумки сверх всякой выдумки. Со своей стороны увеличил кредит завсегдатаям, устраивал дегустации вин с конкурсом: «Кто угадает, что пьет?» И вручал победителям премии. Он попробовал заманить к себе скрипачей Яшу и Грига на полное угощенье. Яша и Григ стали приходить попеременно в свободные часы. Каждый сначала садился за столик и чувствительно играл, пока подадут. Откусывав, играл на ушко желающему любые мелодии и романсы.

Но только днем. Вечером скрипачи принадлежали тому же проклятому «Континенталю».

Тогда дядя Митя решился и купил патефон. Он собственноручно крутил его иставил пластинки, презирая себя за то, что редкое искусство тети Ани ты он вынужден подпирать механической музыкой.

Как бы то ни было, но популярность заведения уда-

лось удержать и укрепить на определенном уровне.

В первые дни советской власти дядя Митя торжествовал. «Континенталь» за ночь лопнул как мыльный пузырь. Говорили, что на его месте откроется пункт общественного питания. Демократический ресторон на честных народных началах. Никакой Розиты и отдельных кабинетов. А самое главное — пришли русские, с которыми можно разговаривать по-русски и которые охотно, но несколько поспешно едят Аньютину угощения и пьют Митино вино. Расплачиваются, денег не считая и сдачи не требуя. От посетителей отбою нет. Тетя Аньута и дядя Митя с ног сбиваются, но счастливы.

Смущение, правда, вызвали очереди. Сначала лиманцы просто не поняли, что это такое. Они привыкли к тому, что в магазинах всего полно: заходишь в знакомую лавку, хозяин или продавец к тебе бросаются, как к родному, изо всех сил стараются угодить, чтобы, не дай Бог, ты не ушел с пустыми руками. Можно и в долг и в рассрочку — все друг друга знали как облупленных... А тут за час до открытия магазина приезжие выстроились, образовав хвост на полквартала и дотошно разбираясь, кто за кем стоит.

— Что случилось? — забеспокоились лиманцы. Им охотно объяснили: таков порядок. Можно занять очередь и отлучиться, ничего страшного. Бывает, что и запись ведется. Какой-нибудь общественник составляет список или пишет номера химическим карандашом на ладони. Все культурно и вполне организованно. Лиманцы силились понять, даже головой кивали, но все-таки не могли сообразить:

— Но почему все пришли сразу? Магазин торгует с утра до вечера, каждый может прийти когда вздумается:

Тут уж приезжие стали проявлять признаки раздражения:

— Ничего, скоро поймете...

И действительно, через несколько дней, когда прилавки были буквально выметены и счастливые торговцы, подсчитав барыши, вдруг обнаружили, что за пачки и даже мешки рублей никаких особых закупок не сделаешь, лиманцы начали кое-что понимать. Они с изумлением постигали и усваивали новые выражения и словечки, вроде «дефицит», «блат», «дают», «выбросили». И как миленькие становились в очередь...

И вот приходит дядя Митя к отцу советоваться. Он чем-то смущен.

— Понимаешь, Алеша, — говорит он, — садится за стол симпатичный военный и просит скумбрию. Вина не желает. Вообще не пьет. Я к нему подсаживаюсь. Вижу, собирается ткнуть вилкой в рыбку. Говорю ему: «Сынок, послушайте, кстати, маленький анекдот».

Идет приезжий с базара и несет за хвост скумбрию. Навстречу ему грек:

«О! Сто ты будешь с ней делать?»

«Как что? Сварю и съем»:

Грек всплеснул руками и упал замертво. Собралась толпа. Ахают, охают. Тут появляется старый старожил, расталкивает зевак:

«Что случилось?»

«Не знаю... Он спросил про скумбрию, я ответил, а он возьми да умри!»

«А что ты ему ответил?»

«Ничего. Я сказал, что сварю и съем».

«Боже мой! Ты его убил. Варить скумбрию — все равно что забивать гвозди хрустальной вазой! Принеси ее домой, упаси Бог — не режь, осторожно вытащи кишочки через жабры, подвесь ее, сердечную, и покопти над угольями. А жар не забудь засыпать еловыми веточками, чтоб дух был хвойный. Часа через четыре она у тебя станет золотая, как церковный крест на солнышке. Тогда положи ее на тарелочку, сними с нее золотую шкурку, как рубашечку с девушки. Присыпь ее солью с перцем...»

Тут и покойник не выдержал.

«С лимончиком!» — простонал он...

Рассказал я военному, а он не рассмеялся.

Он внимательно посмотрел на меня и как-то грустно улыбнулся:

«Других интересов у вас нет?»

«Почему же, — говорю, — я интересуюсь политикой...»

«А столовая у вас частная?»

«Само собой. Я с женой Анютой...»

«Мы против этого. — Он помолчал и добавил: — Революция уничтожила частную собственность...»

— Что же мне делать? — спросил дядя Митя.

Отец подумал и сказал:

— По-моему, сходи в исполком и подари государству ресторанчик. Уж лучше самому...

— Алеша, ты меня не поймешь. Ты всегда пускал деньги по ветру, тебе легко говорить.

— Подожди, я не кончил. Передай заведение с просьбой — пусть тебя с женой оставят в нем работать. Понял? Все по-прежнему, только ты с Анютой получаешь зарплату, а выручку — государству. Да и пенсия к старости...

Любопытно, что дядя Митя не спрашивал, почему отныне нельзя держать ресторанчик. Не иска причин, искал выхода. И отец ему не объяснял, а советовал. Видно, сказалась лиманская привычка: власти приходят со своими порядками, и обсуждать их нечего. Причем тут всякие громкие слова? Дядя Митя был потрясен, когда услышал от Феди целую тираду — зачем он только к нему обратился? Надеялся, что Федя для новых властей — свой человек и замолвит за него словечко. А тот почему-то вскипел:

— Ты, Дмитрий Карпович, — собственник, ты пробка в мировой революции. От таких, как ты, много зла на земле. Ты поп в храме плотоядия, твой культ желудка отшибает людям мозги. Ты суешь в глаза человеку фаршированные перчики, чтоб он не видел горя и преступлений, классовой борьбы и народных чаяний. Имя тебе легион, ты засел в каждом поселении, каждой стране и топиши в курином бульоне все высокие помыслы, — Федя, увлекшись, невольно повысил голос, словно перед ним был не дядя Митя, а собирательный образ, выставленный на всеобщее обозрение. — Ты мечтаешь, чтоб все у тебя ели, пили и изоццялись во вкусовом распутстве. И платили деньги, которые не пахнут. Ради денег унижаешься перед всякой сволочью, угождаешь, сказки рассказываешь, ради денег ты приковал жену к плите, как невольника к галере. Ты дал ей хоть месяц отдохнуть? Дал ей книжку почитать? Да и сам ты раб ресторана, и сны у тебя ресторанные. Что ты в жизни видел? Освободись, сбрось вериги, выше голову, свободно, с достоинством шагай по земле. И борись за себя, за человечество, но не вилкой и ложкой! Как ты терпишь, когда посетители манят пальчиком: «Эй, человек!» Ты — Человек! Но черта с два ты освободишься. Тебя надо силой! И ты еще брыкаться будешь! Я однажды хотел освободить цепного пса, так он мне все руки искусал!

Дядя Митя вспомнил, что его сын Николенька года три назад тоже вдруг понес какую-то чушь, похожую на эту, со слов Ремуса, бухарестского фрайера, который морочил голову пацанам. Хотя Ремус выглядел чуть ли не главным Фединым врагом.

Чудны дела твои, Господи!

Дядя Митя сиял. В исполнение с похвалой приняли ресторанчик, переименовали в столовую № 2 Лиманского горторга, но город говорил по-прежнему: «У дяди Мити», потому что Митя с Аньютой по-прежнему полно-властно царили в нем. Дела шли великолепно, тетя Анья творила как никогда. Дядя Митя не мог нарадоваться своему званию «заведующий» и стал немножко задирать нос.

Недели через две ему вручили новые штаты. Всего семь человек. Дядя Митя долго не понимал и горячо отказывался:

— Да мы вдвоем вполне справляемся, не обижайте нас, мы, если хотите, расширим столовую, пристроим ве-ранду и все равно справимся!

Товарищ Никаноров, узкоглазый, лысый, длинный человек, встал из-за стола и подошел к дяде Мите. Он как-то извинительно сутулился, моргая добрыми глазами. Дядя Митя тоже сутулился, хотя рост у него был вполне средний. То ли его крупная, тяжеловатая голова перевешивала, то ли привык в ресторанчике наклоняться к сидящим.

Никаноров схватил дядю Митю за пуговицу:

— Дорогой товарищ, наше государство никого не собирается эксплуатировать. Незачем вам из сил выбиваться. Вы заведующий, вам положено управлять. Подавать — обязанность официанта. Вашей жене — она тоже человек — нужны помощницы: повариха, судомойка и уборщица. Ну, а без кассира-экономиста никак не обойтись. Посетитель будет выбивать чек в кассе. Никаких чаевых, унижающих советского труженика. Вам станет куда легче работать. Мы вас не обижаем, а заботимся.

Дядя Митя растерялся. Ему страшно польстило, что он будет «управлять». Но все же практическая сметка взяла верх.

— Извините меня, дурака. Вам, конечно, огромное

спасибо. Однако же, ей-Богу, вылетим в трубу. Дохода не видать, если к нам двоим прибавить еще пятерых на жалованье.

Никаноров улыбнулся:

— Не волнуйтесь, товарищ. У нас никто не «вылетает в трубу», как вы выразились. У нас нет конкуренции. Вы будете исправно получать оклад. Советская власть полностью гарантирует оплату труда.

Дядя Митя не понял, но согласился.

Поначалу дела шли вроде бы ничего. Дядя Митя малость обленился, стал попивать винцо с посетителями, а тетя Аньота, хоть и была назначена замзавстоловой, крутилась белкой в колесе. С Нюркой, новой поварихой, у нее вышел конфликт. В первый же день, когда тетя Аньота сокрушилась, что для мусака мясо не то и помидоры битые, новенькая, здоровая бойкая девка, бросила небрежно:

— Ничего, сожрут!

Тетя Аньота пришла в ужас и стала делать все сама, легонько отстранив Нюрку от плиты. Та не горевала и уходила в кино.

Дядю Митю опять вызвали. Никаноров потирал руки и глядел на них, досадливо моргая, будто муха садилась на веки.

— Мда... Вот мы прикинули и так и этак — получается, что у вас штаты раздуты. Придется сократить.

Дядя Митя обрадовался («А что я говорил?»), но тут же почувствовал затруднение. С официантом он ладил и не хотел его терять. Пусть подает. Заведующему не к лицу обслуживать. Судомойка и уборщица тете Аньоте позарез нужны. Нюрку бы, да жалко. Может, все-таки прогнать официанта, а Нюрку на его место? Она девка ничего, посетителям в самый раз для аппетита. Одновременно и Аньоте избавление. Или кассиршу вон — та зря хлеб ест...

— Вот нам и указали, — продолжал Никаноров, моргая пуще прежнего, — в такой маленькой столовой замзав не положен.

— То есть как?!

— Не положен. И опять же нехорошо получается. В такой маленькой столовой заправляют муж и жена. Семейственность. Ничего не поделаешь, придется...

И пришлось. Тетя Анюта была освобождена по сокращению штатов. Ей предоставили работу в столовой № 1, бывшем «Континентале». Оклад был приличный, но тетя Анюта после работы мчалась на старое место, в столовую № 2, ругаться с Нюркой и стряпать по-своему. Безвозмездно и с позволения заведующего. Не могла она жить с мыслью, что «У дяди Мити» кормят кое-как. После очередного скандала с Нюркой и ее жалобы в вышестоящие инстанции эту работу на общественных началах пришлось прекратить. Дядя Митя два дня носился с мыслью затеять фиктивный развод (узнал, что разводиться теперь проще пареной репы), чтобы вернуть Анюту в родное заведение. Но вместо этого отправился к Никанорову с заявлением об уходе по собственному желанию.

Товарищ Никаноров грустил:

— Не лежит у меня сердце отпускать вас. Не лежит. Неувязка вышла, сам вижу. Думал я — в чем загвоздка? А в том, что мы сочетали новое со старым. Такая затея обречена на провал. Потому, наверное, лучше, что вы уходите. Столовая начнет работать по-новому, с чистого листа. И вы начнете жить по-новому, без груза прошлого. Надеюсь вас устроить на винзавод. У нас безработных нет.

Через месяц столовая № 2 была преобразована в буфет, где работала одна Нюрка. Она бойко торговала водкой, колбасой и папиросами.

А столовая № 1 стала опять рестораном с множеством поваров и даже отдельным кабинетом для нового советского начальства. Тетя Анюта там совершенно потерялась, сникла, ибо талант не уживается с коллективной стряпней. Она с тяжелым сердцем присоединилась к «несунам» — долго упиралась, не понимала, зачем надо «нести», но когда на нее стали коситься и чуть ли не сочли стукачкой, сдалась и каждый день уносила домой свою долю масла, мяса, муки и сахара. Но тамошних котлет не брала — дядю Митю от одного их вида тошило...

А вот Сеня Семенов отца не послушался. Он пришел как-то вечером, руки у него дрожали:

— Алеша, друг мой, ты знаешь, я пустил к себе русского начальника, дал ему хорошую комнату с верандой,

живи сколько хочешь, платить не надо. Я же русских люблю. А он расписался с какой-то энергичной киевлянкой (то есть женился. Без венчания, без свадьбы — принююхались друг к другу и расписались!). Эта киевлянка его хорошо накрутила. Вдруг заявляет: «Нам одной комнаты мало. Вы должны уплотниться» (слово-то какое! — вроде «расписаться»). Я немножечко удивляюсь: «По какому, извините, праву? Это мой дом. Если квартирантам не нравится, они ищут себе другое место...» А он хлопает себя по бокам, хохочет: «Мы с женой в НКВД работаем, понял? С нами лучше не связываться».

Я, Алеша, узнал, что такое НКВД — это Народный комиссариат внутренних дел. Что тут понимать?

Не думаю, что отец был лучше осведомлен, тем не менее он загрустил, долго барабанил пальцами по столу и наконец произнес:

— Сеня, придется уступить. У них свои порядки. В России до сих пор жилищный кризис, а ты живешь в особнячке. Ты за бедных, за угнетенных, а выглядишь буржуем.

— Я? Я живу в нормальных условиях, не более того. Дом ко мне перешел по наследству после смерти мамочки! Но, может быть, завтра я буду не один, я не собираюсь всю жизнь прожить байбаком. Нет, я напишу Сталину! Меня знают как борца за социальную справедливость, все читали мои статьи!

— Не пиши, — попросил отец.

Сеня Семенов был лет десять местным корреспондентом ряда либеральных газет, симпатизировал Советскому Союзу, коммунизму и румынским левым. Он теперь рассчитывал на взаимность, он не собирался отождествлять своих агрессивных квартирнантов с советским народом. Он написал Сталину. Попросил знакомого, отъезжающего в Москву, взять письмо и опустить в почтовый ящик, который поближе к Кремлю. И что вы думаете? Через месяц с небольшим тот тип со своей киевлянкой торопливо покинул оккупированные квадратные метры, а самого Сеня Семенова вызвали в горком, извинились и заверили, что такое безобразие больше никогда не повторится.

Сеня Семенов, сияя, прибежал к отцу:

— Какой я умница, что тебя не послушался! Я потерял бы всякую веру, превратился бы в запуганного

обывателя. Что ни говори, а советская власть — это сила!

Дело было в начале сорок первого года, а через несколько месяцев, перед самой войной, нашего правдолюбца вдруг арестовали как матерого шпиона и провокатора. В его особнячок поспешили вселиться те самые супруги из НКВД, но недолго они наслаждались — мирных дней оставалось не больше недели...

Бедный Сеня Семенов. Он горячо любил румынского иронического поэта Топырчану и годами старательно переводил на русский язык его стихотворения. Время от времени читал их моему отцу, нам нравилось. Где теперь его рукописи?

Весной сорок первого года по Лиманску прокатилась волна арестов. То тут, то там люди внезапно исчезали, утром двери оказывались опечатанными. Злые языки говорили, что немалую роль в этом деле сыграл водовоз Бориска, помогал составлять списки неблагонадежных. До прихода русских он годами с утра проезжал по улицам Лиманска, грохоча своей громадной бочкой, в которой плескалась чистая прохладная вода. Он был молчаливый и хмурый, мне всегда было его жаль. При советской власти он перестал возить воду, приоделся и стал попивать. Как-то я встретил его у будочки дяди Илюши. Он, покачиваясь, в упор посмотрел на меня и вдруг нехорошо погрозил мне пальцем. С началом войны он тоже исчез навсегда.

А глубокой осенью, уже при румынах, недалеко от тюрьмы, на берегу лимана было обнаружено захоронение, в котором нашли одиннадцать трупов, обезображеных известью. Румынские газеты развернули пропагандистскую кампанию: большевики, убегая, казнили без суда и следствия политических заключенных. Город содрогнулся. Хоронили погибших при большом стечении народа, под колокольный звон. Имена были установлены предположительно, по косвенным признакам, среди них значился и Семен Семенов...

После войны было заявлено, что заключенных, оказавшихся в оккупации, убили сами румыны, но новое расследование так и не состоялось.

Скала над лиманом

...и, как много лет назад,
Профиль той скалы крылат:
Угол, в небо устремленный,
Крыльев сомкнутый разлад.
Вдоль лимана след лимонный
Стелет медленно закат...

Эта скала над лиманом — две косые каменные плиты, нацеленные в небо. Под ними кипят волны, будто скала мчится к морю на всех парусах. Каменный нос корабля в пене, в брызгах! Я был маленьkim, а море большое. Но я бороздил его вдоль и поперек, взобравшись на самую вершину скалы. Я причаливал к берегам Африки, измотанный бурями, с пересохшими губами, язык едва шевелился во рту. И огромный добрый негр протягивал мне кокосовый орех. Я надрезал его ловким ударом ножа и, замирая, пил прохладный сок черной земли — молоко. Потом месте с огромным добрым негром (жаль, забыл его имя) я спешил к Южному полюсу — обезьянка сидела у меня на плече. Я спешил, мне надо было спасти кита от гарпунов. Я очень жалел китов — их так мало осталось.

А когда спускался вечер и пора было идти домой, чтобы мама не волновалась, я прерывал свои тайные путешествия: закрывал глаза и снова открывал их.

Удаляясь от скалы, я оглядывался на нее снизу — у самой крепостной стены скала, как крокодиловая пасть, полна была звезд...

Так, день за днем, я ткал свой фильм, самый хороший фильм, потому что его можно было продолжать бесконечно и смотреть без конца. Закрывал глаза и снова открывал их — значит, фильм прерван и все остальное не в счет, фильм возобновлялся по желанию.

Я как действующее лицо всегда старался быть на высоте перед собою — зрителем, а как постановщик бдительно оберегал фильм от чепухи, мелочей и от всякого вторжения реальности. Лиманская действительность никак не годилась для фильма. Единственное, что стоило признать в Лиманске, было его прошлое. Хотя и прошлое приходилось исправлять, чтоб оно неизменно оставалось героическим. Не мог же я, например, согласиться с дурацкой концовкой такой вот легенды:

«Нагрянули басурмане и не в первый и не в последний раз осадили Лиманск. Молдаване бились храбро и отразили все попытки взять крепость приступом. Про-

шли лето и осень, наступали холода. И вот появились признаки того, что турки, отчаявшись, собираются снять осаду. В их лагере происходило какое-то волнение. Сам паша постучался в ворота: так, мол, и так, сказал он, вы отважные воины, мы не смогли вас победить и уходим, но войско голодает и отказывается идти в дальний путь — позвольте нам испечь хлебы на дорогу, мука у нас есть, но нет печей...

Обрадовались молдаване, что турки уходят, и впустили «кормильцев». Пекли турки до самой ночи, стали вино попивать с молдаванами на прощание, а в полночь по знаку кинулись к воротам и сумели открыть их. Хлынула в крепость орда басурманская и устроила дикую резню...

Это было немыслимо. Я переигрывал историю с хлебами по-своему: защитники крепости смеялись в лицо неприятелю, и он уходил, скрежеща зубами. Или допускали его «испечь хлебы» и все-таки побеждали в бою...

Эту легенду любили рассказывать старики Столянские, и по их словам выходило, что, пожалуй, они желали бы и спасти не защитников крепости, а скончавшегося самого неприятеля. Дескать, не лиманцев надо лишать доверчивости и доброты, а всех остальных пора научить честности. Иначе мир погрязнет в крови...

Я любил и жалел братьев Столянских, но в свой детский воображаемый фильм все-таки их не пускал: там были подвиги и взаимная любовь, то есть то, чем Бог Столянских обделил...

Реальность сама ворвась в мой фильм. Оказалось, что все предыдущее, все ковбои и мореплаватели гроша ломаного не стоят. Я был в отчаянии: как я не догадался, что жил при капитализме, как не сообразил, что надо бороться против короля!

В древней крепости прямо на стене вывесили белое полотно, и, как только темнело, среди башен, под звездным куполом появлялся Чапаев на лихом коне, шли капелевцы в психическую атаку...

Кино в крепости показывалось бесплатно каждый вечер. Там гибли матросы-кронштадтцы, пели три танкиста, три веселых друга, выныривали из туч кургузые «ястребки», потом опять под восторженные крики распахивались ворота Зимнего дворца и порывисто, даже

весело направлял величайшую революцию совсем не геройский с виду Ленин в Октябре.

Однажды мне помешал мальчишка — я издалека увидел, что он, свесив ноги, сидит на моей скале. Я крутился поблизости, кидал камешки в воду — ждал, пока уйдет. Не дождавшись, крикнул:

— Тебя мама зовет!

— Ладно врать-то, — ответил он.

Я закрыл и открыл глаза — это белогвардейский лазутчик проник на мой корабль. Я быстро вскарабкался, ободрав коленки, и страшная схватка над морем продолжалась недолго, мы оба, чуть живы, скатились к подножию скалы. Мой враг, визжа и обливаясь слезами, покинул поле боя, а я кусал губы и не плакал, не имел права — фильм продолжался...

Игра со скалой обернулась куда сложнее моих фантазий. В игру ворвалась настоящая война и властно повернула сюжет, приземлила его. Однако, сколько бы тягот и горя ни выпало на долю, я оставался ребенком. Хоть и страшно бывало, и голодно, и холодно, и тоскливо, но прежде всего было интересно.

И незаметно для себя я стал реалистом — фиксировал то, что со мной происходит. От прежней игры остался только условный знак: моргнул — с этого мига все регистрируется памятью как входящее в фильм, моргнул еще раз — стоп, остальное долой. Я старался не лгать — выбрасывал из течения дней только незначительное и скучное. Разумеется, я с удовольствием выбирал все свои удачи и поступки, которыми был доволен, но приходилось выставлять напоказ и свои оплошности и грехи. Перед самим собой не солжешь. Остается лишь скорей поправить впечатление и впредь не попадать впросак.

Так я доигрался до совести...

Война превратила нас в беженцев — покидая родные края, я оставлял себя там, на скале, дожидаться продолжения. Я был уверен, что только война способна прервать мою игру, да и то ненадолго. Но после войны у меня появились неразлучные друзья, и фильм приходилось прерывать все чаще и чаще, иногда на месяцы: скала ждала меня одного, а не целую ораву... Но как-то вечером, когда мы купались при луне, я увидел два силуэта на моей скале, простертой в небо, как два крыла. Силуэты слились — наверное, целовались. Меня так

это задело, что когда пришла пора и я влюбился по уши, я только и мечтал о том, чтобы заманить девчонку на эту скалу, закрыть глаза, снова открыть их и целоваться.

Я так и сделал. Правда, целоваться надо было раньше, но я хотел именно там, на скале. Я все тащил и тащил ее по камням, она сначала смеялась, потом стала сердиться, и, когда мы почти взобрались, у нее отскочил каблук, и она сказала:

— Чертов камень! Что за блажь тащить меня сюда! Глупо.

Я быстро закрыл и открыл глаза — фильм прервался...

Одинокий и печальный, я сидел на вершине скалы и думал о смерти. Когда я умру — а ведь я умру когда-нибудь — пусть меня положат на одну ночь здесь, на скале, и оставят одного. А потом пусть делают что хотят. Луна прошла полнеба, волны плескались тихо, как будто прощались. Они не зря прощались: я уехал в другой город, а скала осталась ждать.

Шли годы, я влюблялся часто, но и в мечтах не приглашал своих девчонок на ту скалу. То ли я забывал про нее, то ли она знала что-то и не звала их к себе.

Но вот я полюбил по-настоящему, и у меня голова кружилась от высоты и от страха, что сорвусь. Дом ее был вознесен над всей Москвой, и я шел к нему, словно циркач по канату. Она тогда любила другого, человека намного старше ее и меня. Я балансировал между благородством и ревностью. Время шло. Та ее романтическая любовь медленно улетучивалась, и, почувствовав это, я в какой-то момент поторопился, сделал неверный шаг и провалился. Надя отвергла меня, зачеркнула, будто на всей благодатной земле только я один был ей ни капельки не нужен.

Потерянный в огромном городе, незаметный, я толкался по вечерним улицам, и толпа занесла меня в цирк. Я с мучительной завистью смотрел на изящного канатоходца: «Вот его бы она полюбила!» И клоун в паузах был великолепен. Но кто в него влюбится? А потом вышел хмурый лев, который вел себя как большая собачка... Царь зверей! Что сказала бы вольная львица, взглянув на арену, где царь зверей ходил на задних лапах?

И ответ пришел озарением: чтобы лев был львом, ему нужна пустыня! Чтоб я стал самим собой, мне нужна моя пустыня.

В ту бессонную ночь я вспомнил скалу над лиманом, тосковал по ней и звал ее на помощь,— я понял, что там Надя меня поняла бы. Там! Увидев мой город, мою крепость, мою скалу, полюбив их. Там нет проклятого каната, там опора.

И я схитрил. Я написал Наде, что смирился, все кончено, мы просто друзья... И мы встретились, и весь вечер наобум ходили по Москве, и я рассказывал о моей скале, и Надя молча слушала. В тот вечер я был гениальным поэтом, я весь свой мир притащил в Москву, растолкав ее дома: мягко поблескивала вода лимана, мудро молчала крепость, и открытой пастью ловила звезды моя скала. Так мне это удалось, что даже засомневался: а вдруг, если наяву Надя увидит скалу, не разочаруется ли?

Надо быть откровенным до конца: она ее увидела въязь.

Мы ехали на катере вниз по Днестру. Надя была грустна или устала. Я подумал, что зря не захватил с собой еду: на пристанях хоть шаром покати, а на катере нет буфета.

— Ты проголодалась?

— Нет,— ответила, не глядя, будто я спросил о чем-то совсем некстати.

По обоим берегам ивы свешивались до самой воды и отражались в ней. Солнце жгло, палуба и поручни накалились, а в лицо веяло тихой речной прохладой. За поворотом три девчонки разом бросились в воду. На кустах остались белые пятна их рубах.

— Капитуляция перед зноем,— сказал я.

— Что? — спросила Надя.

— Девчонки, говорю, вывесили белые флаги.

— Да.

— Что с тобой?

— Ничего.

Мы плыли по Днестру, который все время петлял. Никак нельзя было догадаться, куда свернет,— он был увертлив, как будущее...

Наконец берега раздались и катер вошел в лиман. Вдалеке проступили очертания крепости. Я стал весело тыкать пальцем в горизонт, объясняя Наде все проплы-

вающее мимо. Надя оживилась, но будто ждала еще чего-то.

С причала, вскинув рюкзак на плечи и взяв Надю за руку, я вышел в город. Воспоминания обступили меня, я с трудом шел, как в многолюдной толпе, слова застревали в горле... Расчерченные квадратиками плиты тротуара были в пятнах от ягод шелковицы, как детская тетрадь в чернильных кляксах. Калитки, акации говорили наперебой, а уж домá, домá...

— Куда мы идем? — глухо спросила Надя.

— Как куда? В гостиницу.

До сих пор стыдно, какого я дурака свалял! Сам ведь заразил когда-то Надю своей сказкой, она не только поверила в нее, а втихомолку выпестовала и вырастила ее в тревожную, беспокойную мечту. Она ждала встречи с той скалой, ждала ревниво и в то же время с чувством полного права на встречу, ждала со щемящей надеждой, что именно там я скажу самые значительные слова, ждала как исполнения загаданного обряда, особенно теперь, когда он припоздал. Она, видимо, была уверена, что и я втайне думаю о том же и что мы, не сговариваясь, первым долгом пойдем туда...

Мы третий год были женаты, и в последнее время Надя часто смотрела на меня большими, испытующими глазами. Ей казалось, что любовь моя идет на убыль... Нелегко привыкнуть к тому, что отрицательная сила любви («Я жить без тебя *не могу!*») всегда ярче утвердительной («Вот мы вместе, вдвоем живем...»). Я не догадался, почему Надя с такой радостью встретила мое предложение заехать летом в Лиманск, даже в ладости захлопала. И вот мы здесь. Почему же — было мне невдомек — теперь Надя так расстроилась?

— В гостиницу? — удивилась она.— Нет. Потом. А сейчас... А сейчас давай в крепость...

— Ну что ж. С удовольствием.

Мы повернули к крепости. Воспоминания шли за мной, забегали вперед. Да простит меня Надя: ее не было среди них, они все были до нее — в до-Надином мире.

Мы вышли к берегу у крепости. Я не удержался, сбежал вниз и метнул несколько камешков «блинами» по воде. Надя ждала. И вдруг я увидел мою скалу. Как я сразу о ней не вспомнил!

— Надя, вот она! Бежим!

Надя испуганно засмеялась и побежала за мной к скале.

— Залезем? — задал я дурацкий вопрос.

Надя молча кивнула, торопливо и словно смущенно. Я помогал Наде взбираться. Воспоминания уже переполняли меня, я чувствовал, как погружаюсь в них, с трудом держа голову на поверхности. «А Надя?.. Понимает ли она, что творится со мной?» — подумал я. Вся ирония была в том, что у меня не хватало чуткости понять, что творится с ней.

— Фу-ты, черт, надо отдохнуться! — сказал я. — Раньше никогда не задыхался...

Надя глядела в сторону, молчала. Вот, оказывается, и все. И ничего больше не будет.

— Надя, что ты? — спохватился я. И почувствовал, что проваливаюсь: я настолько привык, что шагаю по твердой дороге, что и думать перестал о канате над пропастью. И вдруг ощущение, что шагнул мимо...

Надя быстро обернулась, больно глянула на меня глазами девочки, которую нехотя, но жестоко обманули.

— Уйдем отсюда, — попросила она.

Это было почти непоправимо. Почти. Потому что канатоходцы срываются лишь затем, чтобы начать все сначала. Иначе жить не стоит...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИСТОРИЯ ОТ АРИСТИДА

И была любовь

— *Прапоритель Авель вам оставил горькое призвание любить и завет — превыше всяких правил: лучше быть убитым, чем убить...*

В начале была любовь, говорю я, Аристид. Любовь на то и любовь, чтобы хотеть, любить себя и еще кого-то, еще что-то. Она хочет, чтобы непременно возникло что-то, когда нет ничего. Она рвется творить без всякого замысла, она сама, быть может, чей-то замысел.

Вначале никакого разума — зрячего и зоркого — не было. Была любовь простая и слепая, зато и сейчас она разумней всякого разума. Что угадывает любовь? Чего хочет? Этого я не знаю. Слава Богу, что хочет, не устает хотеть, никогда не перестанет хотеть.

Имеется, скажем, место пустое. Оно и пребудет пустым во веки веков, если не любовь... Вдруг кто-то облюбует это место и захочет, чтобы здесь что-то было и пребывало.

Вначале была любовь, говорю я, когда всматриваюсь в темноту и пытаюсь разглядеть истоки истоков. С чего начинается моя история? Она, как и всякая история, начинается с темноты. С темноты, которая безраздельно господствует в некоей самодовольной бездне и наплывает оттуда вплоть до первых исторических огоньков, расставленных свечечками среди черноты, разбросанных, как звезды, — для счастливого поэта звезды все на одном и том же уровне небесного свода, но несчастные астрономы знают, какие сумасшедшие пустоты разделяют каждую влюбленную парочку перемигивающихся светил! Ах, эти исторические огоньки и впрямь похожи на звезды — они светят только в одну сторону, никогда не освещают того, что у них за спиной. Они светят из мрака, не освещая его. Да и

сами звезды — как старые вести, ведь когда мы смотрим на звезды, мы смотрим в глаза прошлому, между нами сумасшедшая бездна времени, помноженная на сумасшедшую бездну пространств. Я ощущаю легкое головокружение от всматривания в ту темноту, что за спиной звезд, но мне нравится это опасное занятие, потому что я — и счастливый поэт, и несчастный астроном в одном лице. А еще я просто человек, то есть тоже един в трех лицах, как Господь Бог. Значит, если я буду хорошенько всматриваться, мне обязательно что-нибудь откроется. Я это понял еще тогда, когда глядел не вверх, а, так сказать, под ноги, где земля, проклюнутая первыми весенними травинками, прикидывается неискушенной простушкой, не помнящей родства. Земля радуется сегодняшнему солнцу и ничего больше знать не желает. И она права, конечно. Но прав и я, когда всматриваюсь в нее, уходящую в темную глубину слоями, как слежавшимися страницами. Она без меня — как книга, которая сама себя прочитать не может...

Мне доподлинно известно, что здесь когда-то было место пустое. А потом кто-то свил здесь первое гнездо. Возникновение — это как раз и есть рождение. Значит, тут не обошлось без любви. И без боли.

Кто открыл место, с которого началась история моего города? Кто положил основание тому, что потом стало былью и мифом?

Ясно кто: странники и записные бродяги. Кто-то из всегдашнего рода Колумбов, не иначе. Я совершенно убежден, что все оседлые произошли от скитальцев или кочевников. Потому и сейчас потомственные домоседы вдруг просыпаются среди ночи в смутной тревоге, словно они упустили что-то, опоздали откликнуться на чей-то зов немедленно отравиться куда глаза глядят... Может быть, дух бродяжий, зуд первооткрывателей и есть самое первое чисто человеческое занятие? Разве Адам и Ева не были родоначальниками и этого дела? Что ни говори, а им принадлежит честь первого путешествия — из рая на землю. Пусть они совершили этот бросок не по доброй воле, — так сказать, не по любви. Но сначала тебя кидают в воду, потом ты влюбляешься в плавание. Так и небесный отец подтолкнул Адама и Еву к самостоятельности, он гневался лишь из педагогических соображений, втайне же ликовал, что его чада набрели наконец на древо познания, на тот самый

запретный плод, который им-то и был предназначен, набрели и дали повод к назревшему расставанию. Творец поступил как мудрый родитель, иначе — какой он Бог?

Теперь потомки Адама и Евы собрались в обратный рейс — с земли на небо, и Бог-отец опять же не склонен гневаться и топать ногами. Дело житейское: дети Бога рано или поздно обязательно почувствуют себя богами, а в этом ровным счетом ничего дурного нет, ибо кому охота видеть своих детей ниже себя?

Когда всматриваешься в темноту, постепенно невидимые звезды выступают из-за спины видимых, и все меньше остается между ними пустоты. А ведь пустота, если разобраться, — это как раз то, чего не существует. Нет и не было никакой пустоты между звездами. Просто есть между ними то, чего мы не видим и даже не предполагаем, а только смутно предчувствуем. Пустота, темнота — это обман, который надо развеять. Потому я так упорно и зло всматриваюсь в темноту. Выявить скрытое — все равно что создать, сотворить. И мне это под стать. На то я и един в трех лицах, чтобы этим заниматься.

Говорят, что первооткрыватели будущего Лиманска были греки из Милета, и дело было в шестом веке до рождества Христова. Это, конечно, так. У них была великая любовь к морским путешествиям, но были ли они первыми в этих краях? Ни в коем случае! Только те, предшественники, были не в счет, они оставались незамеченными, потому что сами ничего не заметили — не было еще любви, способной открыть им глаза... Разве Петрарка был первый, кто увидел Лауру? Тысячи людей до него видели ее в Авиньоне, но ничего особенного не заметили. А Петрарка увидел такое, что все ахнули. Все — это и мы с вами, шестьсот лет спустя. Отсюда следует, что милетцы, хоть и не были первыми, были все-таки первыми, кому удалось увидеть. До этого, конечно, потребовалось счастливое сочетание любви, таланта и удачи. И времени. Ибо всякое удивительное совпадение должно случиться вовремя. А если не вовремя... Боже мой, сколько Пушкиных родилось до Пушкина! Может быть, Барков оттого и стал сочинителем непотребных поэм, что родился раньше срока... Он так и спился, не догадавшись, что заговорил пушкинским ямбом до Пушкина!

Так пристало ли совестливому историку обходить молчанием тех, кто не оставил нам своего имени только потому, что на час или два разминулся со своей удачей? Разве факт зависит от того, удостоверен он или нет?

Так вот, задолго до греческих мореплаваний Лиманск был открыт со стороны суши. Пещерные люди с северо-западных гор, подстегнутые любопытством (то есть предпосылкой любви), забрели сюда, смущенно потоптались тут, но не смогли преодолеть своего доисторического консерватизма. Плоская местность показалась обитателям горных пещер весьма неуютной: дует со всех сторон и не на что опереться. И никакого жилья (по их понятиям жилье могло быть лишь внутри чего-то, а не снаружи, на ровной поверхности). Нет отвесных скал и вершин, соединяющих небо и землю, ходить по горизонтали без помощи рук — и скользко и страшно тому, кто привык карабкаться, цепляться, лазать. Нет, тут тебя ветром сдует прямо в воду, которой, кстати, слишком много...

И пещерные люди попятались восвояси... Такого рода псевдооткрытия повторялись неоднократно на протяжении столетий — количество накапливалось, не торопясь совершив качественный скачок.

(Барков, раз уж я его помянул, полагал, что живая русская речь в стихотворении годится лишь для потехи охальников — для печати же он изготавлял вполне деревянные вирши на книжном языке!)

Открыть, оказывается, не так уж трудно. Куда труднее смекнуть, что ты сделал открытие!

Америку — и ту открывали несколько раз до Колумба. А что толку? К тому же Колумб вовсе не собирался открыть то, что открыл... Ему нужна была Индия. Пусть. Вечная ему слава: он не верил, что Атлантический океан уходит в бесконечную пустоту.

Глупые люди думают, что пустота — сквозное место, где ровным счетом нет ничего. А пустота непрозрачна — вот в чем фокус. Надо всмотреться и высмотреть в ней все, чем она набита до отказа. Пустота — это покрывало, которое нужно содрать. Она прикинулась прозрачной, чтобы заставить нас смотреть сквозь нее. И оттого мы сплошь да рядом норовим скользнуть глазами мимо так называемой пустоты, чтобы привычно опереться на что-нибудь видимое. А в невидимом — неведомое...

Почти открыли Лиманск египтяне. Их корабль двинулся через проливы. Узкие берега вдруг раздались в стороны, как руки от удивления: вот, мол, какой простор впереди! Тут извечное любопытство и погнало египтян на Север. Почему на Север? Потому что любопытство гонит всегда в сторону, противоположную дому... По чистой случайности они не увидели бухты Днестра. Нашелся умник на корабле, который сумел убедить остальных, что земля не предвидится, земли больше не будет — впереди незамкнутый Мировой океан, и в самый раз теперь поворачивать восьсяси. Тут необходимо сделать примечание: для того чтобы доводы умника возымели силу убедительности, надо, чтобы остальные были готовы убедиться. Вернее, готовность убедиться всегда найдет умника, который в нужный момент выпалит то, чего хочется всем остальным. А египтяне, надо сказать, вполне созрели для восприятия идеи о незамкнутом Мировом океане. Во-первых, буря разыгралась к ночи, то есть стало жутко и темно. Во-вторых, холодно, даже очень холодно с южной, египетской, точки зрения, а когда темно, жутко и холодно, то никакой земли впереди нет и не может быть, хотя берег под самым носом... Справедливости ради стоит добавить, что если египтяне и увидели бы землю, то вряд ли поселились на ней. Им еще в голову не приходила мысль заселять открытые ими берега. Забираясь за тридевять земель, они всегда, как послушные дети, возвращались домой. Короче говоря, египтяне, творцы пирамид, не могли быть авторами интересующего нас открытия. Они, подобно пирамидам, охотнее глядели вверх, нежели по сторонам. Поэтому нечего удивляться, что в их отчете о путешествии по Черному морю преобладали мрачные краски и торжествовала идея о безбрежном морском пространстве. Идея бесконечности нагнетает тоску, сулит безвозвратность. Понятно, что у следующих поколений египтян не возникло и тени желания направиться в наши края...

Наконец, появляется на сцене Милет. Греческий город на восточном берегу Эгейского моря. Город-государство. Город, который почти не владел сушей, зато сумел объять море. Город, повернувшийся спиной к материку и очарованный песней прибоя. Город, породивший целое ожерелье городов по берегам Черного

моря, городов, многократно повторяющих Милет и глядящих через море в глаза друг другу, как в хороводе. Платон, не будучи милетцем, позволил себе по этому поводу совсем не поэтическое сравнение: «подобно лягушкам вокруг лужи»...

Это были города, жизнь которых — встречать и провожать корабли. Земля для них была окантовкой моря, а мир — морями, окаймленными сушей...

Милетцы ступили на сей берег с полным осознанием того, что здесь можно заложить очередной Милет. Однако следует ли отсюда, что греки открыли необитаемую землю? Боже упаси! Никто ведь не утверждает, что Америка была безлюдной, когда ее открыли! Открыть можно и перенаселенное место. Может быть, не открай мы Америку, она открыла бы нас!

Да и сами греки, строго говоря, не впервые ступили на нашу землю. Их предки пришли в будущую Грецию с северо-востока, прошли как раз по нашим местам (прошли, потому что хотели дойти до упора) и шли на юг, пока земля не кончилась морем. Дальше было некуда, поэтому место их остановки и стало Грецией. Предки греков были еще кочевниками и скотоводами и в море не совались... Лишь потом, как выразился древний поэт этой горной и каменистой земли, греки были вынуждены покорить море, «гонимые мучениями пустого брюха». Междоусобицы и нападения извне тоже заставляли греков купаться — прижатые к морю, они в поисках спасения переплывали Бог весть на чем от острова к острову...

Прошлое мы восстанавливаем по руинам, обломкам, осколкам. Века оставили нам следы бедствий, а где же следы радостей? Вы скажете — нет их? Беда, дескать, умеет наследить, а счастье проходит бесследно? Как бы не так! Следы есть — это мы с вами! Мы — реальные следы и плоды плотских радостей, любви, одолевшей смерть. Мы с вами — лучшее доказательство того, что при всех разрушениях и запустениях любовь добивается своего и после всех трагедий оказывается вскорости, что народонаселение увеличилось.

Развалины сохраняются, сами знаете, лишь когда они Акрополь, Колизей и прочие славные сооружения. Что же касается злых дел, то, несмотря на их свирепость и многократность, они обречены на полное уничтожение. Люди как можно быстрее стирают следы пожа-

рищ и разбоя, как можно быстрее восстанавливают жилища, сады, дороги. И своевременно хоронят мертвцов. Тысячи войн прокатились по земле, поглядите вокруг — их словно не было! Им не дано увековечить свое клеймо на лице земли, в этом их бессилие. Жизнь вечна, все остальное сметается к чертям, приговаривается к небытию. Земля забывчива, но мы — люди, мы забывать не имеем права.

Только мы помним все с самого начала, больше некому. А если нет руин, обломков и прочих вещественных доказательств, все же утверждать не годится, что от кого-то не осталось никаких следов. Там, где историки разводят руками, многое может увидеть поэт. Если умеет хорошенько всмотреться. Поэт угадывает недостающие звенья, он не ошибается в главном, он переводит неназванное на язык своих образов — только и всего. Кто поручится, что Адама и Еву звали именно Адамом и Евой? Но попробуйте теперь забыть их имена, обойтись без них или переименовать. Не выйдет. Они, от которых не осталось ни косточки, для нас реальней любых питекантропов, безымянных, безликих, чьи черепа и прочие детали выставлены в музеях. В Адаме и Еве воплощены к тому же фундаментальные философские проблемы — например, проблема познания добра и зла. А что воплотили в себе абсолютно достоверные питекантропы и питекантропши? Им даже имен не подберешь, вот в чем беда.

Теперь, надеюсь, понятно, почему я предпочитаю иметь дело именно с Адамом и Евой, а не с кем-нибудь еще. Я пристально всматривался в эту парочку и кое-что разглядел. Заранее предполагается, что они были идеальными супругами. Но когда все заранее думают одинаково — тут что-то не так. Всеобщее согласие перетирает оттенки и краски в слепые белила. И вообще — где критерий? Мужское понимание идеальной пары, например, никак не сходится с женским толкованием того же явления. Для нашего брата смысл идеальности в том, что Ева изготовлена специально для Адама, причем из материала самого же Адама. Женщины же как раз и не вспоминают, что их прародительница была сотворена из Адамова ребра, такой подробностью можно пренебречь. Они-то прекрасно знают, что все Адамы рождены ими и вскормлены их же грудью. А потому идеальный супруг... Но я не

стану вникать в женские слабости, я к ним отношусь снисходительней, чем к мужским.

Истина же, как всегда, движется по орбите, благодаря двум разнонаправленным силам. Совершает, так сказать, обороты. Как только ты хочешь ее зафиксировать — она падает замертво. Изучай ее на лету, иначе на голову свалится!

Истина и факт — вещи совершенно разные. Как жизнь и нежизнь. Факт — это один плюс один равняется двум. А если один плюс одна? Загляните через несколько лет в их райский уголок и сосчитайте...

Кстати, само человечество себя сосчитать не в силах при непрерывном стремительном беге рождений и смертей. Приходится округлять большие числа, а это грех: каждый живой человек — целый мир, не мне вам говорить. Он не меньше Вселенной.

Так вот, у живой истины, пожалуй, тоже есть четыре времени года, но она, оборачиваясь вокруг какого-то стержня, не возвращается на круги своя, а, наматывая витки спирали, куда-то направляется. Знал бы я — куда...

Но я отвлекся. Я хотел обратить внимание на то, что Адам и Ева не очень-то сошлись характерами. Таков ли был замысел творца, змий ли внес свои поправки (недаром ведь говорится «бес в ребро» — не то ли самое ребро, из которого...), но никакой идиллии не было с того момента, как у Адама и Евы открылись глаза и они увидели наготу свою. То есть не просто наготу, а какое-то вызывающее несоответствие, чреватое неисчерпаемыми противоречиями.

Тут позвольте мне, старику, потревожить любимых писателей — именно наши русские писатели, склонные, как всегда, не только ставить, но и решать мировые проблемы, мучительно спотыкались о непреложный факт разделения человека на мужчину и женщину. Еще Гоголь воскликнул: зачем ты, Господи, родил на свет женщин? Чернышевский, идейный противник Гоголя, в этом пункте ему вполне сочувствует. В далекой сибирской ссылке он вспоминает восклицание Гоголя и идет дальше. Он пишет Юлиньке Пыпиной: «Когда-нибудь будут на свете только «люди»; ни женщин, ни мужчин... Тогда люди будут счастливы». А идейный противник Чернышевского — Лев Николаевич Толстой в этом пункте опять же совершенно с ним солидаризи-

ровался. Понятия не имея о письмах Николая Гавриловича, он за год до своей смерти записал в дневнике: «Всегда лучше... уничтожить в себе пол, если можешь, то есть быть ни мужчиной, ни женщиной, а человеком».

До чего только гении не додумываются! Великие умы не делают мелких ошибок. У них размах!

Однако не торопитесь проникаться чувством собственного превосходства. Если для нас, простых смертных, характерен недолет мыслей, то для них — перелет. Может, и не перелет вовсе, а слишком дальняя нацеленность — куда-то туда, за горизонт... Кто сказал, что человек — это последняя ступень развития? Плоть принадлежит предыдущей ступени, а дух — последующей. Дух, кажется мне, выше секса. Но всему свое время...

Адам увидел Еву (точней — открыл на нее глаза) и был потрясен. Во всем ее облике, в линиях ее тела была записана божественная музыка, немая и бессмысленная, пока не пробил час прочтения. Какая-то догадка вспыхнула слишком ярко и, следовательно, была еще непроглядной, но она уже была, как жизнь — задолго до осознания. Мы с рождения целиком и полностью живы, а смысл жизни тщимся познать до последнего мига, когда уже познавать поздновато...

Жизнь — это прежде всего действие, потому потрясенный Адам взял да и потянулся к Еве, а она, пронзенная тонкой иглой того же смутного озарения, вздрогнула и побежала. Правда, мимолетный испуг у нее скоро сменился дразнящей игривостью и волнением. Что же до Адама, то он, гоняясь за ней, рассвирепел... Потому что, надо сказать, бегал он долго. Однако (тут двух мнений быть не может!) догнал.

В том, что произошло далее, для вас, мои дорогие современники, нет ничего нового, и я глубоко сожалею об этом. Никому из нас не дано испытать того, что испытали они. Их первый раз — не наш первый раз. Наш первый раз подпорчен преждевременной и, как правило, дурной осведомленностью и нечистыми предвкушениями.

А они, сотворенные взрослыми, вдруг стали детьми. Они, как расшалившиеся зверята, катались по земле, им, словно слепцам, почему-то необходимо было на ощупь узнавать друг друга, и это было удивительно

и смешно до невозможности. Они с веселым изумлением обнаруживали свое прекрасное несходство и, обнаружив его, тут же еще и еще раз проверяли свое открытие, и это было все смешней и смешнее. Вот только смех становился все прерывистей, все беззвучней, и наконец осталась дрожь от смеха, а самого смеха — как не бывало. А в дрожи росло недоумение, дурнота, сладость и тяжесть, желание войти друг в друга, но руки не входили в руки, грудь не проникала в грудь, а надо было. Невыносимо стало пребывать в отдельности, в разных оболочках — напрашивалось создание единого существа, одного вместо двух, совершенного и самодовлеющего, как Бог. И, тычась друг в друга, они уже страдали от того, что медлило сбыться. Ева ни о чем не думала, она полагалась на Адама, а его внимание меж тем переключилось на внезапное изменение, происшедшее с ним самим. Это было преображение чего-то ничтожного во что-то нужное, главное, ставшее средоточием всего тела, и только благодаря ему и единственно через него можно было целиком и без остатка перелиться в другое существо. И это новое, главное, само догадалось и проникло в горячую глубь, и тогда оба засмеялись сквозь слезы от радости и заторопились, толчками вбиваясь друг в друга, расставаясь каждый с самим собой.

И в это время ударила молния, и теплый дождь пошел. И настала тишина, и опять выглянуло солнце, и увидело, что они лежат мокрые, тихие и счастливые.

Однако они не слились в единое тело. Первый это понял Адам, когда обнаружил, что, отдавшись целиком, оба остались при этом в отдельности. И, надо сказать, он не испытал никакого разочарования. Напротив, он подумал, что совсем не обязательно сливаться навеки в одно существо. Он даже острей почувствовал свою особенность и преисполнился неведомым ранее чувством торжества...

Так они открыли то, что им и полагалось открыть. До чего Господь хитер! Адам и Ева обнаружили, что созданы друг для друга, но при этом служили ради некоей цели, для них совершенно скрытой. Неужто истинная цель достигается всегда через подставную? Воистину — не ведаем, что творим, и это действительно мудро. А когда ведаем, то на самом деле не ведаем, и это очень глупо.

Адам и Ева, разумеется, не поняли, что натворили

(да и потом не улавливали никакой связи между своими частными играми и куда менее частым появлением детей), они отдыхали, обнявшись. Правда, Ева недоумевала, почему Адам вдруг отключился, ей представлялось, что единение, открытое ими, не нуждается в перерыве. А Адам в самом деле успокоился и блаженствовал как победитель, уверенный, что отныне он будет так поступать с Евой, когда захочет и сколько захочет. И по-кровительственно похлопал ее по спине...

Заметьте, Ева прислушивалась к своим чувствам, в то время как Адам соображал и делал скороспелые выводы. Адам, как только успокаивался, становился умником.

Ева, например, потянулась рукой к цветку, изумляясь его прелести, а Адам обратил внимание на то, как еще безымянная птица опустилась на тонкую ветку еще безымянного дерева. Ветка прогнулась и тут же подбрала птицу — та захлопала крыльями и перелетела на ветку потолще. В голове Адама мелькнуло предчувствие гениальной идеи — то ли лука, то ли пращи, то ли катапульты. То есть чего-то такого, что сделает его могущественнее, чем он есть. Оказывается, невозможное возможно... Но тут, радостно воркуя, Ева сунула ему под нос цветок подлинно райской красоты и неземного благоухания. Адам выпутил глаза и отскочил от цветка, словно от гада какого-то: все, мысль потерял, а могла ведь родиться идея!

Ева смертельно оскорбилась — какой, однако, чурбан! Она встала и ушла, а он сорвал ветку, сгибал ее и отпускал, пытаясь что-то додумать. Но получалось, что, оттянув ветку, можно кого-то шлепнуть. Вот и весь фокус. Можно Еву шлепнуть, она заслужила. Адам услышал тихое плескание и оглянулся — Ева полоскала ноги в ручье. Напряженный взгляд Адама смягчился, потепел — дескать, Бог с ней, с абстрактной идеей, когда доступна вполне конкретная...

Но конкретная идея обернулась какой-то неожиданной стороной, потому что когда он по-хозяйски загреб Еву лапицей, Ева вывернулась и столкнула его в реку, откуда ему пришлось, отфыркиваясь, выбраться и пуститься в погоню. Но на сей раз оказалось, что ее не догнать. Это было невероятно и весьма обидно. Адаму, набегавшись, осталось присесть на камень в позе мыслителя и подпереть подбородок рукой. Ева недоступ-

но красовалась на вершине холма, соблазнительно и стройно выделяясь на фоне закатного неба. Тут опять сработал ум первого мужчины. Адам глубоко вздохнул и, сорвав упомянутый райский цветок, не спеша направился к подножию холма. Потное лицо Адама расплылось в улыбке...

Оставим их, они знают, что дальше делать. Им хорошо, но я-то понимаю, что речь идет о решительном несходстве характеров, о бесконечной борьбе двух начал, застрахованной однако от окончательного разрыва полным отсутствием каких-либо альтернатив. Хотя призраки других вариантов, как предвестье будущего, нет-нет да и бродили вокруг них...

Ева еще не стала матерью, но ее великая материнская сила уже излучалась на все окружающее. Она умела разговаривать с дикими зверями, безбоязненно подходила к ним и трепала их по шерстке... Адам был охотником, он однажды, гордясь, накинул на плечи Евы прекрасную львиную шкуру, и, представьте себе, она в этой львиной шкуре заявлялась к живому льву, гладила его, а тот, не догадываясь о человеческой диалектике, мурлыкал по-своему, урчал и повиливал мощным хвостом...

Как-то Адам прислушался, и ему показалось, что неподалеку Ева с кем-то разговаривает, причем так ласково, как с ним в определенные минуты. Он стал подкрадываться сквозь чащу, и, чем ближе он подкрадывался, тем страшней распалялось его первобытное воображение. Неужто Бог взял да и сотворил еще одного Адама? Это возмутительно, Адам может быть только в единственном экземпляре! Никаких копий!

Ева сидела, склонившись, на берегу пруда, ее золотистые волосы почти касались тихой воды, большая рыба тянулась к ней, округлив рот, но не с рыбой же она беседовала! Адам неслышно встал за ее спиной, глянул и обомлел, увидев в воде врага,— а как иначе он мог истолковать собственное отражение? — он-то еще не знал, как он выглядит. В тот миг, когда Адам, грубо оттолкнув Еву, прыгнул в пруд, мужчина из воды тоже рванулся навстречу... Адам озверело грабастал воду руками, тучи ила взбаламутили пруд, и вскоре ревнивец катался по пояс в болоте, рыча и озираясь...

Перепуганная Ева пришла в себя и расхохоталась. Боже мой, как она хохотала! Адам встал как вкопан-

ный, мокрый, заляпанный грязью,— он страшен был, как исчадье ада и очень смешон...

Не до смеха стало Еве несколько месяцев спустя, когда она, с трудом неся свой ставший обузой живот, искала по лесу Адама. Ночь уже давно, никогда он так поздно не задерживался на охоте. Она долго окликала его, потом устала и просто брела наугад, осторожно ступая, чтобы не споткнуться в темноте. И вдруг открылась поляна, залитая зыбким лунным светом. И невдалеке спиной к ней стоял Адам, слегка нагнув голову и уронив руки — то ли в знак покорности, то ли как зверь перед прыжком. Впереди мелькнула гибкая женская тень с длинными до колен волосами — наверное, очень черными, потому что они поблескивали. В ее движениях было что-то стремительное, дразнящее — легкое и хищное одновременно.

— Лилит,— тихо позвал Адам.

Вздох ветра прошел по верхушкам деревьев, поляна переливалась в голубоватом свечении, никакой женской тени нигде не было. Адам еще ниже склонил голову и упал на колени...

— Кто это?— вскрикнула Ева.

Адам вскочил, отряхнулся и пожал плечами:

— Это я.

— Нет, здесь еще кто-то был.

— Откуда? Вот дура.

— Но ты позвал кого-то...

— Мне тоже тогда показалось — в пруду...

Но он не засмеялся. Долго и странно смотрел на бледное лицо Евы, на ее большой высокий живот...

Еве полагалось бы родить мальчика и девочку, а она, нарушив симметрию, родила подряд двух мальчиков...

Каин унаследовал и приумножил нечто слишком мужское, а Авель — иное, материнское, и примешал эти черты к своему облику. С тех пор и пошли разные мужские колена...

Ах, не ловите меня на слове — дескать, какое колено могло пойти от убиенного, не познавшего женщины Авеля?

Убиенного? Люди обладают удивительной способностью не замечать очевидного. Читают и перечитывают

трагическую историю первых братьев и не чуют подвоях...

Давайте призадумаемся: у Адама и Евы два сына, чудо рождения произошло дважды, а смерть еще неизвестна. Мог ли Каин задумать убийство, когда смерть даже не предполагалась? Мог ли брат, который непременно существует, взять и перестать существовать? Разве существующее можно отменить? Отменить солнце, воздух, землю? Просто Каин впервые на земле ощутил черную зависть и с прискорбной непосредственностью выразил ее в действии... Отвратительная картина, первая, но далеко не последняя — человек замахнулся на человека!

Пусть Каин не ведал, что творил, однако убийство есть убийство. Ведь сказано ясно: «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Да, но обратите внимание — что происходит с убийцей? А ничего. Он ведет себя так, будто он наш с вами современник, давно привыкший к убийствам, хотя произошло нечто доселе небывалое: живой человек перестал быть живым! Это потрясающее, необратимое, какое-то наоборотное чудо. Вряд ли предание умолчало бы о таком фундаментальном событии. Авель оказывается уже не Авель, и никакими усилиями его нельзя вернуть в прежнее состояние. Каин, наверное, сходя с ума от недоумения, переворачивал бы его, тормошил, окликал...

А тут еще Господь Бог, наблюдавший всю эту сцену, почему-то спрашивает:

— Где брат твой, Авель?

Почему он спрашивает, если жертва — вот она, лежит, раскинув руки, вся в крови? Тут наш сообразительный современник возразит: Каин закопал труп, поэтому его не видно... Закопал? Но, во-первых, от очей Божества ничего не скроешь, а во-вторых, откуда Каину было знать, что брат уже стал таким, что его надо закопать?

Тем не менее Каин отвечал:

— Не знаю; разве я сторож брату моему!

Здесь-то как раз и тайна! Мой взор давно был привыкан к этому эпизоду, потому что я с детства чувствовал себя потомком Авеля — как вам нравится этот аргумент? Я всматривался и увидел, что Каин, ослепленный злобою, ударил брата камнем наотмашь, тот упал, из его

белого тела совсем не белая, а ярко-алая жидкость потекла по земле, и вдруг Авель стал просвечивать, таять, несколько мгновений держались в воздухе его сквозные зыбкие очертания, потом он бесследно растворился — исчез.

Об этом в Писании не сказано, ибо Господь справедливо пожелал навечно оставить клеймо преступления на Каине, ибо нет и не может быть ему снисхождения и смягчающих вину обстоятельств, а об Авеле тайком позаботился — он был нужен ему для дальнейших дел.

Так вот, Авель исчез, а Каин немедленно сообразил, что это — как и всякое другое исчезновение или внезапное возникновение — не обходится без воли Господа, потому на риторический вопрос «где брат твой?» ответил несколько раздраженно — «не знаю». Чудеса, ясное дело, не по его, Каиновой, части. Да и откуда было ему знать, куда девался брат? На земле, на траве — только алые пятна да брызги...

И сказал далее Господь: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Вот это точно, совершенно точно. Кровь осталась, и она — на Каине и на всех отпрысках рода его.

Сверхъестественность исчезновения брата была, в конечном счете, весьма кстати для Каина — она избавляла его от больших затруднений. Родителям так и сказал: Господь, мол, приbral моего братца. А родители, на чудесах воспитанные, конечно, не возроптали. Недаром Писание ничего не говорит о том, как отнеслись Адам и Ева к исчезновению Авеля...

Но Каин крепко запомнил то, что ему открылось, и передал это открытие всем своим потомкам. Открытие потрясающей простоты: человека легко ликвидировать. Достаточно стукнуть его посильней, и Господь его приберет. В каждом Каиновом мозгу живет эта черная точка — попробуй ее выковырять оттуда! Это подлая, но подлинная истина, несчетное число раз подтвержденная всем опытом истории. И все-таки это — величайшее из всех заблуждений.

Почему, собственно, Каин и его потомки решили, что жизнь человека — это как раз то, что исчезает легко и бесследно, раз и навсегда? Кажется, и дураку ясно, что жизнь — высшая форма энергии, куда там камню с

его кинетической и потенциальной! Живая душа — мощнейшее средоточие энергии, особенно если речь идет о какой-нибудь гениальной личности, о чудеснейшем сгустке ее созидающей воли, скрытой за таким непрочным членом... А почему скрытой? Кто хоть раз видел глаза одаренного человека, тот знает, что излучают они, эти очи! Страшновато приковаться взглядом к глазам гипнотизера, но грош цена его воздействию перед гением, чья работа в душе народа сравнима только с горообразованием. Энергия гения действует поверх времени и помимо пространства. И запас ее неисчерпаем.

И вот какой-нибудь Каин умудряется уничтожить эту энергию, так сказать, на корню. Просто бьет гения камнем по черепушке, и мгновенно весь неистраченный творческий заряд его энергии исчезает начисто, превращается в ничто. Мыслимо ли это? Выходит, не живая энергия переходит из одного вида в другой, а живая — ни во что не переходит! Несмотря на то, что она — высшая форма энергии? Очень убедительно! Любой пацан знает, что нельзя безнаказанно совать пальцы в электрическую розетку, а вот сунуть нож в человеческую душу — можно, тут нечего бояться короткого замыкания... А может быть, ты просто не заметил, под какую вспышку облучения ты попал, убиец? Неважно когда и как это аукнется, но ты уже приговорен.

Каин первый решил, что все дозволено, если тебя никто не видит. Вот особенность, по которой можно распознать любого Каина: в момент, когда он уверен, что его никто не видит, он способен на любую пакость (Авель, как вы догадываетесь, ничуть не меняет своего поведения от того, видит ли его кто-нибудь или не видит!).

Каин непостижимым образом забывает, что все видит Бог, видит его глазами, глазами самого человека, поскольку он человек. Как он сам от себя скроет то, что натворил? Потому-то Бог и развеял иллюзию Каина, будто никто ничего не видел, и выдал свое присутствие, — потому-то этот вопрос звучит всегда, будет громом греметь всегда:

— Где брат твой, Авель?

А он, Авель, очнулся на берегу моря. Теперь оно называется Черным.

Авель убедился вскоре в полном своем одиночестве — первым на земле он узнал, что это такое. Ему пришлось заново осваивать мир, так и не разгадав тайну своего переселения. Голод не сделал его охотником, и он предпочитал питаться плодами и зеленью, лечился травами. Край, где он оказался, был благодатным, но Авель не мог там остьаться. Тоска гнала его в путь, он все шел и шел по берегу моря, надеясь, что эта черта, отделявшая землю и воду, непременно приведет его к дому. Он всматривался в окружающее, все примечал и обдумывал, узнавал повадки зверей и птиц, дружил с ними, по ночам разговаривал со звездами, и они кое-что ему рассказывали. Авель стал первым путешественником, и именно этот первый путник дошел до того места, где ныне мой город стоит...

Но сколько минуло времени, пока он дошел!

Это был нескончаемо долгий путь, тысячи раз всходило и заходило солнце, десятки раз чередовались времена года, а берег делал все новые и новые немыслимые повороты и ни к чему не приводил. Длинные волосы и борода Авеля побелели, он все меньше и меньше проходил за день, все чаще отдыхал. Но надо было вставать и идти, идти, тайная звезда вела его за собой.

И вот он, огибая пресный лиман, пустился вплавь через реку, но течение оказалось сильней, чем он ожидал (или он — слабей), и его отнесло в сторону лимана. Утомленный Авель лег на спину, отдавшись воле замедлявшегося течения, и глядел в чистое голубое небо. Ему казалось, что он парит под куполом. Так длилось долго. Когда он оглянулся — невдалеке виднелся берег, солнце тоже тихо склонялось туда.

Шагов за сто от земли от увидел сквозь прозрачную воду песчаное дно и, коснувшись его пальцами ног, вдруг преисполнился чувства необыкновенного покоя, давнишнее напряжение души растворилось, глаза увлажнились слезами. С чего бы это? Никакой особенной красоты и величия не предстало его взору. Спокойная гладь воды, даже не голубоватой, а просто чистой, прозрачной, с едва уловимым золотистым отливом, за ней — ровный, местами мягко всхолмленный берег, рощицы, кусты, стаи непуганых птиц — вот, пожалуй, и все. Если не считать еще чего-то, совокупного, составленного из единственного в своем роде сочетания неба,

земли и воды, похожего на зов и подсказку — вот, мол, три части целого, недостает еще одной части — тебя. Тогда получится именно то, чего ты хочешь, хотя ты еще не понял, чего хочешь...

Авель, смутно волнуясь, медленно вышел из воды и сел на прибрежный камень. Он на мгновение смыгнул глаза, но, наверное, заснул, потому что, приоткрыв веки, увидел, что блестательный солнечный шар уже коснулся земли. Молодая богиня шла по берегу прямо на Авеля. Ее длинные волосы не висели, а, колыхаясь, плыли в воздухе, но босые ноги оставляли ясные следы на мокром песке.

Это явление его ослепило, он крепко зажмурился, но на темном внутреннем фоне век простило багровое круглое пятно солнца и белая светящаяся фигурка девушки. Авель, задохнувшись от счастья и ужаса, вновь открыл глаза. Тут и девушка заметила его, вскрикнула, побежала и скрылась в рощице. И вот ее нет, словно и не было. Но между «нет и не было» и «нет, но было» есть колossalная разница.

Ее нет, но уже невозможно с этим согласиться. Однако встать и погнаться за ней было еще невозможней. Потому что Авель никогда не был охотником и уже навсегда постарел...

Что же оставалось? Сидеть, окаменев, на камне и молча звать ее, звать всей болью угасающей жизни...

Авель, знаяший повадки птиц и зверей, угадал, что она, скрывшись, наблюдает за ним. И он не шевелился и даже взгляд отвел в сторону. Потом еле слышно запел. Этому он давно научился у птиц и у звезд, научился разговаривать песней лучше, чем полузабытыми словами. Он пел, незаметно, плавно усиливая голос, всем существом понимая, что он поет так в первый и последний раз, что теперь песня — это он весь, целиком, без остатка, и больше того — это все, что в состоянии быть после него.

Он просил, манил, обещал, притягивал, но главное в песне было то, что она была чудом, была именно песней, то есть чем-то живым и прекрасным. Потому и Авель, поющий песню, стал прекрасен, и излучал такое сильное притяжение, что воздух вокруг него засвертился. И девушка сама не заметила, как постепенно вышла из укрытия и стала тихо приближаться, и улыбка появилась на ее губах. Она еще помнила, что надо

опасаться чужого, что с тех пор, как она ушла далеко от дома и заблудилась, не встречала ни одного существа, подобного ее родне, да и вообще праотец Адам говорил, что, кроме них, нет людей, ибо он был первым и единственным их родоначальником.

А потом она и этого не помнила. Она очарованно и благодарно приближалась к Авелю, словно в песне самое важное — быть как можно ближе к ней. Словно надо прикоснуться к существу, от которого песня исходит.

Вот она в двух шагах от него присела, заслушавшись. Овечья шкура внакидку пересекает ее тело наискосок, одна грудь со вздернутым соском простодушно обнажена, и изгиб ноги выступает до самого бедра. Девушка жадно впитывает в себя прекрасную песню сего человека, губы полуоткрыты и пытаются схватить и повторить эти необыкновенные звуки, но это почти не удается, потому что дыхание стеснено от восторга. От нее исходит такое милое и глупое тепло, что Авель чувствует угрозу — песня может замутниться, оборваться, и тогда развернется пустота и через нее нельзя будет переступить. И потому в песню вторгается боль: я шел к тебе вдвое, втрое больше времени, чем ты живешь на земле, я обошел море длиною в жизнь, я не позволил себе умереть, не увидев тебя, но сейчас у меня ничего не осталось, кроме песни, она поманила тебя ко мне, и до тебя рукой подать, и этот последний шаг ты должна сделать сама, иначе твоя дикая молодость, твои резвые ноги прочь тебя унесут, и я закричу, и мой крик заставит тебя содрогнуться и убежать еще дальше. Видишь, тень твоя достигла моих ног, воздух порозовел от заката, вечерний ветер рябью пробежал по воде, я всей спиной чувствую, что в высоте появилась острая, как дрожь, первая звезда...

Прекрасной песне почему-то больно, так больно, что непременно надо коснуться ее ладонями, а лучше просто прижаться. И когда девушка делает это, сразу наступает тишина, но это не значит, что песня пропала — она вошла в нее и в него, потому ее и не слышно, она замкнулась в них, как жемчужина в створках раковины. Песня вошла в нее и в него, но это одна и та же песня, она сливается в одно русло, и небо кружится от заката до первой звезды. Сильное, молодое, согласное чудо торжествует на земле, и на последнем высшем

всплеске наконец замирает время. Песня допета, солнце село, среди множества высыпавших звезд появилась еще одна...

Счастливая девушка лежит на земле и не спешит открыть глаза. Она во чреве чувствует тепло, а в сердцевине этой темной теплоты мерцает острье новой звезды.

Она долго прислушивается к себе и только много времени спустя вспоминает того, кто пел песню. Она приподымается, оглядывается, а его нет нигде. Она его кличет, бежит то к берегу, то от берега и, набегавшись, засыпает у камня, где он сидел. Ночь прохладна, но камень, прогретый солнцем, еще дышит теплом.

Долгие дни она все ищет того, кто пел песню, пока не догадывается, что он скрылся в нее, что он и есть та самая острая искорка, которая хочет расти в ее глубине. И тогда, улыбнувшись, она ласково поглаживает лоно свое и уходит...

И она вернулась в Адамов род и подарила ему мальчика. Она говорила сыну:

— Мы пели песню.— И добавляла: — Он — это ты. Неужели ты не помнишь ничего?

И мать часто пела сыну — ту ли песню, или пересочинила по-своему — кто знает? Мальчика назвали не Авелем, а иначе, но матери по ночам что-то снилось, она вскакивала, тревожно вглядывалась в лицо сына, будила его, тряслась за плечи:

— Как тебя зовут? Ну, скажи! Вспомни!

Он пугался, она покрывала его поцелуями, пела на ухо, успокаивая. И рассказывала, что где-то далеко плещется море, а у моря есть речной залив, а на берегу — камень, который дышит теплом даже в холодную ночь:

— Ты помнишь, ты сидел на том камне, ты был седой и усталый, ты устал от первой жизни и хотел начать вторую, а для этого нужна была тебе я. Я была глупая, не понимала, ты мне песней объяснил. Расти скорее, пойди туда, и ты сразу все вспомнишь. И скажешь мне свое имя, и расскажешь, кто ты такой...

Пришло время, мать умерла, и он забыл ее просьбу. Верней, не забыл, а как-то заслонил бесконечными мелкими хлопотами, которые, как всегда, выглядят крупней...

Колена Адамовы множились и расселялись по земле. У сына Авеля уже были дети и внуки, когда во сне при-

шла к нему мать и сказала ему, что пора идти, больше нельзя откладывать, время жизни его уже истекает... И указала ему путь.

На рассвете он собрал своих, и они отправились к морю.

Они пришли через много дней и ночей, и он сразу узнал и берег, и холмы, и камень. Солнце клонилось к закату, волны плескались тихо, птицы кричали. Камень действительно был теплый.

Тогда внук Авеля, сам уже немолодой, глянул на отца, упал на колени и воскликнул:

— Ты и вправду он. Ты сидишь на камне седой и усталый. Пришло время вспомнить и петь.

...Так воскресает песня, когда угасает жизнь. Так через песню передается дальше вечная нить, которая никогда не обрывается.

Так потомки Авеля открыли мой будущий город и звели первое жилище.

Так среди человеческой пестроты есть мужчины и женщины Авелева рода и Каинова рода. Я их легко распознаю.

Лет через десять после войны жил у меня на квартире молодой ученый, теннисист, пловец и ловелас. Он торопился использовать отпуск на полную катушку, приходил поздно, уходил рано, иногда не ночевал вовсе. Так что общаться нам было некогда. Но однажды все-таки выдался денек, когда он вернулся к ужину и никуда не спешил. Был он то ли усталым, то ли грустным, короче говоря — элегически настроенным, а меня хлебом не корми — дай побеседовать на отвлеченные темы. Особенно люблю поговорить о жизни и смерти. И что вы думаете? Оказалось, что молодой постоялец до того ученый, что ему все ясно. Смерть, сказал он, окончательна и обжалованию не подлежит. А жизнь — это форма существования белковых тел, высший уровень самодвижения материи. В одном месте движение прекращается, в другом — начинается...

Что, изумился я, просто форма движения? Какие-то элементы двигались, тасовались, пока не составили удачную комбинацию? Именно так, говорит он, именно так. Нет резкой границы между живым и неживым. Живые организмы постепенно усложнялись, и вот, на-

конец, мы с вами сидим и беседуем. Значит, говорю я, вспоминая слова Льва Николаевича Толстого, сказанные по адресу Дарвина, из всего что угодно может получиться все что угодно, если ждать достаточно долго? Моему собеседнику это очень не понравилось, он привел знаменитое выражение вождя о писателе — «юродствующий во Христе». Слово за слово, оказалось, молодой ученый склонен предположить, что Христа не было — нет никаких достоверных исторических свидетельств. Вот так довод! Есть исторические справки о Магомеде — значит, все в порядке. А у Христа справки нет — значит, его не было. Все дело в справке? А Нагорную проповедь сочинили коллективно, да? Собрались не очень грамотные апостолы, вдохновились и придумали нечто гениальное? Дюжина авторов не годится даже для стихотворения, автор тем и хороши, что он один. Как Бог! А ученый мне — смеялся:

— Еще скажете, что Христос воскрес? Ладно, я пойду погуляю...

Он пошел, а я задумался. Не об ученом, нет. Просто мысли потекли своим ходом. Действительно, в Воскресении Христа есть тайна. Ведь Он не просто воскрес, как Лазарь, который, по-видимому, вернулся к прежней жизни, продолжил ее, а потом опять умер. Нет, Христос не стал таким, как прежде. Являясь ученикам, Он был как бы уже не здесь, но еще не там... Почему Он так поступил? У моего ученого квартиранта, разумеется, тут же найдется готовый ответ: просто никакого воскрешения не было и не могло быть (разве что проповедник кое-чему научился у йогов). Ежели, грубо говоря, апостолы выкрали тело и могила оказалась пуста, то подобная проделка, породив легенду о чудесном Воскресении, не могла все же вернуть распятого в ряды живых и здравствующих. Потому пришлось вознести его на небо. Тем более что роль была уже сыграна и исчерпана до конца...

Для верующих тоже все просто. Христос — Сын Божий, а не какой-нибудь Лазарь. Сын Божий был временно как человек среди людей и, приняв за них страдание и смерть, восстал из мертвых и вернулся к Отцу своему...

Я прислушиваюсь и к тем и другим, но не слушаюсь. Я привык вглядываться в загадочное, вглядываться до тех пор, пока в нем проглянет прозрачность. Так и в

этом случае. Мне вдруг привиделось нечто такое, от чего я вздрогнул и нервно расхохотался.

Во-первых, очевидно, что Христос воскрес. Только безнадежный дурак и слепец этого не видит. Когда Его распяли, кто знал о Нем? Горстка людей. Если бы Он просто умер, на том бы дело и кончилось. Но случилось чудо. Христос сегодня, через две тысячи лет, охватил собою полмира, воплотился в сотнях миллионов любящих и верующих в Него сердец. Он более чем жив! И обещает нечто большее в будущем.

Во-вторых, может быть, Христос намекнул, что существует не только жизнь и смерть, а что-то еще, нечто совсем другое, нежели воскрешение в виде восстановления жизни. Переход в иное состояние — вот что Он продемонстрировал на собственном примере. Намекнул на перетекание жизни через узкое горлышко, именуемое смертью. Гарантия бессмертия? Погодите ликоваться. На практике это жесточайшая из лотерей. Выигрышный билет достается одному из сотен миллионов — все равно, что никому. Люди все-таки смертны, жизнь у них прекращается необратимо. У всех, да не у всех... Есть единицы, которые... Которые, как Христос.

Вернулся мой ученый в приподнятом настроении, несмотря на темноту, принял душ во дворе, съел салат из помидоров и снисходительно выслушал меня. Нежели я хочу сказать, что умирают все, кроме некоторых? Да, именно так, и более того. Исключения выше правила, правило — ради них! Чем безумней, тем истинней, поняли? Смутно брезжит догадка. Как бы вам объяснить?.. Возьмем грубую модель. Живет себе человек, занимается какими-то делами, а внутри него рождаются и живут миллионы живчиков — целый замкнутый в себе мир, понятия не имеющий о внешнем мире. Все сперматозоиды смертны, да не все. На другом уровне происходят события, никак от них не зависящие. Мы здесь называем это любовью, сексом, а там — катастрофа, взрыв, изгнание, массовая гибель. Однако сгущенные единицы вырываются в иной мир через узкое горлышко, но никогда никому не могут о том поведать за отсутствием обратной связи!

Внутри своего мирка им никогда не догадаться о своем предназначении. Один мир находится внутри другого, и диалог между ними невозможен. Кстати, и в пространстве есть точки, между которыми немыслима

связь. Как, например, провести прямую между точками А и В, если А внутри атома, а В у меня на листе бумаги?

Я вполне могу себе представить среди микроскопических живчиков-головастиков некоего ученого, похожего на вас, мой друг.

Ученый доподлинно знает, что все его сородичи смертны, железные факты целиком на его стороне. Есть и чудаки, прозревающие бессмертие, но у них с фактами плохо... Тем не менее время от времени один-единственный счастливчик через какой-то тоннель попадает в иной мир. Тыкается головой во что-то вроде другой планеты и тут же преображается, включаясь в таинственный акт творения новой живой Вселенной.

Только один из миллионов — это почти ноль, с точки зрения теории вероятностей. И все-таки это на земле происходит так часто, можно сказать — бесперебойно, непрерывно, ежеминутно и ежесекундно, как самое зияющее событие. Зачатие! С точки зрения отдельного случая — дело немыслимое, а вообще — гарантированное. Вот вам и чудо!

Теперь, если вы согласны от грубой модели сделать шагок в сторону величайшей тайны, то я могу вам шепнуть: на нашем личностном уровне выбор этих «единиц» не случаен, он осуществляется вовсе не механически, в силу закона больших чисел, а как-то иначе. Сумейте быть Христом, тогда и попадете на седьмое небо!

Знаете, здесь за несколько веков до Рождества Христова жил философ Антисфен Тирасский, автор трактата «Рассуждения о внутреннем и внешнем». Антисфен, в частности, утверждал, что скопище людей (род, племя, народ) стремится выразить себя в одном человеке. Не в том пошлом смысле, что толпе нужен повелитель. Отнюдь. Речь шла, говоря по-нынешнему, о фокусировке духа. Антисфен учил, что население страны и ее народ — не одно и то же. Население — это сегодняшняя листва, народ же — понятие ствольное, корневое. Листва меняется ежегодно, а ствол наращивает кольца поколений. Потому народ видимой своей частью отражается в сегодняшних жителях, а невидимой — простирается глубоко в прошлое и программирует будущее. В населении бывает всякое, в народе — сущность. Народ стремится выразиться в гениальных личностях, миллионы через узкую горловину лично-

сти прорываются к высотам духа. Жизнь распространяется не только вширь, как биосфера, но и как стрела, вырывающаяся из нашей системы за пределы космоса (я пересказываю его рассуждения на языке современных понятий).

Мой молодой ученьи протер очки байковой тряпочкой, посмотрел их на свет и улыбнулся:

— Любопытно, даже весьма занятно. Этот ваш древний грек — первобытный материалист, который хитро заигрывает с идеализмом. Дайте мне его почитать.

— Не могу, его рукопись сгорела.

— Не понял.

— Сгорела прямо на его глазах. Варвары напали, понимаете. Тирас, так назывался тогда наш город, был на пути всех орд. Увы, трактат был в единственном экземпляре, даже копий не осталось. Это большая потеря.

Ученый как-то нехорошо посмотрел на меня и ушел в свою комнату, не сказав «спокойной ночи».

— Жил-был столичный писатель, очень уж был молодой...

Зашел я как-то к Аристиду Аристидовичу и застал его сидящим в садике с раскрытой книгой на коленях. Он грустно посмотрел на меня, кивнул в ответ на приветствие и некоторое время невнимательно слушал мои сообщения о том, о сем. Потом сказал:

— Нет, всякий раз как заглядываю в эту книгу, удивляюсь. Помню ее автора. Ладный такой парень, спортивного вида молодой человек, вдобавок писатель. Он увлекался девушками и парусниками. Он приехал из самой столицы, из Бухареста, и, конечно, на нас посматривал сверху вниз. Был он неглупый и симпатичный, но следовал тогдашней моде в румынской литературе: герой противопоставлял себя провинции, быту. Мне казалось, что ему у нас хорошо, он живо всем интересовался, часто хохотал и рассказывал анекдоты. Вскоре после его отъезда Бессарабия перешла к русским, потом началась война, я и думать о нем забыл, как вдруг у моего квартиранта, румынского офицера, увидел книгу: Раду Тудоран «Un port la Răsărit», то есть «Порт на Востоке».

Ты знаешь, роман читается, написан умело, талантливо. Но, Боже мой, какие у автора глаза! Или, если хочешь,— очки. У моего Феди в ту пору была такая оптика: здесь тьма, там, у красных — свет. У Раду Тудорана наоборот: на том берегу — тьма, а за спиной (видимо, в Бухаресте) свет. Но в одном они сходились — к месту или не к месту осуждали этот город. Чем-то он молодежь не устраивает...

Так вот, писатель верно увидел уйму всяких подробностей: и как печи у нас ставятся в простенке, чтобы обогревать несколько комнат сразу, и какие у нас абажуры и керосиновые лампы, какие деревянные ворота с маленькими калитками и медными ручками, какие высокие кровати, самовары, как у нас катаются на лодках с патефоном... Но образ города — это нечто! Оказывается, можно и так видеть... Порт, от которого нельзя плыть вперед.

Послушай, я кое-что тебе перескажу, а кое-что переведу с листа.

Автор утверждает, что в нашем городе люди ходили, глядя под ноги, отягощенные заботами, и не обращали внимания на то, сколько красок расцветало вокруг. Они как бы по инерции продолжали сажать деревья, окапывать кусты сирени, поливать цветочные грядки. Порой налетали бурные ливни и ураганные ветры, приносящие тяжелые тучи песка из степи. И тогда очевидной становилась скорбная юдоль этого города, зажатого между степью и лиманом.

...Город кажется затерянным островом вдали от судоходных путей. К пристани причаливает только местный пароходик, и тот словно ежится под пристальным взглядом государственной границы... Люди, которые выходят к берегу, еле двигаются, и в болезненной их дремоте ни один платочек не взвивается, приветствуя корабль.

Автор полагает также, что среди беспросветных забот город, скорей всего, позабыл славную историю своей Белой крепости. К вечеру он, окутанный тупой тишиной, продолжал свою жизнь впотьмах — по домам или в погребках, едва освещенных, задыхающихся от табачного дыма,— продолжал жить бедной жизнью, обделенной любовью и удалью.

...Пьянство их неизменно добропорядочное — даже если их выдворяют из погребка на улицу, они ни к кому

не пристают, не поднимают шума. Бредут восьмьи, кроткие, осмотрительно держась за ограды...

Некий Ронский, бывший русский офицер, вполне поддерживая настроения нашего румынского героя, говорит ему: «Это проклятый город, город, который тебя медленно убивает, от которого ты не можешь оторваться, в который погружаешься, как в темноту. Город пьяничек и потаскунов! Все племена здесь перемешались, все плоды скрестились, все навозные кучи цветут пышным цветом...»

А хочешь про любовь послушать? Она у него весьма красноречивая: наш герой порою встречал на улице девушку, дрожащую от холода в своем пальтишке. Я, пишет он, клал руку ей на плечо с привычной нежностью, как старой знакомой, и вел к дому, к теплу.

— Ты Ольга?

— Нет, я Женя. Ольга совсем другая. Вы познакомились с ней?

Да и кто упомнит их имена? Вера, Мура, Женя, Маня, Оля, Мила, Таня...

Герой завел Мусю, первую городскую красавицу, к себе. Она вместо того, чтобы лечь в постель, первым делом прильнула к патефону.

— Не дашь еще одну пластинку поставить? — глядя на меня своими детскими глазами, попросила она уже на краю постели.

Я схватил ее за руку и потянул на себя.

— Дай, прошу тебя, послушать еще одну пластинку. Только одну, умоляю!..

И наконец, такая сцена: наш герой гуляет с барышней ночью на городском кладбище.

— Линда, — прошептал я сквозь зубы, почти что прокрежетал, — меня вы не закопаете здесь. Хороните здесь Ронского и весь род ваших подонков...

— Прошу тебя, успокойся! — взмолилась она. — Ты напился и пугаешь меня! Прошу тебя, не говори так!

...Тогда новая волна гнева охватила все мое существо. Я толкнул руку под юбку вдоль ее жестких ног и рывком обнажил ее, разорвав бельишко. В самой этой грубости, с которой я наваливался на нее, мне почудилось в тот пьяный миг, что я свожу старые счеты со всем городом...

И дальше — опять нашему герою русский говорит то, что он хочет услышать:

— Вы должны уехать отсюда. Вы ничем не обязаны этим людям. Вы прибыли из ясного улыбчивого латинского мира, а соседство нашего славянского мира приблизило их к мраку. Уходите отсюда, пока еще не забыли обратную дорогу — к свету.

Бескрайний, сумрачный, опрометчивый мир славянства! У нас все огромно, немыто и хмуро. Гляньте на тот берег, там всегда черные тучи. Они простираются над столь же черным царством... Уезжайте отсюда, от этой границы, от края этого шального славянского мира, который не очень-то знает разницу между счастьем и несчастьем, между ночью и днем, между дьяволом и Богом.

Вы созданы не из той косной глины, из которой слеплены мы. Нас жизнь сгибает, и мы живем так... уткнувшись лбом в землю. На вас это действует разрушительно, вы не признаете середины, смирения. Мы же склоняем голову и говорим: «Ничего!» Вот все, что мы знаем про нашу душу. Вот слово, которое нас всех объемлет... Вам надо уйти отсюда, вы из расы, которой противопоказана славянская душа с того берега, с той стороны...

Жена Ронского, естественно, пытается соблазнить нашего героя. Но он уже созрел для ухода и вот как реагирует на это:

— Город протягивает еще одну руку, чтобы меня задержать... Шлюха с пахучей кожей! Шлюха, потому что ты из рода шлюх, выросла на почве, где растут шлюхи...

Хватит, наверное. Нет, еще два кусочка:

«Люди гуляют по улицам под блеклым предосенним солнцем. Их не отличить, они сливаются в змею, скользящую вдоль тротуаров. Это не люди, это сам город. Если вонзить нож, из одной раны вытечет вся их кровь».

Сильный образ, не отрицаю. Но вот идиотский вывод, который не скрасишь даже скидкой на петушиную молодость автора. Он задается вопросом:

«Что происходит здесь? Ровным счетом ничего особенного. Глядя на этих пьяненьких горожан, на этих девиц, которые ходят из постели в постель, чтобы согреться, нельзя не сказать: жизнь этих людей вызывает

отвращение, ее невозможно описать, потому что она губит художественное чувство».

Невозможно? Ну, рассмешил меня писатель, рассмешил...

Но Аристид Аристидович не только не улыбался, он был задумчив и печален.

*Где Итака твоя, Одиссей?
Одиссей в неожиданной роли —
Ты под ветром, как дерево в поле,
Никогда ни на шаг от корней.*

Одиссея отца

*Если полон ты листьев веселых,
Значит, полон и трелей и гнезд,
Если ветви и немы и голы,
Значит, ночью полны они звезд...*

Среди ночи проснулись, как от толчка. И толчок был. Завыли собаки. Послышался скрежет и колокольчата́й звон посуды в буфете. Пол вздрогнул, как бы силясь приподняться. Отец вскочил, зажег свет и скомандовал:

— Живо! Становись в дверную раму!

Мы бросились к отцу и застыли в дверном переплете, как семейная картина. Абажур раскачивался маятником. Жутко скрипя, растворился шкаф. Раздались крики во дворе, топот по коридору, хлопанье дверей... Рассказывали потом, что советская телеграфистка, которая подтрунивала над верующими, выскочила тогда на улицу в ночной рубахе, била поклоны, крестясь, и выкрикивала имя Божье...

Эпицентр был далеко, в Карпатах. Землетрясение, кроме трещин в стенах, не причинило городу ущерба. Но пошла упорная молва, что это знак — будет война.

Отец смеялся. Бабы разговоры. Никакой войны не будет.

Весной дядя Митя шепотом передавал слова одного крестьянина. Будто бы ехал русский солдат на грузовике и вдруг увидел бурдюк на дороге. Шофер вышел из кабины, приподнял мешок — тяжелый. Развязал его и отскочил в ужасе. Бурдюк был полон крови. Случился тут на дороге старик, борода лопатой. Шофер — к нему: так, мол, и так, что бы это значило? А старик только и сказал:

— Война...

Отец отмахивался — сказки! Ну какой, объясните мне, смысл Гитлеру бросаться на Россию, когда у него за спиной недобитая Англия, когда еще гремят пушки в Греции?.. Нет, по крайней мере в этом году войны не будет.

Советские бойцы и командиры жили спокойно, многие ждали летних отпусков. А кумушки все каркали и каркали, аж тошно становилось.

Как раз перед самой войной кумушки примолкли, утомившись. Потому война поразила всех своей неожиданностью наравне с другими.

Война. Здравый смысл протестовал, не соглашаясь. Абсурд. Внезапные стихийные бедствия — и те обусловлены причинами. А война — дело умышленное, тем более должны быть причины. Но где они? Советский Союз соблюдал договор с Германией, а та своего добилась в Европе, и незачем ей было лезть на рожон. Похоже на то, что ты, глядя на шахматы, логично оценил позицию, а партнер в ответ стукнул тебя доской по башке...

Отец узнал, что утром, после ночной стрельбы в дунайской дельте, вышел боевой листок пограничников с призывом «не поддаваться империалистической провокации на Дунае». То есть и там в голове не укладывалось, и там поначалу не произнесли имени противника и не назвали войну войной, а с ходу уложили ее в нечто наиболее вероятное, допустимое, повторяющее, на худой конец, Халхин-Гол...

В полдень выступил по радио Молотов и назвал войну войной.

И все равно еще не поняли до конца. Как же так? — без ссоры, без ультиматумов, без мобилизации, с бухты-барахты? Весь Лиманск болезненно переключался с воскресного дня на войну. С воскресного дня, казавшегося предопределенным: рыбалка, пляж, гости, в Доме культуры лекция о международном положении, после нее кино и танцы...

На лекцию повалили все, неизвестно на что надеясь, но специалист по международным вопросам не явился — его отстуканный на машинке доклад за ночь превратился в постыдную нелепицу, которой место в корзине. А своих слов у лектора не нашлось.

Дом культуры был просто-напросто заперт.

После обеда братья Столянские вышли на прогулку.

Они шли под ручку и улыбались, щурясь от солнца,— целую неделю лепили фигуру виноградаря, наконец закончили и были довольны. Теперь лиманцам полагалось расспросить их, узнать, в чем дело и поздравить с удачей. Но расспрашивать пришлось им самим. Понесяв неладное, они робко подошли к зеленому ларьку одногого дяди Илюши, который ничего не отпускал, а, навалившись на прилавок, слушал отца, дядю Митю и Аристида Аристидовича. Старший Столянский несколько раз потянул Аристида Аристидовича за рукав, пока обратил на себя внимание.

— Что случилось? — спросил мягко Столянский.

Аристид Аристидович уставился на него удивленно и произнес ему в ухо: «Война!» — именно произнес, а не крикнул, потому что это слово было еще невозможно отчеканить громко, во всеуслышание.

— Вина? Чья вина? Или вы хотите выпить вина? — вспомнился Столянский.

Тут все заговорили разом, отчего братья совсем растерялись. Они дергали головами, поворачиваясь от одного к другому, стараясь прочесть по губам.

— О Господи, перестаньте! — сказал Аристид Аристидович. — Не вина, а война! — И повторил раздельно, одними губами: — Война!

Но старички почему-то все больше пугались и не понимали ни черта. Тогда все, следуя примеру Аристида Аристидовича, стали беззвучно лепить губами два этих страшных слова: «Вой-на. Вой-на». Прямо в лицо им... И наверное, они поняли. Потому, что съежились, ссущились и засеменили дальше. Домой? Или еще спрашивать?

С опозданием узнали и сестры Тержановы. Аня вдруг приободрилась и перестала напрягать слух. Она не дослушала, пренебрегла подробностями. Ей уже было ясно:

— Наконец-то! Теперь большевики освободят весь мир, вот увидите! Все угнетенные поднимутся, сбросят свои цепи, отзовутся на клич свободы и братства! Боже мой, Боже мой, вот и я дожила до этой радости! Я увижу, увижу!

Соня сокрушенно качала головой, глядя на помолодевшую, сияющую Аню, и повторяла:

— Дура ты, дура, дура стоеросовая... Помешалась на этой свободе... Тебе-то зачем?

Аня заметила, что никто не разделяет ее восторга, что от нее отходят смущенно. Все, что у нее было на сердце, она со слезами на глазах высказала Соне:

— Смотри, они, мне кажется, боятся войны. Это грустно, Соня. Понимаешь, их уже освободили, теперь до остальных и дела нет. А разве так можно? Сколько страждущих ждут помощи, стонут под игом королей и богачей! Стыдно нам, стыдно оглохнуть в довольстве, пойми ты это!

Для отца безумие Гитлера было очевидным. Он разобьется насмерть о Советский Союз. И очень скоро. Потому у него настроение было хоть и серьезное, но бравое.

Единственное, что его беспокоило,— близость границы. Могут случиться налеты или обстрелы с моря. Потому он стал хлопотать, чтобы ему дали разрешение вывезти семью недели на две в Одессу. Одесса по-настоящему охраняется, туда наверняка не прорвется ни один вражеский самолет...

Мама ревела, не хотела покидать родной город. Я был в восторге. Война меня взбудоражила, она сулила уйму нового и интересного. Одесса — это первый крупный город, который мне предстояло увидеть.

Для встречи с Одессой отец приоделся: летний серый костюм из английского шевиота, модные светло-коричневые туфли и велюровая шляпа. Коротко подстриг свои, похожие на чаплиновские, усики, вместо очков нацепил золотое пенсне. В такой город, как Одесса, неудобно являться запросто...

Но с первых же шагов почувствовал, что дал маху: на него оглядывались, как на чучело. Какие-то мальчишки стали встревоженно перешептываться: «Шпион! Шпион!» И первый же милиционер потребовал у него документы. Отец рассмеялся и сказал, что шпионы на то и шпионы, чтоб не бросаться в глаза. Милиционер оскорбился, долго изучал паспорт и пропуск:

— Значит, Алексей Михайлович?.. Понятно. Что ж, следуйте дальше, Алексей Михайлович.

Его еще несколько раз задерживали. Надоело доказывать, что он нормальный советский гражданин. Добравшись до Разумовской, где он устроил нас на квартире, узнал, что милиционеры уже наведывались и туда, проверяя, как и что...

Костюм пришлось сменить.

На второй день отец вернулся в Лиманск, где работал главным бухгалтером Леспромсоюза. Дома его ждала повестка из военкомата. Тогда же выступил по радио Сталин, и отец понял, что дело оборачивается куда серьезнее, чем казалось. А казалось из-за этого дурацкого Лиманска. Только в районе Лиманска фронт обманчиво стоял на границе, будто и везде так... Да, от Лиманска следовало ожидать какого-нибудь фортеля, это было в его духе...

Из кусков старого сукна тетя Роза сшила отцу заплечный мешок, в который он уложил две смены белья, носки, носовые платки, бритвенный прибор, мыло и полотенце. Взял еще сумку на «молнии» (мама с ней ходила на базар), запихал туда кое-какие продукты, кружку, ложку, и, разумеется, побольше табаку, спичек и папиросной бумаги.

Пора было уходить. Комната еще дышала домашним довоенным укладом. Привычный порядок был лишь слегка нарушен да окна заклеены полосками бумаги, чтоб не лопнули при бомбежке. Щемящая, жалкая защита... Закурил напоследок. Поискан глазами пепельницу и вдруг подумал, что теперь можно пепел и на пол стряхнуть: семейный уют перечеркнут, как окна — крест-накрест — теми полосками...

Подумал, а все-таки пепельницу нашел. Отдал ключи тете Розе, попросил ее присмотреть за вещами и ушел, не оглядываясь. Началась его одиссея.

В назначенный час явился в военкомат, где уже собралось более тысячи мобилизованных. Никакой медкомиссии не проходили, просто представлялись военкому, тот отбирал паспорт (советский, недавно полученный...) и кидал в ящик.

Что греха таить, некоторые лиманцы тут же вспомнили все свои болезни — радикулиты, язвы желудка, сердечные заболевания, — но военком отвечал уверенно:

— Ничего, ребята, на свежем воздухе все пройдет...

И как в воду глядел. Недели через две недомогания как рукой сняло, лиманцы вкалывали за милую душу.

Вкалывали — потому что всех поголовно определили в строительный батальон.

Странный батальон. Молодежи почти не было, а ремесленников или мастеровых — кот наплакал. Десятка три плотников и слесарей, потом столько же сапожников, парикмахеров, поваров. Остальные — то есть

решительное большинство — инженеры, учителя, адвокаты, бухгалтеры, торговые и учрежденческие служащие...

Вечером, построившись поротно, выступили из Лиманска. Отмахав за ночь около сорока километров, к четырем часам утра пришли в село Паланка на берегу Днестра, где расположились на ночлег. Но в начале восьмого подъехала походная кухня, запряженная грустной лошаденкой. Всех разбудили и накормили жидким супом. Затем вывели в поле, раздали инструмент, привезенный на двух подводах, и указали, где рыть окопы. Смешно было смотреть, как осторожно длинными пальцами Яша-скрипач взял лопату, как зубной врач Иванченко с опаской поднял лом, как с любопытством оглядывал кирку адвокат Ивановский, бывший первым советским мэром города Лиманска.

Задание было точным: каждому выбросить четыре кубометра грунта. Лиманцы смекнули и стали работать попарно: первый копает, второй выбрасывает, потом наоборот. К полудню все равно выбились из сил. Спина разламывалась, руки в кровавых мозолях. Мастеровые смеялись: то-то же, белоручки! Ну и пусть. Поглядим еще, кто засмеется последним!

После короткого отдыха через силу поднялись на ноги — и опять за работу. Она уже не клеилась. Норму никак бы не вытянули, но, к счастью, прискакал верховой из штаба с приказом немедленно переправляться на ту сторону.

Радостно побросали инструменты на подводы, но — увы! — нет переправы. Пришлось сделать крюк километров в тридцать, чтобы попасть в Беляевку. Добрались к полуночи, а ночевать негде. Село забито войсками, в хаты буквально пальца не просунешь. Вывели лиманцев за село, на толоку и оставили там до утра. Моросило, дул ветер — веселые дела! В летних костюмах и тонком белье быстро промокли и озябли. Командиры остались в селе, пожаловаться некому. Отец внес предложение: сбиться в кучу по-овечьи. Тем, кто в сердке, будет тепло. И каждые полчаса меняться местами. Так и поступили.

На внешнем круге отец оказался между адвокатом Ивановским и рыбаком Грицько. Переговаривались, время коротали. Разговор вышел двоякий, под стать их положению: с одного боку зябко, с другого — тепло.

Подставляли сырому пространству ночи то грудь, то спину, то плечо.

— Эх, пропадает во мне морячок! — театрально вздохнул Грицько.— Колы ж нам поверять, щоб им повылазыло! Не мое це дило — землю копать.

— И не мое,— сказал Ивановский.— Но я понимаю.

— А ты ишачь, ишачь,— весело сказал Грицько.— Розплачувайся за вызволення. За Чапаєва, Щорса и всех інших...

— Знаете, Алексей Михайлович,— сказал Ивановский,— Грицько прав. Я рад этой черной работе, она избавляет меня от комплекса благодарности, ставит в ряд со всеми. Я теперь начинаю думать как равный... Если выживу, вступлю в партию,— продолжал Ивановский.— Я хочу все понять и принести пользу.

— Вы уже пытались, кажется, приносить пользу,— сказал отец, намекая на его короткое исполкомовское прошлое.

— Я был временной властью и, честно говоря, новую власть еще не постиг. В ней будто сталкиваются два течения. Война, я думаю, закалит истинное ядро и сметет все наносное.

— А я в эти дела не вникаю,— сказал отец.— Побольше бы порядка, справедливости и поменьше политики — вот мое кредо, если позволите.

Грицько засмеялся:

— Ты, адвокат, голова! Я и говорю: нам всем треба заодно держаться. Бить фашиста — ось и вся политыка!

В кругу зашевелились, меняясь местами. Отец вошел в середину. Разговор тут был общий, перекрестный и зыбкий. Перебрасывались репликами, как мячами в темноте:

— Ну и работенка! Если не сдохну, богатырем стану...

— Яша, сыграл бы ты, друг, на скрипичке...

— Не вертись, я только задремал...

— А наш комроты ничего парень, только мнительный...

— У меня была любимая подушка, я прямо-таки свирепел, если Ленуца путала...

— А у Веселова морда кирпича просит...

— Был такой случай с вдовушкой...

— Банку меда не взял, не любил я его, идиот...

— Дали бы нам шинели...

Тесно прижавшись друг к другу, делились теплом своих тел, и каждый получал взамен больше, чем отдавал. Пожалуй, к телесному теплу добавлялось еще новое, благородное чувство общности и понимания. В тесной темноте не всегда знаешь, кто с тобой рядом. Наверняка не родня, не друг-приятель, просто неизвестный земляк, но ты молча припадаешь живым теплом к живому теплу и словно включаешься в общий ток крови и совместные усилия работающих сердец. Согревал и надышанный воздух, согревали и смешанные запахи — острые, приторные, терпкие. И жалко было, когда порыв ветра прореживал людей, выдувая насыщенные жизнью промежутки между ними.

Никто не следил, не отсчитывал время, сама сердцевина помнила, что согревается за счет внешнего круга, и в определенный момент, засовестившись, начинала ерзать и выбиваться наружу. Быстро улетучивались скучные запасы тепла, сырой ветер жадно вытягивал их и растрачивал впустую. Но обретенное чувство близости оставалось нетронутым. Оно было и терпением, и порукой, и обещанием.

Отец подумал, что такая ночь к лучшему. Ему открывалось извечное чувство человеческой близости. Личное счастье ищет близости двух — мужчины и женщины, а беда и борьба ищут людской близости, растворяющей отдельное одиночество в той таинственной силе, которая зовется народной...

Ночь в конце концов прошла. На рассвете явились командиры в сопровождении кухни. Горячий суп да еще с мясом — райская благодать. Солнышко пригрело, лиманцы заулыбались. Шли в село отоспаться. В хатах стало посвободнее — смотри довоенные сны!

Славно отдохнули. Да и с едой повезло. К ротной кухне прибавились колхозные харчи. Еще и вином угостили. Колхозные жинки жалеючи глядели на странных солдат в жеваной и пыльной городской одежде. Обращались к ним с ласковыми добрыми словами и просили возводить укрепления на совесть, не пущать ворога до их хат. И опять возникло то чувство родства и нужности.

С утра работа закипела. Земля охотно поддавалась, сама поддерживала ритм — раз-два и раз-два, — ритм, не знающий перебоя и устали.

Каждый порознь был горожанином и не смел себя

к народу причислять, ибо само собой сложилось мнение, что народ живет за городом и между городами. С начала войны им говорили, что они не должны жалеть ни сил, ни жизни ради советского народа, и это было понятно, потому что советский народ не какой-нибудь один народ, а все народы огромной страны. И теперь, вдали от родных мест, вкапываясь в землю этой страны, бессарабцы как бы трудом и потом своим докапывались до общего источника, и им нравилось, когда комроты Бондаренко обращался к ним:

— А ну, народ боевой, поднажми!

Лихо работал хохол Грицько, с шутками-прибаутками и подковырками; старательно и как бы виновато вталкивал лопату в грунт адвокат Ивановский; мерно орудовал молчаливый слесарь Аким, самолюбиво преодолевали одышку бухгалтеры, парикмахеры и скрипачи. И чем дальше, тем меньше было отличий в их повадках, и это сближало их.

Теперь они сами оказались за городом и между городами и делали простую работу, руки покрылись мозолями, и всем телом отдавались общему бессловесному ритму — раз-два и раз-два — и смутно вспоминали, что когда-то уже было такое, не с ними, так с прапорщиками...

Может быть, и они — тоже народ, чем черт не шутит?

Поверили, что на этой оборонительной линии враг захлебнется, втянулись в работу и так увлеклись, что не сразу расслышали взрывы: вдалеке над селом кружили три самолета и сбрасывали бомбы. В дымный воздух летели горящие балки. Хаты и скирды соломы вспыхивали быстрым пламенем.

— Сволочи...

На глазах погибало село, где так хорошо спалось, где так радушно их угождали. И не было у них не то что зениток — даже винтовок, чтоб пальнуть разок...

Самолеты, отбомбившись, полетели за Днестр, вдруг один повернул прямо к ним, застывшим с лопатами в руках.

И снизился до бреющего полета.

Бросились в окопы, прикрыли головы лопатами. Отец глаз не сводил с самолета: неужели такая дурацкая смерть?

И вдруг полетели сотни листовок. Все выскочили

из окопов и стали их подбирать. Комроты, лейтенант Бондаренко, крикнул:

— Не сметь! — но голос у него сорвался и крика не получилось.

Лиманцам было интересно, что же все-таки там написано. А написано было по-русски и по-румынски одно и то же:

«Братья бессарабцы! Убивайте комиссаров, коммунистов и жидов! Возвращайтесь в родную Бессарабию! Получите дом и хозяйство, вас обеспечат на всю жизнь. Эта листовка послужит вам пропуском!»

Стало смешно и досадно. Дескать, убей — хорошо заплатим. А как быть с евреями? Они, значит, уже не бессарабцы, не братья? А цыгане? Комедия...

Кто порвал листовки, кто выбросил... Бондаренко облегченно вздохнул.

Дни за днями строили доты, дзоты, траншеи, наблюдательные пункты. Командиры удивлялись: работа пошла слаженная, четкая, толковая. Норму им повысили — до восьми кубов грунта на человека. И ничего — выполняли.

Но снова приказ отступать. А это хуже всего. Весь труд — насмарку: ни одно из сооружений не использовалось, ни один боец не занимал укреплений. К черной работе привыкли, к походному быту привыкли, но такое испытание — горше всего. Так старались, так хотели пригодиться, а все псу под хвост...

Двинулись к Николаеву, но не успели за сутки беспрерывного марша выйти к Южному Бугу, как на ходу батальон повернули обратно — к Одессе. Похоже было, что попали в котел, — немецкие танки, по слухам, оседлали николаевскую дорогу.

На трети сутки, измотанные, голодные, унылые, вышли к Одессе. Расквартировались в пустующих санаториях Куюльника, получили целые сутки отдыха. Всех остригли, отвели в баню, а когда голой гогочущей толпой вывалились в предбанник, наткнулись на сюрприз. Пестрая, уже изрядно потрепанная гражданская одежда исчезла, старшины раздавали гимнастерки, брюки защитного цвета, солдатское белье и ботинки. Наделили в придачу старыми шинелями.

Лиманцы преобразились, заново узнавали друг друга. Они почувствовали себя солдатами, частью большой силы. Еще бы только оружие...

Но работа есть работа. Такой, правда, еще не было. С четырех часов утра до полуночи. Кормили два раза в сутки: утром, перед уходом на позиции, и вечером, как только темнело. Да и нельзя было иначе: осада, обстрелы, бомбежки...

Отец, как и все, у кого семья была эвакуирована в Одессу, стал волноваться. А в город по-прежнему не пускали: работать надо, некогда.

Лишь на десятый день лейтенант Бондаренко отпустил пятерых, в том числе отца. На ночь до пяти утра.

На дребезжащем темном трамвае поехали в город.

На сей раз на отца никто не оглядывался, будто вовсе не он недавно заморским франтом выскочил на Дерибасовскую. Война его обстоятельно пообмывала, уравняла и растворила в себе. Но именно это теперь наделило его чувством полноправия и сопричастности.

Мама плакала, целуя его, слабея от солдатского степного, соленого запаха. Я жадными глазами вбирал в себя этого солдата с родным, смущенным, будто виноватым, лицом. В пилотке, стриженный наголо, он был новым — завидным и забавным.

Он теперь строит оборону Одессы, будет часто с нами видеться. Город надежно защищен, он выстоит, в этом нет никаких сомнений.

Отец выкладывает из сумки целую гору овощей — перцы, баклажаны, помидоры, морковку, свеклу с прифронтовых огородов. Отец отвечает на вопросы. Да, теперь понимает, что привез семью прямо в пекло, но нет худа без добра: зато мы вместе. Лиманск же не сегодня-завтра окажется по ту сторону фронта. Надо потерпеть. Бомбежки? Главное — не бояться, это ненадолго. Противник уже остановлен под Одессой, скоро его двинут обратно...

Я обижен — меня отсылают спать. И не в нашу комнатку, а в хозяйственную. Стелют мне на полу. Что ж, папе с мамой, видимо, надо поговорить. Но я не такой уж маленький, их разговоры мне вполне понятны. Я так же оценил военное положение, как и отец. То есть до него я понимал так же. Мне лестно, я незаметно засыпаю.

Среди ночи — воздушная тревога. Меня будят, ведут в щель, вырытую посреди двора. Начинают бить зенитки, надсадно воют бомбы, земля вздрагивает от

гулких толчков. Но ни отца, ни матери в щели нет. Что случилось? Мама никогда не остается в доме, когда бомбят. Лишь однажды застрияла — мылась под душем. Вода вдруг кончилась, мама осталась в мыле с ног до головы и, услышав сирену, чуть не лишилась чувств... Неужели теперь отец научил ее не бояться? Что они там делают под грохот, свист и сотрясение? Вот досада, что я согласился пойти в щель! Подумают, что я трус.

В ожидании отбоя засыпаю. На рассвете меня растолкали — я бегу к своим.

— Где папа?

— Ушел обратно. — Мама уже начала чистить картошку. — Ему нельзя опаздывать. Велел тебя поцеловать, — и целует меня, улыбаясь сквозь слезы.

...Третью роту перебросили в Аркадию, строить скрытый причал для морских судов. Основной порт день и ночь под обстрелом.

В роте поубавилось мастеровых. Сапожников забрали в походные мастерские, шоферы, повара, парикмахеры пошли по специальности. Остались два пожилых плотника и слесарь Аким, у которого не хватало по два пальца на обеих руках. А предстояло вбивать в морское дно сваи, скреплять их между собой и покрывать настилом. И все вручную! Начали с того, что заострили концы свай, набили на них жестяные конусы, чтоб лучше втыкались. Смастерили десятка два козел с настилом и приступили к делу.

Обкладывали козлами сваю в несколько ярусов и, взобравшись на них, вбивали деревянной «бабой» о четырех ручках сваю в дно. Работали по ночам, без света, на день забрасывали обозначающийся причал маскировочными сетками. Был бы этот труд хуже каторжного, если б не чувствовали, что на сей раз — не зря.

Поначалу кормили недурно, потом пошли перебои — ни мяса, ни крупы. Крепились, старались не роптать, понимая, что в осажденном городе с питанием тяжело. Но стали заметно сдавать.

Отец, в прошлом заядлый охотник и рыболов, никогда не любивший наедаться досыта и валяться в постели, сравнительно легко приспособился к ночному труду и недоеданию. Только усох — кожа да кости.

Однажды заехал в Аркадию комендант города. Он

удивился — причал рос с опережением графика. Это при самых примитивных условиях труда!

— Молодцы, просто молодцы! — сказал он.— А как вас кормят?

— Голодаем, — так и брякнул Аким.

Комендант расспросил, проверил, обложил комбата матерными словами и закончил коротко:

— Пристрелю!

С того дня стали так кормить, что отец не в силах был справиться. Он договорился с нами, и мы через день приезжали к нему обедать. На троих хватало.

Во время второй инспекционной поездки комендант нас и застукал. Мы сидели на бревнах и уплетали из двух котелков. Отец вскочил и откозырял.

— Почему здесь женщина и ребенок? — спросил комендант.

— Это мои... я их подкармливаю.

— Себя подкорми. Вишь какой щуплый! Никак бы не подумал, что у тебя такая жена, довоенная... Ладно, передай комроты, что даю тебе отгул до вечера.

...За шесть дней до срока причал был готов. Рота получила переходящее красное знамя, и ее тут же перевели на строительство подземных ангаров. В Одессе осталось с десяток двухместных «яков», которые прятались в лесополосах, летать было хлопотно: пока выведешь самолет на аэродром, пока уведешь. А из подземных ангаров с трехнакатным перекрытием намечался выход прямо на взлетную дорожку. Под бомбейками, под орудийным обстрелом вырыли котлованы, замаскировав их зелеными сетками на металлических столбах.

К счастью, не было ни одного прямого попадания, но двоих все же убило шальнойми осколками, пятерых увезли в госпиталь.

Один снаряд ухнул совсем неподалеку, но не разорвался. Слышали, что такое случалось и в других местах. Уверяли, что это помощь от немецкого пролетариата. Дескать, насыпают вместо пороха песок и кладут записки...

— Надо бы проверить, — сказал отец.

— Ну да. Нема дураков, — ответил Аким.

— А я пойду, — сказал отец. — По-моему, это важно.

После обстрела отец действительно взял лопату и пошел откапывать. Пошел хладнокровно и спокойно,

но когда за спиной стали кричать, звать обратно, впервые почувствовал укол страха. Ах, так? Как раз теперь и докажу, что не сдрейфил! Спокойно, не торопясь, стал откапывать снаряд. Он как бы разделился на двух: один человек оцепенел от страха, другой, отдельный, присел на корточки и отвинтил боеголовку. Никакой записи не нашел — заряд был обычным, боевым.

Через несколько дней роту опять перебросили, на этот раз в катакомбы. Их надлежало расчистить и оборудовать для командования обороны города. Бомбардировка Одессы усиливалась, август шел к концу.

Весь сентябрь ушел на оборудование катакомб. Они превратились в великолепные помещения. Электросеть, собственный движок, вентиляция. Залы, комнаты, кабинеты... Притащили не только столовую и спальную мебель, но и два пианино для красного уголка. Остались мелкие недоделки, как вдруг роту сняли с объекта и повели в порт. Завели на складской двор и велели ждать.

Отец сел на ящик и закурил. К нему подошли трое — скрипач Яша Финкель, зубной врач Иванченко и электромонтер Георгий Карайманов.

— Дело есть, Алексей Михайлович, — негромко сказал Карайманов. — Мы и еще двое решили остаться. Вот и вам предлагаем.

— Что случилось? Не понял, — сказал отец.

— Плохо, — сказал Финкель. — Хуже быть не может. Нас увозят, потому что Одессу сдают. Немцы подошли к Москве. Это конец, вы должны понимать. У всех у нас дом и семья, зачем же их бросать в такой момент?

— Не может быть! — вскинулся отец. — Кто вам сказал, что нас увозят?

— Сказали. Это совершенно точно, — скороговоркой заговорил Иванченко. — Что делать прикажете? Мы совершенно честно на них работали, но Россия проигрывает войну. Очень жаль, но это совершенно точно, Алексей Михайлович. Мы нашли место, где можно несколько дней переждать. Совершенно безопасное.

Отец собрал все свое хладнокровие, чтобы быстро и трезво разобраться. Но задумался просто по привычке, потому что уже знал наперед, как поступит. У него была одна особенность: когда немедленно надо принять в соображение тысячу спорных доводов, не поддающихся проверке, он полагался на интуицию. И прав-

да — его чутье еще ни разу не подводило. Другим кажется, что поступаешь нелогично, опрометчиво, да и самому порой мерещится, что попал впросак, но интуиция смотрит поверх очевидности, она подсказывает не как дело сложится, а к чему приведет после самых немыслимых зигзагов. Потому отец принимал решения внезапно, сплеча перечеркнув путаницу сображений и сомнений. А приняв решение, уже никогда его не пересматривал и не жалел. Был он, пожалуй, фаталистом. Не в том неподвижном смысле, что чему быть, того не миновать, а в том, что все к лучшему, если не изменяешь себе, своему чутью.

Отец молчал всего несколько секунд, ровно столько, сколько нужно, чтоб глубоко затянуться дымом и, попыхивая, выпустить его кольцами. Кольца, змеясь, выскочили друг за другом, точно по ранжиру.

— Нет, — сказал отец, — я не останусь. И вам не советую. Особенно вам, Финкель. Вас убют.

— Почему, Алексей Михайлович? Я от немцев как-нибудь увернусь, а румыны нас не убивают. А вы почему же? Объясните, пожалуйста, мы же с вами откровенны.

Объяснить-то как раз отцу было трудно. Он не знал — чувствовал. Он так и сказал:

— Я чувствую, что Россия не может проиграть войну. И нам надо держаться с ней, раз уж так решили с самого начала. Мы ведь в сороковом году так и решили...

— Простите, — сказал Иванченко, — вы совершенно слепой...

— Не надо уговаривать, — сказал Карайманов. — Каждый сам себе хозяин. Я надеюсь, Алексей Михайлович, что сказанное останется между нами...

Отец затянулся окурком до самых пальцев. Опять безвыходное ощущение пробегающей границы «между нами»...

— Конечно, — сказал он, — я вам не судья. Но еще подумайте, ради Бога. Лучше все-таки выдержать. Когда кругом смерть, когда не знаешь, где ее найдешь, лучше не откальваться, помяните мое слово...

— Мы подумаем, — сказал Карайманов и отошел, Иванченко за ним, будто его дернули за веревку, а Яша растерянно затоптался на месте, поглядывая то на отца, то на уходящих.

— Мы еще поговорим, да? — прошептал он и кинулся догонять тех двоих.

А когда открыли продуктовые склады и велели всем брать, кто сколько сможет, — последняя надежда оборвалаась. Значит, правда, город будет сдан. Жена и сын в этом же городе, почти что рядом, но разлука уже началась, она уже ведет счет первым своим часам... Такая разлука горше тюремной — срок не назван, свидания не предусмотрены...

Отец, думая о своем, продолжал набивать вещмешок. Прежде всего запихал туда побольше махорки, спичек и бумаги, сверху втиснул хлеб, несколько пачек концентратов. Набрал полный котелок комбижира.

— Алексей Михайлович, что это вы куревом запасаетесь? Мы же в Крым попадем, на родину табака! — сказал Аким. — Хватайте консервы, не пожалеете!

— Ладно, — ответил отец. — Там видно будет.

Он приготовил отдельно полную сумку продуктов, вышел с нею к воротам и подозревал веснушчатого пацана в кепке, который собирал окурки. Он попросил его сбегать к жене, паренек согласился. Отец быстро набросал записку:

«Дорогие мои! До свидания, обнимаю вас крепко. Немедленно выезжайте из Одессы, суда еще берут беженцев. Я вас буду искать, я вас найду. Шлю немногого продуктов. Паренька отблагодарите. Ваш Алексей».

Отец сложил вчетверо записку, надписал адрес, прошел его вслух.

— Знаешь, где Комсомольская? — спросил отец.

— Бывшая Старопортофранковская? Вы еще спрашиваете! — ответил пацан. У него были ясные голубые глаза.

— Прошу тебя, — повторил отец, — это для меня все, понимаешь? Как тебя зовут?

— Степка Медник, — ответил тот, принимая сумку и записку.

Отец глядел на его худенькие пыльные руки — руки судьбы.

— Ну, Степка, дай Бог тебе счастья. Беги, родной.

Пацан побежал с сумкой и скрылся за поворотом.

Если бы не сумка, может быть, записка и дошла бы до нас. А так — мы узнали о ее существовании только через три года. Где сейчас Степка Медник? Как живает?

Ночью отец отплыл в неизвестность. За бортом вздыхала черная вода. Темный город тихо погружался в кромешную даль. Город растоптанный, прижатый к морю, но упрямо живой, ожесточенный. Еще не знающий своей участи... Судно было битком набито. Лиманцы сгрудились на корме, в тяжелом молчании глядели назад, назад. Но вряд ли они осознавали, почему их боль и одиночество не приводили к отчаянию: они словно сливались с огромной страной, с ее вечной и неизбывной судьбой.

Пятерых недосчитались.

Одесса-41

Еще с лета в Одессе меня записали в пятый класс. Раз уж записали — значит, все в порядке, фашисты к осени будут разбиты, и нет худа без добра: не будь войны, попал бы я из бессарабского захолустья в такую большую школу крупного советского города! Великолепная четырехэтажная школа ждала сентября и перемены обстановки на фронте. Я несколько раз побывал в ней — впервые видел такую громадную светлую школу со спортзалом и десятками кабинетов, из которых физический меня сразил: не терпелось прощупать и перепробовать все хитроумные приборы, приспособления, катушки, магниты, линзы...

Однако наступило и прошло первое сентября, а школа все не открывалась. Бомбёжки учащались, уже и артиллерия стала изредка бить по городу. И все-таки учебный год начался. Для большей безопасности распределили классы по разным пустующим помещениям вблизи убежищ. Пятым классу была отведена одна из комнат домоуправления. Притащили туда доску и несколько столов. Сначала нас было девять учеников и три учителя, которые кое-как распределили между собой предметы. Вдобавок проходили практический курс противовоздушной обороны. Мы приходили в класс с противогазами, по знаку за несколько секунд напяливали их на себя и становились все на одно чудовищное лицо. С хоботами. Учитель тоже. Затрудненно дыша, мы серьезно глядели друг на друга сквозь мутноватые круглые стекла. У нас был ящик песка, мы отрабатывали движения: молниеносно отбрасывали зажигательную бомбу

и засыпали ее. Вместо уроков истории мы обычно выходили строить баррикады, выковыривали из мостовой булыжники, как коренные зубы, укладывали их поперек переулка, сверху — мешки с песком... Остальные предметы, кроме географии и биологии, мы проходили весьма основательно. Писали карандашами в самодельных тетрадях, потом на клочках, на обоях и, наконец, на книгах из школьной библиотеки. Особо ценились сборники стихов: стихи, к счастью, не заполняют всю страницу. С объявлением воздушной тревоги мы переходили в убежище, и там учитель продолжал шепотом урок. Мы толпились вокруг него, как заговорщики.

Никогда в жизни так не хотелось учиться, как тогда. Мы порою убегали в класс, вырываясь из рук испуганных, заплаканных матерей, мы каждое слово учителя прочно укладывали в памяти, как нечто драгоценное и бессмертное, мы превращались в истовых и ярых отличников именно тогда, когда никто не заставлял готовить уроки, не следил за дисциплиной и не делал замечаний. Мы не терпели поблажек и жалости, требовали учебы всерьез. Мы вступили в единоборство с войной, которая не признавала наших прав на борьбу. Мы все чаще бунтовали, когда нас принуждали переходить в убежище при налетах, — это были единственныес вспышки неповиновения. Нечего было бояться бомб — так твердила абсолютная мальчишеская вера в неуязвимость. Мы стали тонкими знатоками по этой части: по звуку знали, где самолеты и сколько их, по свисту — куда бомбы попадут, по разрывам — какой район города подвергается бомбардировке. К тому же давно разгадали фашистские повадки: немцы любили бомбить по расписанию и редко его меняли. Зачем же бегать в убежище, когда в тебя не метят? В одиннадцать они обычно нацеливаются на порт...

Но нас становилось все меньше: детей постепенно эвакуировали морем. Кто уехал, кто заболел, кто остался без крова, пока сидел в классе (вместо дома нашел дымящиеся развалины и приютился с теткой в другом конце города), кто и вовсе остался без мамы (убило осколком в очереди, когда стояла за маргарином)...

К концу сентября нас осталось трое и одна-единственная учительница немецкого языка. Немцы нас бомбили, а она каждое утро, рискуя жизнью, приходила

в класс, четко выговаривала слова на их языке и просила повторять: «Anna und Marta baden». Все это выглядело довольно странно, но так уж вышло, что учительница немецкого языка осталась последней, на ком еще держался класс.

Класс еще держался первого октября, когда немцы подходили к самой Москве, трубя о близкой победе. Одесса была единственным советским островком на сотни километров западнее фронта, в глубоком вражеском тылу...

Класс еще держался. Уже много дней, как за сигналом воздушной тревоги не последовало отбоя. Пикирующие бомбардировщики с короткими перерывами, сменяя друг друга, дежурили в небе. Они с истошным звыванием бросались на город, не обращая внимания на белые и черные кляксы зенитных разрывов, разбрызгивающихся по синеве и облакам. Артиллерия противника палила куда попало и когда ей вздумается. Город разрушался на глазах. Водопровод давно не действовал, у редких колодцев выстраивались длинные очереди ведер, кастрюль и бидонов. Люди изредка выбегали из-под навесов их переставлять.

Первого октября я шел на занятия, еще не зная, что на этом кончается мой пятый класс. Я опаздывал минут на десять и торопился. Моросило. Под ноги летели первые желтые листья, мирно ложились на битый кирпич, на осколки стекла, на пустые баррикады. Ветер шевелил край плаката: «Одесса была, есть и будет советской крепостью на Черном море...» Вход в класс был прямо с улицы, на дверях еще сохранилась надпись: «Техник доноуправления». Проходя мимо окна, стекла которого были заклеены крест-накрест газетными полосками, я с облегчением увидел, что учительница на месте. Но... в классе никого больше не было.

— Здравствуйте, Елена Петровна, — сказал я с порога.

Елена Петровна сидела, опустив руки на щербатый стол. Она не сразу откликнулась. Глаза ее были усталые и пустые. Я прошел в комнату и тихо сел за один из столов.

— Иди поближе, — позвала она.

Я перебрался за ее стол, сел напротив нее. Она провела пальцами по бледному, сухому лицу, как бы смахивая паутину.

— Ты выучил стихотворение? — безучастно спросила Елена Петровна.

— Да, — ответил я.

Она молчала, глядя на меня. Тогда я начал читать «Широка страна моя родная» на немецком языке:

Heimatland, kein Feind soll dich gefärden...

Она все глядела на меня, подняла руку, будто защищаясь, глаза ее расширились, поплыли... Вдруг она зажмурилась, уронила голову на руки, всхлипывая и словно хохоча. Сотрясалась ее спина, обтянутая черным пиджаком с прямыми, подбитыми ватой плечами.

Я испугался — не знал, что делать. Я успел подумать, что, может быть, ей удобней, чтоб я ничего не заметил, и еще успел подумать о стакане воды для нее и успел вспомнить, что воды достать негде, а губы мои продолжали по инерции:

Denn es gibt kein andres Land auf Erden,
Wo das Herz so frei dem Menschen schlägt...

Невдалеке ударили снаряд, окно лопнуло, и стеклянная пыль посыпалась, как соль... Я вскочил на ноги, глядя на учительницу. Она все рыдала, царапая пальцами стол. Я тронул ладошкой ее гладкие, плотно зачесанные волосы и сказал:

— Вам плохо, Елена Петровна?

Она рывком встала и быстро прижала меня к себе, — может быть, для того, чтобы я не увидел ее лица. Молча мы так стояли, я крепился — комок застрял в горле. Я понял, что уроков больше не будет.

— Прости, что я тебя учила этому языку, — странным, глухим голосом сказала Елена Петровна. — Прости, мальчик, и больше не приходи. Прощай. Но, пожалуйста, живи. Слышишь?

Я все-таки заглянул на второй день, но Елену Петровну уже не увидел. Дверь с надписью «Техник домоуправления» была заперта.

А в ту большую четырехэтажную школу, где мне не пришлось учиться, я заглянул еще дважды. Сначала в то утро, когда наши войска за ночь ушли, румыны и немцы еще не вошли. Стрельбы не было, тишина ошеломила город. Видно, противник хватился на рассвете, что фронта нет, и то ли глазам своим не верил, опасаясь

ловушки, то ли готовился к торжественному вступлению в город...

Школа стала как бы ничья. В то время как соседские мальчишки помчались на невзорванный склад радиоприемников, я кинулся в школу, прямо на четвертый этаж, в физкабинет. У меня глаза разбежались, я бросался от прибора к прибору, от шкафа к шкафу. Мечта исполнилась, кабинет был в полном моем распоряжении, но власть была горькой и призрачной. Спрятать все от чужих посягательств было невозможно, тащить к маме — бессмысленно. Мы были беженцами, и в комнатке, где поселились, уже втиснулось три семьи, и каждый пятак пространства был на учете. Бессильным владыкой я метался среди немых чудес...

Я услышал шум мотора и выглянул из окна. Во двор школы быстро въехал грузовик, тормоза взвизгнули. Шофер выскочил, сорвал с себя военную форму, швырнулся в кузов, напялил на себя какие-то мятые брюки и серую рубаху. Потом плеснул бензином на скаты, поджег их, побежал за школу и скрылся из моих глаз. Машину охватило высоким пламенем. С четвертого этажа было видно, что в разных концах города билось пламя и росли черные тучи дыма... Может быть, и мне так поступить? Уничтожить, разбить приборы — пропади все пропадом?

Рука не поднималась... Так и ушел, не тронув ничего, ушел с мыслью, что еще вернусь, тогда и решу...

И я вернулся, но не сразу, а недели через две — раньше было не до этого.

Румынские войска решились войти в оставленный город только около четырех часов пополудни. Не тратили времени зря, подготовились. Когда я выбежал на Красногвардейскую улицу, там уже толпились одесситы — на мостовой стояла кавалерийская часть. Кони упитанные, красивые. Щеголеватые офицеры великолюбиво позволяли себя рассматривать. Их форма была чуть ли не парадной, сапоги в обтяжку блестели — голенища были на уровне глаз ротозеев. Пожилая, интеллигентного вида женщина обратилась к всаднику по-немецки, тот не понял, старушка перешла на английский, тот опять не понял. Тогда она — по-французски. Офицер вежливо улыбнулся, но промолчал.

— Кто они такие? — спросила полиглотка, растерянно оглядываясь по сторонам.

— Я знаю, — сказал я и спросил по-румынски: — Домну офицер, как дела на фронте?

Офицер просиял, наклонился ко мне и, выяснив, кто я и откуда, ласково потрепал меня по щеке:

— Скажи им, что все в порядке. Бомбажек больше не будет, пусть успокоятся. Москва и Ленинград взяты, война, можно сказать, кончилась.

Я перевел окружающим первые фразы, потом запнулся, язык не поворачивался, да и слезы навернулись на глаза. Я выбежал из толпы и разревелся. Вот и не стало советской власти, продержалась всего двадцать с лишним лет, хоть и намного дольше Парижской коммуны, но в исторической перспективе все равно мгновение. Опять Революция потерпела неудачу. И я один из свидетелей ее гибели. Надо все запомнить, ничего не потерять из виду для будущей летописи.

В моем горе была изрядная доля умозрительности, потому что победители, то есть румыны, не только не вызывали у меня никакой неприязни, а совсем даже напротив. Я же в отличие от отца и матери родился уже при румынах, и Румыния, ее язык, прошлое, ее живая современность стали частью моего детского сердца.

Но тем же вечером стали закрадываться сомнения в достоверности того, что нам сообщил офицер-кавалерист. Дело в том, что в городе появились рядовые солдатики и они не очень-то были похожи на победителей. Они были голодными...

Надо сказать, что в румынской армии между офицерами и солдатами была непроходимая пропасть, потому лиманцы в сороковом году так поразились демократизму Красной Армии, простоте отношений между командирами и бойцами — они могли, например, есть в одной столовой, оказаться вместе на летней танцплощадке, более того — они называли друг друга «товарищ»!

Теперь настала очередь одесситам удивляться — то тут, то там в одесских двориках стали появляться румынские солдаты в обмотках, простые крестьянские парни, неизвестно зачем оторванные от родного дома и брошенные в чужие дали. Солдаты входили с добродушной улыбкой, даже стеснительно, словами и жестами давали понять, что рады будут любому подношению

из рук побежденных. Потом, увы, объявились и такие, которые стали приворовывать, таскать кур и что плохо лежит. Их стали обзывать цыганами...

Сомнения рассеялись, когда одесситы припали ухом к приемникам, которые они растащили по домам перед сдачей города (в первый день войны все радиоаппараты вместе с охотничими ружьями были изъяты «под расписку»). Тихо, как можно осторожней и глуше настраивали приемники и вздрогнули, как от электрического тока, вдруг услышав:

— Говорит Москва!

Город жил странной жизнью. Осада кончилась, бомбейки прекратились, но вместо этих бед пришла другая — голод. Рынки и магазины пустовали, оккупанты еще не наладили снабжения, не освоились, не завели своих порядков. Короче — они еще не владели городом, лишь патрулировали по улицам, а улицы — это не весь город. Город распался на тысячи домов, живущих отдельной своей жизнью, между домами и улицами стояли невидимые стены. Власть оккупантов еще и в другом смысле была поверхностной: упорно передавалось из уст в уста, что в катакомбах много наших, что под землей, под городом, — советская власть. Уверяли, что многие дома через подвалы тайно сообщаются с катакомбами. Оккупанты не знали, что делается у них под ногами, и жили, как на вулкане. И вскоре землетрясением потряс город мощный взрыв: взлетело на воздух бывшее здание НКВД, где собралось немецко-румынское офицерство.

Это действовал вулкан...

У дверей школы появился румынский часовой. Что бы это значило? Что они там делают? Я самовольно принял на себя ответственность за физкабинет и должен был знать, что с ним. Часовой меня не смущал. У меня была отмычка, неотразимое оружие — румынский язык. Когда малорослый, тощий мальчионка заговаривал на их родном языке, солдаты немедленно выходили из своей военной роли и становились нормальными людьми. Поэтому за несколько дней до этого я без труда получил полхлеба у повара румынской походной кухни. Я разломил хлеб на несколько кусков, рассовал их по карманам, сунул за пазуху и благополучно донес

до мамы. Но во второй раз за хлеб пришлось платить. Румынский офицер услышал, как я шпарю по-ихнему, с интересом расспросил меня, кто я и откуда, потом сказал:

— А ну, пойдем.

— Куда? Меня мама ждет.

— Это одна минута. Будешь переводить.

Он повел меня в глубь двора, на второй этаж, в небольшую высокую комнату, где в кровати лежал пожилой небритый мужчина. У него были сросшиеся темные брови, запавшие глаза и тонкий горбатый нос. Он приподнял голову, вытянув шею, как черепаха, перевернутая на спину.

— Здравствуйте, — сказал я робко.

— Объясни ему, — сказал офицер, — что он должен убраться отсюда, здесь буду жить я.

— Вы хотите снять эту комнату? — спросил я офицера.

— Переводи, — ответил офицер. — Мне некогда.

Мужчина мучительно вслушивался, голова от напряжения дрожала.

— Он говорит, — через силу сказал я, — что вам нужно перебраться отсюда, потому что он будет снимать эту комнату.

— Ой, что ты говоришь, как тебе не стыдно! Я весь парализованный, я пятый год лежу, как бревно. Посмотрите на него, он хочет дать мне ноги, чтобы я бегал искать себе крышу! Скажи своему господину европейскому офицеру, что я всегда имею вежливость, хоть я лежу, а он не имеет, хоть и стоит!..

Больной явно взывал к моей совести. Я хотел ему сказать, что я-то тут при чем, что с моей стороны...

— Что он говорит? — спросил офицер.

— Он пять лет лежит здесь парализованный, он совсем не может двигаться...

— Глупости говоришь, — сказал офицер. — Если ты не можешь двигаться, тебя перенесут.

— Он говорит, что, может быть, ваши родственники возьмут вас к себе, — сказал я.

— Как это так? За что? Это же моя комната, я здесь родился, я не имею другой комнаты, меня разбил паралич в тридцать седьмом году, я крещеный еврей, выкрест, что вы от меня хотите, где это написано, чтоб из-

деваться над несчастным инвалидом? — Он дрожащей скороговоркой убеждал меня, вцепившись руками в края кровати.

Я почувствовал, что больше не могу. Не могу быть голосом обеих сторон, не могу подставлять себя то одному, то другому. Больной умолял и упрекал меня, офицер сердился на мои ответы и зло требовал:

— Не морочь мне голову! Есть у него родственники или нет?

Я сказал:

— Извините, у меня живот болит. Я мигом.

— Давай. Только быстро, — пожал он плечами.

Только меня и видели. Я смылся, махнув рукой на хлеб, обещанный маме, и больше в том районе носа не показывал.

...Когда я подходил к часовому у школьных дверей, решив воспользоваться еще раз знанием языка, я не подозревал, что не дойду до физкабинета...

Я шел прямо на часового, он торопился придать строгое выражение своему кроткому лицу. Забавно. Я вытащил игрушечный пистолет и направил на него.

Шутка чуть не стоила мне жизни. Солдат отпрыгнул и щелкнул затвором.

— Jucărie!¹ — вскрикнул я.

Часовой окаменел, полусогнутый, с нацеленной в меня винтовкой. Он соображал. И, слава Богу, сообразил. Он плонул и рассмеялся. Слово за слово, он успокоился и пропустил меня. Единым духом я отсчитал ступеньки до четвертого этажа и сразу услышал странные звуки, похожие на музыкальные взрывы. По коридору свернул направо и в полусумраке увидел рыжего солдата, который, откинувшись на стуле, бухал ногами по клавишам рояля. Этак медленно приподымал то одну, то другую ногу и лениво опускал на клавиатуру. Наверно, хотел сыграть войну — иначе, пожалуй, и не сыграешь, — брови солдата были упоенно вскинуты, глаза прикрыты. Надо было пройти мимо него, и я скрепя сердце прошел. Он никак не отреагировал на мое появление, хотя наверняка видел. Будто меня не существовало. Я двинулся дальше по коридору, стараясь не вздрагивать при очередных копытных аккордах. Подошвы мои зашуршали — под ногами была солома.

¹ Игрушка (рум.).

Куча соломы серела впереди меня. Озадаченный, я стал ее обходить. Солома опять сухо зашуршала, теперь явно не от моих шагов. Солома сама шевелилась. Я всмотрелся с оторопью и разглядел на серой соломе лежащую навзничь серую, худую старуху. Серое лицо, серые волосы, серое платье. Она впилась серыми глазами прямо в мои глаза и прошептала...

Бухнул чудовищный аккорд.

— Что? — спросил я.— Что вы сказали?

И в ответ прошелестело сухо, едва слышно:

— Воды...

Я кинулся к рыжему солдату:

— Она просит воды!

Солдат тупо посмотрел на меня. Пьяный он был, что ли?

— Никто. Никакой воды...— он опустил ноги на клавиши и подождал, пока дребезжанье затихнет, тогда закончил:— Не просит.

Я пулей вылетел из школы, прошмыгнул мимо удивленного часового и вернулся через несколько минут со склянкой воды в кармане.

— Ты чего? — спросил часовой.— Чего носишься?

Я хотел сорвать что-то, но от волнения забыл, что именно.

— Мне надо... Там старушка пить хочет.

— Какая старушка?

— Больная. На соломе.

— Где?

— Там! — я показал на окно четвертого этажа.—

Где рыжий солдат на рояле играет. Пустите!

— Постой. Что ты врешь?

— Да пустите же! Честное слово! Вот послушайте, как он бухает на рояле. Наверное, слышно.

Но было тихо.

— А!— вспомнил часовой.— Бум-бам? Правда.

Он ощупал мои карманы, нашел склянку, понюхал и вернул мне. Покачал головой.

— Всякое теперь бывает, ох мамонька моя, одному Богу известно...— и махнул в сторону двери.

Я помчался наверх. У поворота на четвертом этаже замедлил шаги и прислушался. Ни звука. Оказывается, рыжий солдат спал с ногами на клавишиах, запрокинув голову на спинку стула. Я тенью скользнул дальше, не шевеля солому. Увидел, что и старуха отвернула голову

и спит. Вытащил склянку и, наклонившись, прошептал:

— Бабушка, я воды принес...

Но она была мертва. Соломинки упирались в полуоткрытые глаза, в губах торчала солома,— наверное, она перед смертью пыталась ее жевать...

До сих пор не знаю, никогда не узнаю, почему она оказалась в школе, от чего умерла.

Я содрогнулся, уронил бутылочку с водой. И побежжал, задыхаясь, разметая мертвую солому. Коротко оглянулся на рыжего солдата. Он не шелохнулся. Может, и он мертв? Или скоро умрет? В мертвой школе гулко раздавался дробный стук моих ботинок — вниз, вниз по ступенькам, скорей!

Моря не было

Почему рассказ о ней не получился?

...Валентина казалась мне, одиннадцатилетнему, очень взрослой, теперь мне трудно это понять... Я не упускал ее из виду, но держался на расстоянии — есть такая форма мальчишеского поклонения. Сохранился листок, где рассказ о ней начинался с описания сверкающего синего моря, хотя я ее у моря никогда не видел. Ну и что? Я же хотел написать рассказ, а не просто воспоминания. И рассказ начинался не с моря вообще, а с воскресного июньского утра, когда Валя прибежала купаться, еще не зная, что уже произошло то, отчего наступила другая, страшная жизнь...

Красивая девушка входила в море — картина вдруг отдалась, становилась круглым полем оптического прицела...

Начало так и повисло в воздухе, но я все возвращался мысленно к лету сорок первого года, осажденной Одессе, когда мы с мамой приютились беженцами в квадратном дворике, где среди множества соседей жила Валя, комсомолка, дочь циркача, светловолосая, большеглазая, лет восемнадцати. Она была окутана прозрачным облаком какой-то завтрашней радости, а вокруг была смерть, выли сирены, рвались бомбы. Пусть я ни капельки не сомневался, что мы не будем убиты, это просто-напросто исключалось, но все-таки чувства были обострены до предела.

В редкие часы тишины двор был полон кошек, почти все они принадлежали двум старым девам, живущим во флигеле у ворот, но куда было этим заурядным животным до Валиной обезьянки Микки, маленькой, строптивой и неистово ласковой. Помню, как Валя гладила ее, как они разговаривали: Валя — воркующими словами, а Микки — всеми лапками, хвостиком, телом...

В середине осени Одесса была сдана, пришли румыны — мне они были не в диковинку, для Вали же, наверное, это было потрясением основ, полным переворотом.

Отца ее я не видел, он ушел на фронт до нашего появления в Одессе, Валя осталась с матерью, однако отец полновластно присутствовал в их единственной, но просторной комнате: стены были увешаны его афишами, фотоснимками (особенно поразил меня один, крупный, где он смеялся, взвалив себе на плечи молодого медведя). Пепельно-рыжая обезьянка свободно хозяйничала в комнате, стремительно носилась, визжала, прыгала, умудряясь, однако, ничего не опрокинуть, не разбить... Этот мирный уклад был теперь беззащитен и открыт всем ветрам. Я опасался, что и обезьянка и ее владелица попадутся на глаза оккупантам и это непременно плохо кончится.

Но действительный сюжет оборвался. Что было дальше — я так и не узнал, мы вскоре вернулись домой. Последнее воспоминание связано с Валиным горем. Кто-то с улицы подстрелил Микки, когда она взобралась на каштан во дворе, и обезьянка из последних сил — и сверх всяких сил — доползла до порога и только на руках у безутешной Вали позволила себе умереть...

Прошли годы, я учился в Москве, и однажды поэт Долматовский рассказал примечательную историю: во время войны немецкий солдат влюбился в украинскую девушку, заигрывал с ней, как умел, а она с ненавистью вырывалась из его рук, убегала. Немец не был зверем, но в ее глазах был именно таким. Он пережил войну и потом в ГДР с благодарностью вспоминал ту Оксану — с ее ненависти началось его прозрение.

Это было как раз то, что надо. Я вдруг увидел Валю с молоденьким румынским офицером и понял, что произошло. Мне ничего не пришлось придумывать, я хорошо помнил Валю, знал и румын, видел их в обычной жизни, в довоенное время. Я легко представил себе

офицерика из вполне респектабельной семьи, недавнего гимназиста, он был начитан и удачлив, его любили и дома и в компаниях, потому он и не сомневался, что поразит Валю своей обходительностью, сумеет приурочить циркачку-дикарочку из побежденной Одессы...

Воображение разыгралось, тем более что был тут и личный момент. Я познакомился с девятиклассницей и попытался шутя вскружить ей голову. И напоролся на такой серьезный, я бы сказал, идейный отпор, что вскоре понял, что без нее жить не могу. Бывалый студент, я растерялся, стал делать глупости и, понятно, с каждым провалом возвышал ее все больше. Она четко и бескомпромиссно различала, где свет, где тьма, а я никакой цельностью не отличался... Короче говоря, мне захотелось стать таким, как она,— чистым, возвышенным, ежесекундно готовым на подвиг.

Невольно я передал Вале некоторые черты моей мучительницы, а офицерику — кое-что от себя, из того, что перемешалось во мне, и с замиранием сердца следил за драматическим поединком идей и характеров, двух, если хотите, миров, находил — себе в утешение — какой-то смысл и оправдание в неразделенной любви.

Румынского локотенента (лейтенанта) звали Тудор, он не просто увлекся, а глубоко и самозабвенно полюбил Валентину, буквально ошелел от ее красоты и строгости, но он был оккупант, враг, она отвергала его со всей резкостью, на какую была способна советская девушка, комсомолка конца тридцатых годов. Недоумевающий Тудор старался доказать, что он культурный, интеллигентный европеец, что у него лично нет никаких предубеждений против славян (война, кстати, уже кончается, пора думать о мирных отношениях), но Валя, несмотря на уговоры матери (в Одессе был голод), гневно и презрительно отказывалась от его подарков и подношений — цветов, колбасы и хлеба. Однажды она так швырнула ему вслед консервы, что они со стуком покатились по двору. Так они весь день и лежали на виду, только ночью кто-то из соседей их подобрал.

Тудор, так сказать, был хозяином положения, на его стороне были все преимущества, вплоть до возможности применить грубую силу, а у Вали — ничего, кроме решительного нежелания признать его человеком. Тудор совсем извелся. Что же это такое, Господи? Почему, собственно, ему надо брать на себя ответственность за

нападение на Россию, испытывать стыд перед этой девушкой, и даже чувство вины? Война ведь — как стихийное бедствие, от отдельных людей не зависит, он же к ней — с открытым сердцем, неужели это непонятно? Но ей было непонятно.

Так победитель был побежден, разбит наголову, точно он, православный, с золотым крестиком на груди, был безбожник и палач, а она, большевичка, — непогрешимая и святая! Невыносимо. Офицер плакал по ночам, погибал от бессилия, от открывшейся вдруг пустоты и никчемности своей безобидной и безбедной жизни в родном королевстве. Несчастная любовь делала из него человека...

Я был доволен, чувствовал, что тут есть своеобразный поворот, даже представил себе, что может написать об этом доброжелательный критик.

Осталось только завершить рассказ, но сначала на моем лирическом фронте произошли благоприятные перемены, когда оказалось, что романтическое противостояние снимается сразу чем-то простым и естественным, давным-давно известным, но каждый раз открываемым заново. Менялось и время, ставило иные вопросы, предлагало другие сложности. К тому же я с удивлением увидел в первом выпуске «Дня поэзии» стихотворение Долматовского, которое называлось «Оксана» и где была вполне добросовестно изложена та история с немцем, я и забыл, что сюжет-то был не мой, и поэт имел полное право распоряжаться им по своему усмотрению.

Я не отказался от своего замысла, тешил себя надеждой, что напишу лучше, сильнее, но все-таки стихотворение чем-то мешало и я отодвинул ненаписанный рассказ куда-то в сторону — до поры до времени.

Лет через пять я оказался проездом в Одессе и успел забежать в тот самый квадратный дворик сорок первого года. Я был потрясен: все оставалось таким же, как тогда, только посредине двора вместо крытой «щели», куда мы набивались во время бомбёжек, был разбит цветник, огороженный низеньким, словно игрушечным заборчиком. А галереи с верандами были те же, Бог мой, те же кошки заполонили двор, те же соседки судачили на солнышке у веревки, на которой сушились кальсоны. Одна из них признала меня: «А, — сказала, — помню, помню, вы жили у Погосовых, его осколком в

голову стукнуло, так он тогда не умер, он теперь скончался...»

Я спросил про Валю. И совершенно неожиданно (я же свыкся со своим сюжетом и поверил в него) узнал, что она «сошлась с каким-то кавалером-мамалыжником», а когда наши в сорок четвертом стали приближаться к Одессе, с ним вместе удрала. С тех пор о ней ни слуху ни духу. «Вы думаете — далеко она за ним бежала? А я думаю, что он бежал быстрее. Так ей и надо, паскуде», — без всякой злобы сказала старуха и вопросительно посмотрела на меня. Я молчал. «А какая цаца была...» — покачала она головой.

Так рассказ был приговорен. Действительность жестоко обошлась с моим замыслом. Что-то ныло в душе, болело, и тогда вспомнилась подстреленная Микки, и я увидел Валю в ином, трагическом свете и понял, что она погибла. Сначала погибла нравственно, сломалась — скорей всего из-за матери, которая голодала, болела, но она-то, мать, и погибла первая, попала случайно в облаву, подвернулась кому-то под горячую руку. Валя этот удар восприняла как возмездие. Я увидел презрение и ненависть окружающих, бегство Вали и весь ужас ее одиночества: ей, опозоренной, уже никогда не вернуться домой, нет ей там места, нет прощения. И истекающая кровью Микки из последних сил ползла — лишь бы дотянуться до родного порога...

Но не хватало чего-то, рассказ буксовал. Может, потому, что в глубине души я не был уверен: горькая, вполне правдоподобная история, но так ли было на самом деле? Валя будто сопротивлялась отрицательной роли, она вставала перед глазами живая, неповторимая, в белом берете чуть набекрень, с легкой светлой прядью на лбу, ясноглазая, всегда готовая так приветливо улыбнуться, словно ты ей самый родной человек. Даже во время бомбёжек, когда всем было страшно, она умудрялась улыбнуться, как бы обещая, что все обойдется...

Еще лет через десять я в составе делегации был в Яссах. Теплым вечером мы сидели на террасе ресторана, в соседнем зале пели цыганские скрипки, на середину стола дымящимся холмом водрузили мамалыгу со шкварками, по бокалам разлили сухое вино, я прики-

дывал, что скажу, когда подойдет очередь произнести тост, и в это время редактор отдела из еженедельника «Конворбирь литераре» наклонился ко мне и сказал, что молодой человек, сидящий напротив, прекрасно переводит русскую и советскую литературу и что он меня с ним познакомит. Зовут парня Думитру... Я посмотрел на него: ладный такой, синеглазый юноша с вьющимися волосами, лет двадцати с хвостиком. Когда он успел стать профессионалом? «Он свободно говорит по-русски,— продолжал редактор,— это у него от матери. Очень любит вашу литературу, в курсе всех новинок, вам будет интересно, но про маму все-таки не надо спрашивать».— «Почему?» — «Ну, как вам сказать... Давайте сначала выпьем за культурный обмен, за таланты. Замечательно: вы переводите нас, он — вас. Через литературу мы открываем друг друга. Дай Бог всем понимания и чтоб никогда больше не видеть войны... Да... Вы, наверное, догадались: его мама русская. Его будущий отец в той несчастной войне попал в Одессу и там, представьте себе, женился. То есть не там. Он привез невесту к себе домой, в Яссы. Сколько они пережили — сказать невозможно, но они не хотели расстаться. Сначала ее прятали от наших — при Антонеску, потом от ваших, пока все постепенно не утряслось...» — «Она жива?» — «Жива». Я почувствовал такое волнение, как на пороге нечаянного открытия, и понял, что не успокоюсь, пока не узнаю — кто она. Когда все поднялись из-за стола, я улучил момент и разговорился с Думитру, благо это было совсем не трудно, проблемы поэзии и перевода одинаково интересовали нас. Во время беседы я то с одной, то с другой стороны подкатывался к щепетильному вопросу о его маме, но без успеха. Думитру отвечал односложно и возвращался к стихам. Тогда я рискнул и в нарушение правил хорошего тона чуть ли не напросился на знакомство с ней. Дескать, я пережил осаду Одессы, как и она, и нам есть, что вспомнить... Но лицо Думитру стало серьезным и огорченным:

— Мама не любит гостей...

От неожиданности я смутился и замолчал. Неловкость скрасил Думитру, он извинительно улыбнулся и сказал:

— Да, у меня ее недавняя фотография. Вот.— И он достал из бумажника снимок.

Я долго на него смотрел. Я не знаю, что я увидел. Была ли эта пожилая женщина когда-то Валей или не была? На меня смотрела женщина с сухим непроницаемым лицом — такие дамы безукоризненно вежливы, они давно и достойно несут свой крест, никого не подпуская близко, словно у них никогда не было молодости и детства. Выражение привычной самозащиты и самоотречения, броня — и дистанция; то, что было, то закрыто, не ваше дело, меня для вас нет, я — только для сына...

Я вернул ему фотографию и уже не спросил, как зовут его маму.

...Я почему-то вспомнил, что начинал рассказ с описания моря. С моря, которого за всю осаду Одессы ни разу не видел. Даже в голову не приходило. Была война, никакого моря не было.

Междувластие

*Не горюй и не плачь,
город горечи в брызгах соленых,
у тебя еще много силенок
и залетных удач!*

Второй месяц шла война. Никто в Лиманске не знал толком, что происходит. Сталин в своей речи сообщил, что враг глубоко вторгся на советскую территорию, что над Родиной нависла смертельная опасность. Мирные советские предприятия покидали прифронтовую зону. Многие лиманцы тоже двинулись следом в безопасную, с их точки зрения, Одессу, а недоверчивые — еще дальше, чуть ли не в Херсон.

Но проходили дни — и в Лиманске ничего не менялось. А ведь от города рукой подать до границы. Малопомалу лиманцы успокаивались, решив, что опасность несколько преувеличена с расчетом подхлестнуть армию и тыл. Может быть, и впрямь все обойдется? Может быть, Лиманск не обозначен на чужих картах, а если и обозначен, то таким мелким шрифтом, что и не заметишь?..

До Лиманска не докатывались отголоски боев. Днем, а чаще ночью объявлялись воздушные тревоги, пролетали вражеские самолеты, но не бомбили — спешили к более крупным целям. Лиманцы спускались в погреба

и подвалы (убежищ для населения было всего три — пока добежишь, там уж яблоку негде упасть!), слушали треск зениток и ждали отбоя. Потом перестали прятаться, следили из-под навесов за строчками трассирующих пуль и радовались, когда прожекторы засекали вражеский самолет, который светился, как игрушечный. Все ждали, когда его сбьют...

Передавались слухи, что фронт укрепился, что наша конница прорвалаась под Варшаву. Уже некоторые смотавшиеся в Одессу стали возвращаться восвояси и распаковывать багаж. Но предприятия, которые временно эвакуировались, почему-то медлили и не трогались в обратный путь.

Вдруг настроение стало меняться. Сначала рынок взвинтил цены, хотя в то лето фруктов и овощей было хоть завались. На второй день рынок мялся и не замечал денег. Намекал, что ему за продукты нужны не цветные бумажки, а ситец, мыло и керосин. Но в магазинах — хоть шаром покати, да и закрываться они стали без всякого предупреждения. На третий день базар и вовсе опустел...

Вот тут-то и возникло ощущение чего-то неотвратимого, несмотря на чистейшее летнее небо, на тиший прозрачный лиман, на наливающиеся гроздья винограда и извечное чириканье воробьев.

Спустилась ночь — лунная, звездная, но, к счастью, без налетов. Лиманцам не спалось. Чуяло сердце — надвигается что-то. И действительно, за полночь улицы ожили, десятки машин с незажженными фарами потянулись к переправе и в объезд лимана.

— Уходят... — дрожью пронеслось по домам.

Лиманцы почувствовали себя детьми, которых взрослые бросают на ночь одних.

Забрезжило бессонное утро. На улицах валялись обгорелые бумаги — почему-то везде стало много бумаг, оседала пыль... И вдруг по всем стеклам разом ударили взрывы. Столб черного дыма поднялся над электростанцией. Начались пожары.

Два часа громыхали взрывы — обрушилась почта, рухнул вокзал, горели склады... Синее летнее небо заволокло дымом. На улицах — ни души.

(Осенью 1941 года, вернувшись в Лиманск, я на руинах увидел надписи, гласящие, что это следы большевистского варварства. А спустя три года в местной газе-

те появились фотоснимки этих же руин — вкупе с новыми — как свидетельство фашистского варварства. Лиманцы никак не комментировали такие фокусы: в конце концов варварство есть варварство, как его ни называй...)

Аристид Аристидович в белом костюме, с непокрытой головой решительно вышел из дома. Он шел наугад и смотрел по сторонам. На войне как на войне — он понимал. Помнил первую мировую. Но сердце — оно разрывалось и ничего понимать не хотело...

Он остановился у педучилища, бывшей гимназии (женской — при царе, мужской — при короле). Это здание, пожалуй, красивейшее в Лиманске. За чугунной оградой маленький парк с фонтаном, потом вырастает нечто вроде дворца с башенками по углам. Но самое потрясающее — это длинные коридоры на обоих этажах. Широченные, шагов двадцать, не меньше; с одной стороны — огромные окна, с другой — классы. Коридоры сплошь выложены разноцветным узорчатым мрамором. Он горит и переливается отшлифованным блеском словно каток...

Аристид Аристидович издалека увидел, что двери распахнуты. Прошел по аллее, обогнул онемевший фонтан и увидел хмурого бойца с каким-то баком за плечами. Солдат торопливо брызгал распылителем по дверям и стенам. Резко пахло бензином.

— Что вы делаете, позвольте узнать? — голосом, срывающимся от волнения, спросил Аристид Аристидович.

— Уходи, папаша! — зло крикнул боец.

— Это не военный объект! — Аристид Аристидович защитно выставил руки и вскинул голову.

— К черту, все к черту! Думаешь, мне сладко? — Боец левой рукой провел по лицу, размазав серые полосы на щеках.

— Это же дворец. Дворец!

— А ты о ком печешься? Они здесь устроят казарму.

Аристид Аристидович шагнул и порывисто схватил его за руку.

— Не жги. Скажи, к кому обратиться.

Боец освободил руку. Потом снял бак из-за спины и подошел к дверям. Грязными пальцами вытащил папиросу, размял ее, закурил. Усмехнулся:

— Значит, обратиться... — Потом добавил грубо и резко: — Не к кому! Мы — последние...

— Молодой человек! — вспылил Аристид Аристидович. — Ты, видно, забыл, что придется вернуться сюда! Тебе уже все равно, хоть трава не рости?

Боец глубоко затянулся и выбросил папиросу за порог.

— А ты в душу мне не лезь! Не лезь! У меня все горит внутри. Вот, — он развел руками, — такую красотищу оставляем.

— Ну и оставь, оставь. Будет что отвоевывать.

— А ты почему остаешься? Их ждешь?

— Дурак ты. Куда я пойду? На твой хлеб, на твою шею? Как-нибудь сам себя прокормлю. Я тебя буду ждать. Мое дело — ждать. У меня сын в Красной Армии.

— Убьют тебя...

— Не убьют. Я их знаю, румын-то. А вот в толк не возьму — как вы даете стрекача?

— Да что, папаша, я перед тобой буду за всех ответ держать?

— Будешь, а как же? Ты мне ответишь — зачем бежишь? Стыдно небось?

— Некогда мне, папаша. — Боец заморгал редкими ресницами и опять провел рукой по лицу. — Нас обошли. Глубоко обошли, понял? Мало ли что на войне бывает... Мы еще расквитаемся.

— Вот это другой разговор! Дай, сынок, я тебя обниму на счастье!

Аристид Аристидович прижал его к себе. У того руки висели, как плети, только плечи передернулись и голова на миг прижалась к щеке старика.

— Как тебя зовут? — спросил Аристид Аристидович.

Боец отстранился и стал почему-то отряхиваться.

— Федор, — сказал он. — Теперь уходи. Быстро!

Аристид Аристидович посмотрел в его глаза, молча повернулся и ушел. Он медленно ступал по аллее, миновал фонтан, страшась оглянуться. Только у ограды остановился, на минуту закрыл глаза и, глубоко вздохнув, обернулся: здание не вспыхнуло пламенем. Оно дремало в сиротливой тишине. Одно из красивейших зданий в Лиманске, где проучилось столько поколений и стольким еще предстояло учиться.

Лиманцы не выходили на улицу. Самые храбрые подходили к воротам, но за воротами начиналась неизвестность. Перейти улицу — как переплыть океан. Улица, ларек на углу, водопроводная колонка, акации, тротуар, где каждый квадратик, каждая щербинка были до боли знакомы, — все это стало угрожающим и чуждым. У каждой улицы — два конца: неизвестно, куда ведут и кого приведут. Улицы продувало сквозняком пространство, налетавший ветер перебирал бумаги на мостовой, гнал низко над зелеными кронами удушливый дым и запах гари... Город замер, как жук на дороге, прикинувшийся мертвым. Тишина росла невыносимо.

И послышались шаги. Каждая щелка в ставнях, калитках, воротах, замирая, ждала, кто попадет в ее узкое поле зрения.

Прямо посреди мостовой шел стройный стариk, весь в белом. Он долго разгуливал по улицам, приглашая город поверить, что еще далеко до светопреставления...

Потом Аристид Аристидович исчез. Город ломал голову — куда он подевался? Вроде без него стало опять страшновато. Несколько пронырливых пацанов вызвались на разведку. Они пошли задами, перелезая через заборы. Минут через десять гонцы принесли потрясающую весть: Аристид Аристидович разжег примус и готовит обед. Милочка под акацией кормит грудью ребенка. Во дворе стол накрыт скатертью, на нем тарелки, ложки...

Был полдень. Понемногу город зашевелился, выходя из оцепенения. Старики потянулись к Аристиду Аристидовичу. Женщины смущенно и опасливо переступили пороги своих кухонь. Мальчишки улетучились, стоило только отвернуться. Им не терпелось освоить брошенный город.

Старики молча расселись вокруг стола, накрытого скатертью. Аристид Аристидович стоял поодаль и щеткой стряхивал с себя черную пыль.

— Такие дела... — сказал дядя Митя.

Ему не ответили. Смотрели на Аристида Аристидовича. Он работал щеткой, неудобно было его беспокоить. Известно — если человеку есть что сказать, сам скажет. Чтоб его подтолкнуть, старики стали обмениваться мнениями. Выходило, что с часу на час вступят румыны. Слава Богу, без боев. Или будут сдуру палить по городу? Будут ли они мстить тем, кто оставился при

русских,— вот вопрос. И надолго ли ушли русские — вот второй вопрос. И как уберечь женщин, детей и свои несчастные пожитки — третий вопрос.

Влетали мальчишки с новостями.

— Потише! — просила Милочка.

Младенец спал на веранде, в тени. Милочка, распавенная, розовая, неподалеку стирала пеленки в корыте. Над колыбелью висело полотенце, от него шла веревочка к запястью Милочки, от ее движений полотенце держалось, отгоняя мух и создавая ветерок для ребенка. Это придумал Аристид Аристидович. Мальчишки шепотом сообщали, где что горит, что взорвано, где пусто. Но — никакого признака войск. Ни тех, ни других.

— Безвластие... — покачал головой дядя Митя.

— Будем брать власть? — спросил Аристид Аристидович, то ли в шутку, то ли всерьез.

— Да ну ее... — плонул дядя Митя. — Сдалась она мне, как собаке пятая нога.

— И все-таки, — начал Аристид Аристидович. — Я говорил с последним русским солдатом. Он сказал, что Красная Армия отходит по приказу. Потому что ее в этом месте обошли. Отходит, чтоб не попасть в окружение. А в подобных случаях войска, отходя, стараются как можно дальше оторваться от противника. Следовательно, румыны припозднают, ой как припозднают! Пока сообразят, что фронт оголен, пока вышлют разведку да пока она вернется, пока наведут переправы через Дунай и Прут... Они рисковать не любят.

— Выходит, их сегодня не будет?

— Может, и завтра не будет...

Старики заволновались, заговорили разом:

— Успеем уйти из города. Переждем.

— Дудки. В деревнях как прознают, что в городе никого нет, так разграбят подчистую.

— И то правда...

Братья Столянские старались прочесть по губам, о чем речь. Они возбужденно меж собой заговорили на пальцах. Старший сказал вслух:

— Помогите нам закопать музей, люди добрые...

— Придется, значит, — сказал Аристид Аристидович, — в некотором смысле брать власть. В некотором, весьма осторожном смысле. Давайте пораскинем мозгами...

Город как-то не сразу осознал, что никаких властей

нет, что разразилась полнейшая свобода и каждый может делать все, что ему вздумается. Но, спрашивается, что может вздуматься рядовому лиманцу? Ровным счетом ничего особенного. И выходило на поверку, что от этой полнейшей свободы одни неудобства. Дядю Митю, например, раздирали сомнения. Кинуться ли к своему бывшему ресторанчику и завладеть им? Как-то неловко перед товарищем Никаноровым. Уйти-то он ушел, но будто следит за тобой — дескать, интересно посмотреть, кто ты есть такой...

Дядя Митя привык получать зарплату на винзаводе, где он вступил в профсоюз, где ему обещали путевку в черноморский санаторий. Со скидкой, на август... Работать на заводе было спокойней и, честно говоря, куда легче. Десятки других людей ломали себе головы над планом, сметой, доставкой сырья и сбытом продукции... Верней, над сбытом продукции вовсе не ломали голову. Просто сдавали ее целиком на оптовые базы — и с плеч долой. Милое дело! Перевыполнишь план — премия. Правда, дядя Митя не пил заводского вина. Он дома делал лучше. Но у завода был зато невиданный размах. Столько бутылок дядя Митя во сне не видал! Если ж вино было похуже, то, во-первых, завод от этого не страдал, а во-вторых, продукцию отправляли на Север и за Урал, где в винах не очень-то разбираются.

Дядя Митя знал, что винзавод взорван, что двор и подвалы залиты вином, что воробы и вороны дуреют и падают с веток, как яблоки-груши... Дядя Митя тосковал и мучился. Восстановить ресторанчик — сколько хлопот, Боже ты мой! Сколько беготни, сколько нервов и крови! Волынка и каторга! Ни местком, ни начальство — никто о тебе не позаботится... Вот только Аньюту сохнет — негде ей развернуться...

Что же делать, когда можно все делать? Напиться в стельку? Уйти от Аньюты к какой-нибудь молодухе? Дать кому-нибудь в морду? Анекдот, ей-Богу!

Тетя Роза вовсе не задумывалась — есть ли какая власть, нет ли ее. Она сокрушалась, что идет война, как сокрушалась бы, что разразилась эпидемия, или случилось землетрясение, или ударили град... Жалела, что лишилась своих квартиронток, двух веселых медсестер, которые называли ее мамашей и учили играть в дурач-

ка. Тетя Роза неизменно проигрывала и страшно удивлялась — почему. Ей втолковывали, что надо было принять, а не крыть, или, напротив, крыть, а не принимать. Тетя Роза ахала, кивала, уверяла, что теперь поняла, но безбожно путала все наставления. Для тети Розы трое суток безвластия прошли незаметно. На нее была целая очередь. Розина помошь была нужна мамашам и хозяевам. Как никогда.

Аня Тержанова плакала.

Соня, ее сестрица, притащила домой два учрежденческих стула и была чрезвычайно довольна.

Олимпиада Стамбулова голодала. Она тоже лишилась квартирных, а значит — единственного дохода. Те сто с лишним рублей, которые она припасла про черный день, никто теперь почему-то не брал. Она, надеясь на угощение, разносила соседям жалкие подарки: чайную ложечку, завернутую в тряпку, ступку, раму для картины, открытки с видами Санкт-Петербурга... Она медленно, с достоинством перемещалась по улице, глядя перед собой глупыми, совиными глазами.

Маргарита после мобилизации отца осталась на попечении тетки. Она, пожалуй, острей других ощутила междудвластие, потому что оно двойным ожиданием колебалось в ее сердце, словно качели. Ион Георгиу, разлученный с нею год назад, теперь мог объявиться со дня на день. Милый Ион Георгиу, такой предупредительный, благородный, так возвышенно чувствующий поэзию, музыку и романтику будущей всемирной свободы... Неужели его тоже втянуло в воронку войны и он вынужден стрелять в русских, которых считал братьями? Откровенно говоря, Маргарита думала об этом лишь вскользь — ее волновало, как сложатся дальше их отношения. Если он остался прежним, если любит ее — захочет жениться. И ему придется рассказать правду. Придется рассказать, что за ней ухаживал Боря Градов, киевлянин, инструктор обкома комсомола, командированный в Лиманск на весь март сорок первого года. Он тоже хотел на ней жениться, отец ее уговаривал и торопил, но Маргарита не решилась. И ничего такого между ними не было... Однако если разобраться, то между Маргаритой и Ионом Георгиу тоже ничего такого не было. Маргарита была слишком порядочной, а Ион слишком благородным, хотя оба друг в друге души не чаяли. До свадьбы не могли себе ничего позволить.

В тот вечер расставания, когда два государства их разъединили, оба горько жалели, что ничего себе не позволили. Они целовались при отце и Феде, целовались и плакали. Но со временем Ион стал казаться безвозвратно от нее отделенным, и она решила, что, может быть, к лучшему, что они не поторопились. И вот в нее влюбился Борис Градов, он был совсем другой — быстрый, с уверенной легкостью и простотой отмечавший все сложности и предрассудки. Маргарита сторонилась такого натиска, как головокружения, она упиралась, злилась до слез и однажды проснулась влюбленной по уши. Все же память об Ионе и врожденная лиманская порядочность не дали ей переступить границы. Тут настала Борина очередь негодовать и кипятиться — он же честный парень, он не просто так, он предлагает пойти *расписаться!* Вот это слово и убило Маргариту, мечтающую о помолвке, о красивой свадьбе, о белом подвенечном платье...

— Мы едва знакомы! Как же так, сразу?

— Вот дурочка-мещаночка! Ведь хочешь — и я хочу. Айда в загс с паспортами. Хоть сейчас!

— Боря, я этого не понимаю. Это не игра. Это — на всю жизнь, а вдруг ошибемся?

— Ритка, милая, что за старорежимные страхи! Не сойдемся характерами — разойдемся. Только и всего.

— О! — ошеломленно простонала Маргарита и залилась слезами. Так по-детски беспомощно и отчаянно, что Борис оторопел и весь вечер, бродя по берегу лимана, утешал ее и даже читал стихи. Но какие стихи! Он цитировал Маяковского: «Я не за семью. В огне и дыме синем выгори и этого старья кусок, где шипели матери-гусыни и детей стерег отец-гусак». Борис называл поэта великим и горячо объяснял, что он лично за семью, но только новую, свободную, не буржуазную, что в таком смысле и надо понимать поэта. И опять на него ссыпался: «Чтоб не было любви — служанки замужеств, похоти, хлебов. Постели прокляв, встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь!»

Перепуганная Маргарита наотрез отказалась *расписаться* и на все его настояния отвечала модным словом:

— Ты меня не *агитируй*!

Борис бранил ее и умолял, хлопал дверьми и возвращался — Маргаритино сопротивление в конце концов заставило его лишь влюбиться крепче. Уезжая, он сказал:

— Ритка, клянусь, что нагряну летом и умыкну тебя в Киев!

Летом началась война.

Сердце Маргариты замерло в междуречье — она ждала двух, а никто не пришел. Она долго ждала и вдруг с ужасом почувствовала, что годы прошли и ей не на шутку грозит стать лиманской старой девой очередного поколения...

Милочка Карайманова родила перед самой войной и теперь воспринимала мир только с точки зрения своего требовательного, голосистого сосунка. Она отважно назвала сына Федей, — она одна знала, чей он. Ее муженек, Георгий, вернулся из румынской армии недели через три после прихода русских, после ее тайной ночи с Федором Аристидовичем. Милочка наивно рассчитывала на дальнейшие свидания с Федей, но тот как ножом отрезал. Уехал в Кишинев в середине лета и не написал ей ни разу. Со слов Аристида Аристидовича она узнала, что Федя устроился на завод, а осенью поступил в вечернюю школу. Теперь он, без сомнения, в Красной Армии...

В последнем письме, за месяц до войны, Федя наказал отцу позаботиться о Милочке и Маргарите, если что случится (неужели Федя так точно предугадывал, что будет?). Когда Георгий Карайманов был призван и ушел со стройбатальоном, а Милочка осталась одна с ребенком на руках, Аристид Аристидович взял ее к себе, перенес астрономические приборы и полбиблиотеки в чулан и по два раза в день звал на помощь тетю Розу...

Трое суток безвластия оказались для лиманцев нелегким бременем. Идея Аристида Аристидовича наладить некий временный порядок не осуществилась. Во-первых, потому что лиманцы и так не ударились в анархию, не обнаружили никаких звериных инстинктов. Во-вторых, старики, а за ними и остальные с облегчением провозгласили Аристида Аристидовича президентом Лиманской республики, но делить с ним власть не wollteли. Предпочли, чтоб он стал диктатором. Единственным в своем роде — без армии, без чиновников. Просту говоря, без ничего. Впрочем, нет... гвардию мальчишеч он все-таки вокруг себя сколотил.

Братья Столянские от Аристида Аристидовича прямиком направились в городской музей. В прошлом году русские их почтили вниманием: несколько раз заглядывал к ним молодой советский историк, советовался, спрашивал, записывал в блокнот разные сведения, потом попросил для городского музея кое-какие экспонаты. Братья с радостью дали. Тем более, что на табличках появилась надпись: «Из собрания Столянских».

Музей был большей частью вывезен. Остались только тяжести и мелочи. Старинная пушка перед входом, а во дворе ядра, плиты с надписями, обломки колонн и амфоры. В залах оставлены диаграммы и схемы, чучела, макеты, карты, немало книг, журналов и газетных подшивок. Братья пришли вовремя. Стайка сорванцов разлетелась при их появлении. Старики принялись застаскивать все (кроме пушки) в библиотеку. К вечеру на ее дверях появился увесистый замок.

Аристид Аристидович распорядился, чтобы ему докладывали, где что найдено. Обнаружили, например, несколько ящиков консервов — одни крабы. Нашли еще театральные костюмы, тюк облигаций и коробки медикаментов. И свечи — они особенно пригодились.

Но как ни старался Аристид Аристидович, на трети сутки тоска и страх опять сковали лиманцев. К вечеру пролетели три самолета. Потом вернулись и стали кружить, снижаясь. Пожары уже затихли, небо прояснилось, и косое солнце прочесывало город. Самолеты были не румынские. Можно было различить свастику на хвосте и кресты на крыльях... Матери позапирали своих непоседливых сыновей.

А они-то были единственными, которые в эти дни вкусили свободы. В кои веки еще увидишь город без машин и милиционеров, город, в котором столько пустых квартир, в котором школы, кинотеатры, поликлиники, магазины распахнуты перед тобой и еще таят по углам вороха тайн и богатств...

И все-таки свобода ребят выглядела относительной. Из-за мам и дедушек-бабушек. С их слезами и истериками приходилось считаться. К тому же, несмотря на то, что кварталы города поделились на сферы влияния, осталось много спорных мест, а это приводило к дракам, показывающим оборотную сторону свободы. То есть заднюю...

Полная свобода выпала сумасшедшем. Их было пя-

теро. Они внезапно объявились на улицах в желтых халатах с длинными рукавами. И разбрелись кто куда. Видели, как угрюмая старуха ушла в степь и больше не вернулась, другая упала в крепостной ров и разбилась насмерть. Кто-то странный — то ли мужчина, то ли женщина — вошел в лиман и пошел по берегу, выкрикивая непонятные слова. Этих не знали. Но простоволосую девушку, которая с хохотом добежала до пустыря, скинула халат и стала кататься в пыли, знали. Ее звали Эмма, она свихнулась года два назад после какой-то темной истории в Бухаресте, куда поехала учиться. Она всегда была тихая, застенчивая, а как через месяц вернулась, так и слегла. Молчала-молчала, а потом стала биться головой об стену...

К счастью, мать Эммы осталась в городе. Ей быстро сообщили, она, плача, утащила безумную Эмму домой.

Знали и Айзика, бывшего аптекаря. От него ушла жена. Удрала с каким-то румынским офицером. Айзик вытерпел это. Через год Сара вернулась. Он простил, целовал ей ноги и плакал. А ночью она повесилась... Айзик, казалось, вынес и это. Но когда ее хоронили, то есть стали закапывать, он сумасшедшим голосом закричал, что она живая, и стал на всех бросаться. Его лечили лет десять. Не вылечили. Но с ним произошла перемена. Он начисто забыл о самоубийстве жены, уверял, что она беспутная дрянь и живет с офицерами. Себя же он время от времени считал пророком и предрекал несчастья. И вот теперь, обросший, худой, с жуткими запавшими глазами, он пробегал по улицам, подпрыгивая и крутя рукавами. Он не давался в руки, чуял, когда хотят поймать, и удирал с отчаянной скоростью.

Утром вошли румыны в тихий, притаившийся город. Взвод солдат остановился на площади. Подъехала машина, из нее вышли трое румынских офицеров и немец. Один из румын оказался Стратаном, бывшим шефом жандармского поста. Он снял фуражку, перекрестился, потом бухнулся на колени и поцеловал булыжник на мостовой.

Птицей влетел Айзик на площадь.

— О! — закричал он, пораженный, и вскинул к небу длинные руки. — Здравствуйте, ваше сиятельство, черный кот, кобель, червь, кровь. Сара, выходи, паскуда, блудница, — где твои туфли?

Стратан очумело вскочил на ноги. И узнал его.

— Айзик! — крикнул он. — Цыц!

Айзик обхватил свою лохматую голову руками и затянул, раскачиваясь, заунывшую, визгливую песню. Тем временем немец вытащил пистолет, прицелился и спустил курок.

Это был первый выстрел в Лиманске. Айзик вздрогнул и замолчал. Руки его судорожно схватились за грудь, он упал на колени, и глаза его обрели удивленное, осмысленное выражение.

— Зачем? — хрипло спросил он.

Немец выстрелил вторично. Айзик стукнулся головой о булыжник и забрызгал его кровью. Ноги еще держались. Немец выстрелил три раза подряд, пока Айзик не затих совсем. Стратан стоял бледный как полотно. Праздник был испорчен.

Вечерние бухарестские газеты и радио сообщили, что город взят штурмом, большевики с крупными потерями опрокинуты в лиман. Генерал Крачун был награжден королем за блестящее проведение последней военной операции на территории Бессарабии.

Лиманцам приходилось потом в многочисленных советских анкетах и автобиографиях писать «был (была) в оккупации», хотя и до сорокового года жили там же при тех же румынах. Вдобавок румыны, вернувшись летом 1941 года, не вводили никакого оккупационного режима в Бессарабии. Более того. Они объясняли, что оккупация была, но советская, а теперь, слава Богу, ее нету.

Вернулись и прежние порядки. Румыны старались восстановить их в том виде, в каком они были, то есть в довоенном, и это в принципе им удалось. Не было даже карточной системы. Магазины, лавочки, базар вскорости стали торговать, как в мирное время, товаров и продуктов хватало. Улицы по большей части обрели прежние названия (учитывалось, конечно, что пришел другой король — Михай I со своим верным сподвижником маршалом Антонеску). Вместо отхлынувшего контингента советских приезжих вернулась часть отхлынувших румын, но, увы, нельзя сказать, что собственно лиманцы остались в неприкословенности. Особенно это касалось мужчин молодых и средних лет. Вот их-то разметало кого куда. Их место зияло и свидетельствовала

ло о постоянном присутствии войны. Лиманск делал вид, что вернулся к мирной жизни, хотя вторая мировая была в самом разгаре. И длился этот лиманский самообман почти три года, пока фронт, как маятник, сперва удалился до Волги, потом толчками пошел обратно.

Пусть видимость, пусть иллюзия, но ведь факт, что Лиманск умудрился избежать тяжкой участи оккупированных территорий (и неоккупированных, ибо советскому тылу тоже досталось, не приведи Господь!). Долго еще после войны лиманцы чувствовали неловкость и стеснение совести всякий раз, когда речь шла о блокадном Ленинграде, об Освенциме или Бабьем Яре...

Мирча Пуркару летал над Одесским фронтом на немецком истребителе. Третий месяц он хмелел от гордости в русском небе. Машина так слушалась, будто угадывала его желания. Он презирал русскую авиацию, пехоту обеих сторон, затоптавшихся на месте, и даже немецких летчиков с их педантизмом и дотошными предосторожностями. Мирче нравилась война, потому что ему везло, потому что он побеждал и хотел еще много раз побеждать. Больше ни о чем не думал. Азарт удачи, упругость и раскованная сила — что еще нужно молодому военному летчику? А еще мелочь, совсем незначительная, пустяковая заноза: Мирча должен был предъявить счет тете Розе за ту улыбку в сороковом году, когда он вынужден был без боя бежать из Бессарбии по приказу своего трусливого правительства.

Та улыбка была больней всего, он помнил ее весь этот долгий год и спешил расквитаться.

Он выкроил денег и на попутной машине примчался в Лиманск, спрыгнул у знакомого зеленого ларька и прямиком направился к тете Розе. Он толкнул калитку, глубоко чувствуя, что только теперь по-настоящему кладет конец своему прошлому невольному позору...

Те же кусты сирени справа, те же акации перед застекленной верандой. Это его слегка удивило, — ожидалось запустение или по крайней мере зримые следы большевистского разгула... Он перемахнул ступеньки и растворил дверь. Тетя Роза кормила манной кашей какого-то мальчугана. Мирча застыл в дверях, картины, молодцеватый в лучах заходящего сентябрьского

солнца, освещавшего сбоку его плечо, погоны, смуглое волевое лицо и быстрые глаза. Тетя Роза всмотрелась и расплылась как ни в чем не бывало:

— А, Мирча! Как же, помню, помню!

— Да, именно Мирча. Не ждали?

— Почему же? Садитесь, пожалуйста. Я сейчас, только дам Жоржику еще две ложечки. Жоржик, не вертись, подавившись...

— Погодите, вы, кажется, забыли. Помните ту последнюю ночь, когда я уезжал?

— На учения?

— Какие там учения! Насовсем. Вы думали — насовсем!

— Жоржик, не брызгайся, я дам тебе шлепки... Что вы сказали?

Мирча стал беситься. Он упруго прошелся по веранде, круто и ловко повернулся, точно заводной.

— Нечего притворяться. Вы тогда улыбнулись, как дура. Улыбнулись нашему позору и горю этого края. Я запомнил.

Жоржик заревел. Тетя Роза приподнялась со стула, отряхнула платье и взяла мальчугана на руки.

— Вы на меня сердитесь? — спросила она.

— Я спрашиваю: почему вы тогда улыбались?

— Что вы, Мирча, зачем мне улыбаться? Война...

Тетя Роза совершенно не понимала, чего хочет молодой человек. Его обидела какая-то улыбка, но при чем тут тетя Роза? И зачем ребенка пугать?

Мирча хотел что-то сказать и запнулся. Плюнуть, что ли, и уйти? Он покачал головой:

— Стоило ли вас освобождать? Жаль, что большевики не свернули вам шею, тогда бы вы вспомнили ту улыбочку, старая дура! Вот он — я, я здесь опять, я бью ваших русских в хвост и в гризу. Я теперь улыбаюсь!

Но Мирча не улыбался, потому что был раздражен и видел, что хватил через край, мешал своему торжеству. К тому же этот сопляк хнычет, таращась на него, как на буку... Мирча взял себя в руки, подошел и потрепал Жоржика по щеке:

— А-гу-гу...

Жоржик вздрогнул и завопил что есть мочи. Мирча торопливо вытащил зажигалку и щелкнул ею. Жоржик покосился на огонек и сделал паузу.

Мирча, насилино себя успокаивая, произнес с упреком:

— Вы хоть бы спасибо сказали, что мы вас освободили.

— Спасибо, Мирча,— сказала тетя Роза с облегчением, и ей вдруг неудержимо захотелось улыбнуться. Это было некстати, она быстро наклонила голову, чтоб скрыть недозволенное движение губ — молодой человек мог опять оскорбиться...

Мирча по-своему истолковал ее поклон. Он теперь мог быть довольным, но удовлетворения все-таки не чувствовал. Он помедлил с горящей зажигалкой в руке, потом захлопнул ее.

Тут же ревом залился Жоржик.

Гибель Николеньки

Николенька запутался, несколько раз решал и перерешал свою жизнь, но если узел дергаешь за оба конца — лишь потуже затянешь...

Сороковой год застал Николеньку в Бухаресте, он как раз получил место графика в рекламном бюро, хорошее место, и вдобавок собирался жениться. Лучия была ласкова, как кошечка, любила петь, танцевать и считала Николеньку крупным художником. Лучия работала стенографисткой, родители ее были небогаты, но Николенька не гнался за приданым — он искал любви. Вот почему в июне Николенька решил не возвращаться в Лиманск, ставший советским. Но вскорости его забрали в армию — никакие связи не помогли. Уходя, он поселил Лучию, как невесту, в своей комнатушке с отдельным входом на улице Ксенопол.

Он ежедневно писал Лучии и получал восхитительные ответы. Конец этой истории был банальным, но для Николеньки страшным. В начале весны, получив чин капрала, выпросил увольнительную на три дня и поспешил в Бухарест, как на крыльях. С трудом открыл двери — руки были заняты коробками подарков и цветами. Включил свет и покачнулся: одеяло сбито на сторону, две вмятые подушки лежат рядышком, на столе бутылка, обядки, окурки, на ковре женский чулок, как пустая змеиная кожа... Потрясенное сердце Николеньки лихорадочно искало иного объяснения, кроме очевидно-

го. Поселилась, наверное, с подругой, ей скучно. Конечно, с подругой... Глянул в зеркало, но оно ничего не помнило, честно отражая фигуру молодого капрала, прижимающего к груди коробки и букет. И вдруг он увидел посреди стены слепую фанеру в раме — свой собственный портрет, повернутый лицом к стене.

Николенька покачнулся. Ему хотелось повеситься рядом с портретом, лицом к стене. Он швырнул подарки и цветы, схватил портрет и яростно уничтожил его. С прежним Николенькой было покончено.

Вернулся в часть одинокий как перст. И судьба при очередной переформировке свела его с Ионом Георгиу. Они не были раньше знакомы, но как только Ион узнал, что Николенька из Лиманска, они стали неразлучны. Ион постепенно посвящал Николеньку в свои мысли и находил отклик.

В начале лёта их часть выдвинули к границе. Неподалеку протекал Прут, за плавнями виднелись крыши и трубы Кагула, советского города.

Вскоре состоялся решительный разговор. Ион Георгиу был необычайно серьезен и возбужден. Он предложил Николеньке ночью перебраться на тот берег. Готовится чудовищное преступление, медлить некогда, надо предупредить мирную Советскую страну.

Николенька долго молчал, потом сказал, что рад помочь своему другу, но он лично просто хочет вернуться домой, не ввязываясь в большую игру. Вполне возможно, что русские оставят Бессарабию без боя. Из-за Бессарабии никто не станет затевать мировую войну...

Георгиу курил беспрестанно и тоже долго молчал. Потом заговорил сухо и вязко, будто у него пересохло в горле.

— Пожалуй, верно. Надо еще обдумать, разобраться. Может, я преувеличил опасность войны. Но ясно одно — в них стрелять не будем. Ты согласен?

— Конечно! — убежденно воскликнул Николенька. Он облегченно почувствовал, что напряжение спало, еще не к спеху переходить Рубикон.

Но друг его обманул. Следующей ночью он исчез, переполошив всех, от офицеров до рядовых. Начальство, поразмыслив, решило не поднимать шуму, не докладывать выше — оно спасало честь мундира: уже пришел приказ о начале военных действий. Беглеца можно будет списать как погибшего... Покамест былпущен

успокоительный слух, что Георгиу секретно отозван в штаб дивизии...

Николенька тяжело переживал недоверие друга. Он ведь согласился бы, будь вопрос поставлен ребром!

...До самого рассвета длился артиллерийский обстрел через Прут. В течение дня десантные части не сумели переправиться. После полуночи Николенька в числе других был послан на разведку. В плавнях он отбился от своих с твердым намерением перейти к русским.

Он дождался утра и вышел из зарослей камыша с высоко поднятыми руками. Его быстро повели на допрос. Николенька с перепугу говорил по-румынски, подробно рассказал обо всем, что знал, но когда понял, что его сунут к пленным и домой он не попадет, заговорил по-русски, объяснил, что он из Лиманска, то есть свой, местный, его не надо считать пленным, он добровольно перешел, честно готов служить, его поступки говорят сами за себя. Тут все трое русских нехорошо переглянулись и послали за кем-то четвертым. Николенька с ужасом почувствовал, что ему не верят. Тогда сослался на Иона Георгиу, будучи уверен, что тот заслужил благодарное доверие русских, предупредив их о начале войны. Вышло совсем худо. О плена уже и речи не было — Николеньку под конвоем отправили куда-то в тыл. Его передавали с рук на руки, перевозили с места на место, кругом происходило нечто непонятное, какая-то неразбериха. Потом о нем просто забыли. Вторые сутки он сидел в темном сарае без пищи и воды. Ночью гудели самолеты, была стрельба. К утру настала мертвая тишина. Потерпел-потерпел Николенька и стал возмущенно молотить кулаками в двери. Никто не откликнулся. Весь день с перерывом он орал и тряс двери сарая.

Вечером дверь открыли два румынских солдата. Николеньке пришлось бурно обрадоваться и без конца рассказывать, как он попал в плен. Почему его держали отдельно? Потому что ничего не говорил. Его били и собирались расстрелять...

Когда Николенька появился в Лиманске, он опять был капралом. Он шел штурмовать Одессу.

Тетя Анюта плакала от радости и от страха, а дядя Митя за стаканчиком вина по-мужски беседовал с сыном. Он вздыхал, сокрушался, у него были дурные

предчувствия. С русскими шутки плохи, они не просят... По мнению дяди Мити, Николеньке следовало отвертеться. Зачем штурмовать Одессу? Лучше заболеть, дядя Митя берется это устроить. Николенька ответил, что после истории с плenом никак не поверят в его болезнь. Ничего не поделаешь, придется идти. Он не собирался стрелять в русских, то есть будет стрелять для виду, но к ним уже не перейдет. С него довольно. К тому же они явно проигрывают войну...

Сентябрьским утром ни с того ни с сего дядю Митю вызвали в сигуранцу. Он шел по улице, наклонив свою бычью голову, будто собирался бодаться. Смотрел под ноги и все-таки замечал все, что делается вокруг, по той давнишней привычке, когда он, разливая вино за стойкой, ухитрялся подметить, кто как ест и чего желать изволит.

Теперь дядя Митя исподлобья поглядывал по сторонам, спрашивая город, как он себя чувствует и как собирается жить дальше. Город буднично хлопотал, старательно прикидываясь, что очень занят,— зима на носу, а угля нет, надо скорей запастись камышом в плавнях... Что толку думать о том, почему отныне нельзя разговаривать по-русски, почему, если национальность не та, человек становится прокаженным, почему. почему... С проклятыми вопросами можно повременить, а мелкие заботы неотложны... Город поступал, как тот больной, который бодрится, спешит отвлечься и не думать над тем, чему думаньем не поможешь.

Никто ведь не ожидал, что Красная Армия уйдет, да еще без боя. Никто не знает, на сколько она ушла. Румыны трубят об освобождении Лиманска, но при этом считают город глубоко виноватым и недостойным прощения. Виноватым, что оставил на месте и жил с большевиками. А город втайне знал, что виноват тот, кто начал войну. Истина была самой очевидной, а потому и самой крамольной. Истина же бывает крамольной до поры до времени. Город присматривался, прислушивался и выжидал.

На мир обрушилась кровопролитнейшая из войн, а мадам Стратан вернулась в Лиманск с твердым намерением найти все шесть сервисов, швейную машинку, телефон, шифоньерку и фикус в кадке, то есть ту ничтож-

нейшую часть своего добра, которую не успела увезти в сороковом и которую конечно же растащили лиманцы при большевиках. Она и к тете Розе нагрянула, но ничего своего не обнаружила, кроме кофточки, действительно подаренной Розе за то, что нянчила Титуса. Вдруг мадам Стратан увидела патефон, стряхнула с него пыль, прочитала русскую надпись и спросила:

— Большевицкий?

— Что вы, Боже упаси! Это Маня с Дашей, сестрички из госпиталя, на квартире были. И пластинки ихние, можно послушать. Где-то здесь есть про «легко на сердце от песни веселой», сейчас найду. Молоденькие, им интересно про сердце. Они со мной в дурачка играли.

— Все вы в дурачка играли... А патефон я, пожалуй, заберу. Пока мой найдется.

— Пожалуйста, я все равно не слушаю.

— А я тебя и не спрашиваю. Патефон не твой, трофейный.

— Только, когда найдете свой, верните. А то Маня и Даша с меня спросят...

— Идиотка, вот идиотка! Твоим большевикам крышка, поняла?

Тетя Роза не поняла.

Так и не угадав, откуда ветер дует, дядя Митя оказался в сигуранце. Небольшой уютный кабинет, запах роз от букета на подоконнике. Серджиу Поп сосредоточенно настраивал приемник. Дядя Митя поздоровался и, не дождавшись ответа, замер у дверей.

Серджиу Поп, тот самый, который до войны допрашивал Федю, поймал «Дунайские волны», приглушил звук, обернулся и небрежно сказал, будто они век были знакомы и продолжали прерванную беседу:

— Хорошо тебе жилось при большевиках.

Дядя Митя закашлялся, извинился и покачал головой:

— Интересно, кому это приспичило на меня наговаривать?

— Значит, наговорили... А на самом деле плохо жилось?

Дяде Мите не нравился такой разговор. Особенно когда неясно, чего от тебя хотят. Он вздохнул:

— Мне, конечно, очень приятно, что господин шеф

интересуется. А то живешь-живешь — и никому дела нет, как ты живешь...

— Тогда разберемся. Представь себе, живет верноподданный королевства, пользуется всеми благами, а в трудную для королевства минуту становится гражданином враждебной державы, вступает в красный профсоюз, получает премии на заводе и путевку в Крым. Видимо, за какие-то заслуги.

Дядя Митя помолчал, глядя в окно, и сокрушенно проговорил:

— Маленький человек всегда виноват...

Серджиу Поп сел за стол.

— Так и запишем: признает, что виноват.

Дядя Митя обиделся, но пересилил себя. Этот начальник издевается, валяет дурака, но к чему-то ведь клонит. Надо в ответ повалять дурака, словчить малость.

— Вы, конечно, имеете в виду, что я им рестораник подарил. Через силу подарил, чтоб не отняли. Я пострадал от них, господин шеф, и мой единственный сын Николенька в вашей армии!

Серджиу Поп в упор уставился на дядю Митю и отчеканил:

— Твой сынок — дезертир.

Дядя Митя вздрогнул, неожиданно для самого себя выпрямился и, решительно подойдя к столу, спросил сухо, почти по-деловому, будто стряхнул с себя пошлую роль:

— Расскажите, в чем дело.

Серджиу Поп уважал деловой разговор, потому ответил в лоб:

— Плохо дело. Его расстреляют.

В этих страшных словах потрясенный дядя Митя уловил проблеск надежды. Начальник произнес их так, словно он ни при чем и даже сожалеет. За этим что-то кроется, только бы угадать. И в течение всего дальнейшего разговора дядя Митя четко подстерегал хоть малейший намек на причину мелькнувшего проблеска. Разговор был похож на пытку, Серджиу Поп не мог отказать себе в удовольствии поиграть превосходством казуистики над отцовскими чувствами. Он управлял облегчением и отчаянием.

Сначала Серджиу Поп заставил дядю Митю прослушать полный текст закона о дезертирстве, который исключал всякую возможность снисхождения, потом пере-

шел к фактам. В деле имеется бумага. В этой трофеиной бумаге черным по белому написано, что Николенька добровольно перешел к красным вслед за Ионом Георгиу. Показания подписаны самим Николенькой. Такой отрывок из советского протокола полностью изобличает дезертира.

Дядя Митя воскрес. Значит, Николенька не пытался вторично перейти к русским. Его схватили за прошлый случай, просто-напросто всплыла злополучная бумага — и больше ничего! Дядя Митя вскочил, он даже позволил себе рассмеяться. Боже мой, какие глупости, какие ужасные глупости! Это же всем известно: мой сын попал на несколько дней в плен к русским. Что ему было делать? Он же бессарабец, ему бы не поздоровилось. Вот он и наврал с три короба. Вы бы поступили иначе? Хотел бы я посмотреть! Как только его освободили, он отправился воевать. Воевать! Это же рисковать жизнью каждую минуту! Какой же он дезертир?

Серджиу Поп согласно кивал головой, дал дяде Мите выговориться. Когда тот выдохся и стал платком вытирая шею, он медленно произнес:

— Тем хуже. Твой сын не простой дезертир. Он засался в нашу армию, чтоб замести следы.

— Не понимаю! Дезертир, который не дезертировал?

— Именно. Это опасней. Представь себе, один дезертировал с перепугу, неожиданно для себя. Второй твердо намерен дезертировать и ждет удобного момента. Ясно, что тот, у кого намерение дезертировать, опасней случайного дезертира. Но это еще полбеды. Есть доказательства, что твой сын — шпион.

— Какие доказательства? Где они?

Серджиу Поп снисходительно улыбнулся:

— Отсутствие доказательств как раз подтверждает, что речь идет об особо опасном шпионе. Только ordinary разведчики оставляют улики.

Дядя Митя отчаялся бы, однако чутье подсказывало ему, что начальник резвится. Правда, эта резвость таила в себе тупую угрозу. Дескать, если захочу, пущу в ход такую систему обвинений, которая сработает без осечки. Если захочу... Почему же не хочет? Ему ведь явно наплевать на судьбу Николеньки... Дядя Митя изнемог от напряжения, ловя ускользающую зацепку.

Между тем он болтал без умолку, горячо доказывал, что Николенька с детства даже играть в шпионов не любил, он писал замечательные акварели, всегда был послушным, даже слишком послушным и застенчивым. Вернее, был простодушным и доверчивым. Немножко не от мира сего. Никаких материальных интересов или расчетов. Хотите, я подарю вам его картину, где рыбачий шаланды на фоне рассвета? Вы поймете его душу, нежную душу моего мальчика. Как вы можете поверить такой несчастной бумаге? Кто только подсунул вам эту бумагу, холера на его голову?

— Осторожней! Этот документ — от гестапо.

— Тысяча извинений! Я не хотел обидеть господина Гестапо.

— Это не господин, а немецкая служба безопасности.

Дядя Митя почувствовал озноб удачи. Наконец-то он нашупал скрытую пружину поведения этого начальника из сигуранцы. Это чрезвычайно важно! На эту клавишу надо нажать обеими руками!

И началась борьба за жизнь Николеньки. Дядя Митя и тетя Аньют подняли на ноги почти весь город. Было тонко продумано, кто от кого зависит, кто кого слушается, кто на кого может повлиять и чем именно. Были учтены жены всех начальников, их дети и родственники. Были пущены в ход слезы, просьбы и подарки. Удалось склонить в пользу Николеньки Титуса, мадам Стратан и, наконец, самого Стратана, у которого были колоссальные связи. Им тактично внушили, что их национальный престиж пострадает, если солдат румынской армии будет осужден по настоянию немцев. Никто, конечно, не помышлял об открытом противодействии. Просто выискивался способ, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Но сперва выиграть время, поканителить.

Это удалось.

Первый успех выразился в том, что Николеньку перевели в Лиманскую тюрьму, то есть он оказался не только поблизости от родителей, но и в прямом ведении местных властей. Отсюда и некоторые льготы. Разрешили арестованному носить передачи каждый день, а свидания — по субботам.

Дело Николеньки в трибунале неторопливо обкладывалось смягчающими обстоятельствами. Достоверно стало известно, что трибунал склонен к снисхождению, то ли потому, что Николенька явно не выглядел большевиком, то ли потому, что румынский суд не был в восторге, когда обвинение исходило от гестапо, то ли потому, что жена прокурора получила золотой нательный крестик от тети Аньюты...

Во второй половине ноября Николенька имел внеочередное свидание с родителями. Он истомился, шел третий месяц заключения. Похудел, осунулся, запавшие глаза стали серьезными, мудрыми не по годам. Он пришел к выводу, что жил глупо в глупом мире и что бороться лишь за сохранение существования — не стоит. Единственное оправдание дальнейшей жизни — сделать из себя человека, выковать твердость характера и убеждений, найти друзей-единомышленников, чтоб никогда больше не быть щепкой в водовороте событий. Друзья ему представлялись похожими на Иона Георгиу, который доказывал, что мир нуждается в решительном переустройстве. Николенька убедился, что надо перестроить сначала самого себя, быть достойным дружбы с настоящими людьми. Эти мысли отвлекали его от подробностей борьбы за его жизнь и слегка отчуждали от сиюминутных интересов родителей. Потому он без особой жадности выслушал последние известия с семейного фронта.

А дядя Митя добился исключительной привилегии: родителям разрешили свидание с сыном наедине, стражник остался за дверью. Хитро подмигивая, дядя Митя вытащил из заднего кармана плоскую фляжку, которую сумел пронести в тюрьму.

— Мускат, Николенька. Выпьем из горлышка, почему — сейчас узнаешь. Суд будет через несколько дней. Влиятельные лица намекнули, что теперь самый подходящий момент. Они подступают к Москве, и настроение у них бодрое. Конечно, если они возьмут Москву, то на радостях и судить не будут. А если не возьмут... Потому больше нельзя тянуть, суд должен быть именно сейчас, понимаешь? Только не обращай внимания на приговор. Сколько лет тебе дадут — все это мимо ушей! Суровость для отвода глаз. К Рождеству будет амнистия. А если паче чаяния сорвется, то мы с врачами уже договорились. Отыщут у тебя такую болезнь,

что тихонечко, без всякого шума, отпустят домой. Мы уж тебя полечим — спешить не будем!

Николенька неловко улыбнулся, тетя Аньютка достала пирог с орехами, дрожащими руками пододвинула к нему и сообщила, что комната для Николеньки уже прибрана, постель у окошка, как он любит, костюмы выглажены, также носки и платочки и есть еще сюрприз — удалось достать целый набор красок и кисточек (в такие времена легче танк достать, чем колонковую кисть!). А завтра принесу вязаную шерстяную фуфайку, не успела сегодня закончить, глаза все слезятся, слезятся. На дворе сырое, у вас, наверное, плохо топят, обязательно надевай фуфайку...

Николенька поел пирог, похвалил, чтоб порадовать мать, все втроем распили фляжку мускатного. Вино было изумительное, такого Николенька никогда не пил. Голова стала легкой и праздничной. Он обнял и расцеловал отца и мать.

— Спасибо вам за все. Я многому научился и стал другим человеком, вот увидите. Дай вам Бог здоровья и счастья!

Он проводил их до дверей и глядел вслед, как они идут, бережно поддерживая друг друга. Они оглянулись на сына, который стоял рядом со стражником, расстроганный и жалкий в своей арестантской одежде, стриженый, худой...

— Угости пирогом солдатика! Домашний! — спохватилась тетя Аньютка.

Стражник помахал им рукой.

А в это время разразилась буря. Какой-то мелкий педант из гестапо лишний раз проверил сентябрьскую книгу исходящих и обнаружил, что против номера такого-то нет отметки об исполнении. Он доложил по начальству. Начальство ударились в амбицию, заявило протест румынскому командованию, обвиняя трибунал в умышленной проволочке и попытке поощрить дезертирство, которое, кстати, «отнюдь не редкость в рядах наших доблестных союзников».

Несколько раз по нисходящим ступеням яростно звонил телефон, и ночью Николеньку торопливо вывели на расстрел...

Когда ошеломленный Николенька увидел нацелен-

ные дула, он вдруг закричал и бросился на них. Он бил направо и налево, дрался кулаками, ногами, головой, зубами, исступленно ругался и проклинал. Слишком поздно и бессмысленно вступил Николенька в схватку...

Все его обманули, весь мир, даже родители — родные отец и мать... Когда его добивали, он все еще плевался и хрюпал проклятия, он, который никому никогда не сказал грубого слова...

Это случилось ночью, когда тетя Аньота, сидя у керосиновой лампы, закончила вязание, утомленно улыбалась и мягко поглаживала ладонями шерстяную фуфайку.

А в другом доме Стратан раздраженно стаскивал сапоги и говорил жене, которая, привстав с подушек, глядела на него испуганными глазами:

— Что я мог? Не выполни я приказ, другой бы выполнил. Что я, сам себе враг? Спи.

Домой

*...Профиль той скалы крылат —
угол, в небо устремленный,
крыльев сокнутий разлад...*

Холодный ноябрьский ветер. Возвращение. Горькая радость возвращения. Не так мы его себе представляли. Отец отступает куда-то дальше на восток, а меня с мамой ветер гонит на запад. Разлучили нас мертвые снега, гиблое ветровое пространство. Растирали мы друг друга, осталось только вернуться домой, чтоб и самим не потеряться в пурге.

И вот, наконец, берег, лиман, и вдали под пепельным небом, над серой водой едва выделяется темная полоска города и размытый профиль крепости. Кажется невероятным, что там существует наша чистая постель с шерстяным одеялом, теплая печка и горячий чай. Если, конечно, дом сохранился и родичи живы... Отсюда не видать. От Лиманска нас отделяют восемь километров воды и пять месяцев войны.

Ветер режет глаза и щеки, продувает нас в лицо. Лиман еще не замерз, но если сегодня не переправиться, то можно надолго застрять. У причала стоит паром. Румынские солдаты проверяют документы и перетряхивают вещи идущих на переправу, солдаты злятся, им надоело, им холодно. Двое копаются в маминых манатках, а третий выворачивает мои карманы. Увы, там неско-

лько снарядных осколков, пуля, гильзы — остатки брошенной коллекции — и перочинный ножик. Солдат выбросил все в лиман, а ножик забрал.

— Холодное оружие! — сказал он, притворно выпучив на меня глаза.

— Ты не жидовка ли? — спрашивает маму посиневший от холода четвертый румын, — видимо, старший по чину.

Мама, всполошившись, протягивает документ, подтверждающий, что она бессарабская болгарка, и вытаскивает крестик, который носит на груди. Румын недоволен. Он переводит глаза на меня:

— А мальчик — он не обрезанный? Ну-ка, покажи!

Вот как просто можно согреться. От унижения мне душно. Мама испуганно смотрит на меня, боится, что буду брыкаться или кусаться. Ладно, коли от меня зависит окончательное спасение...

— Могу и задницу показать, — говорю на чистейшем румынском языке.

Солдаты хохочут. Старший тоже счел нужным не оскорбляться. Пожал плечами:

— Язык-то, гляди, обрежем... Проходите!

Так одиннадцати лет от роду, я предъявил свой первый паспорт...

На пароме ветер совсем ледяной, и склониться негде. Мама прижимает меня к себе, а ветру хоть бы хны — ледяной спиралью гуляет по всему телу. Мерзость... Паром переваливается с боку на бок, мутный лиман обдает нас серыми брызгами.

Уже виднеются крепостные башни, отдельные дома. Сквозь пустые стекла электростанции глядит серое небо. Это остов, скелет здания! Неужто... Но город жив. Тут и там тянутся по ветру рваные полосы дыма из труб.

Скорей бы оказаться дома! Но где уж там! Как только паром пристает к родному берегу, нас загоняют в барак. Недоумения, просьбы, слезы — ничего не помогает. Предстоит, дескать, тщательная проверка, ждите... Барак сколочен насекомо. Дверей нет, в проеме, расставив ноги, стоит часовой с винтовкой.

А я ждать не могу. Я замерз и хочу домой, вдобавок мне срочно надо помочиться, а барак битком набит людьми, узлами, чемоданами. Я говорю маме, что убегу. Мама отчаялась, она на все согласна.

Часовой поднял воротник, втянул голову в плечи и отвернулся от ветра. Я нахально проползаю мимо его сапог — шмыг за угол барака. Все в порядке, ура! Я бегу со всех ног домой, пулей лечу по улице, мне не втерпеж. Открывая калитку, не испытываю никаких возвращенческих чувств, влетаю в дощатую уборную посреди двора. Но как на грех никак не могу расстегнуть пуговицы, пальцы одеревенели, не гнутся. Чуть не реву с досады. В конце концов, плевать, я сдаюсь. Тепло разливается по штанинам. Я воскрес.

Но когда родичи начинают меня тискать в объятиях, я стараюсь ноги держать подальше. Хотя пока я двор пересек, пока в дверь постучал — штаны закаленели, стали жестяными... Я делаю вид, что очень радуюсь, а на самом деле хочу к маме. Она бы поняла, пожалела...

...Мама отводит меня за руку в гимназию, бывшее педучилище, которое опять называется лицеем имени Михая Храброго...

Жена директора — мамина соученица еще по царской гимназии, она все устроила. Директор закрыл глаза на историю с отцом и на то, что мы убегали в Одессу, и на то, что я опоздал к началу учебного года на два с лишним месяца.

Я не был посвящен во все тонкости этого дела, мне лишь велено было говорить, что отца при советах «депортировали» и мы ничего про него не знаем — последнее было горькой правдой, потому что мы потерялись в самом начале войны. Мне придется опять переключиться с языка на язык и быстро догнать однокашников...

Мне предстояло учиться в той самой мужской гимназии, здание которой было одним из самых красивых в Лиманске и которое не сгорело благодаря Аристиду Аристидовичу. Знаменитые коридоры, выложенные цветным мрамором, приняли меня и разрешили прокатиться. Разогнавшись, скользишь из конца в конец, как по льду. На переменах то и дело слышится шарканье и шипенье подошв. Гимназисты мелькают, как метеоры, летя, лавируя, сталкиваясь и кувыркаясь.

В конце коридора на стене актового зала — громадная, в два человеческих роста, икона. Иисус мудрыми

и скорбными глазами глядит поверх копошения гимназистов.

Ровно в девять часов вся гимназия рядами по пять человек выстраивается перед Иисусом. Впереди первый класс, а восьмой замыкает колонну. Начинается молитва.

В первый день я, год проучившийся в советской школе, не выдержал и прыснул. Классный надзиратель Матвеев чутко, как охотничий пес, откликнулся на смешок и съездил меня по шее. Но это все цветочки... Истина — коварная вещь. Она подбивает тебя выскочить вперед и объявить ее громким голосом. Ты принимаешь истину за собственный исключительный ум, и тебе не терпится козырнуть им. Настолько не терпится, что плевать на последствия.

На уроке закона Божьего поп говорит о сотворении мира. Господь сотворил вселенную за шесть дней, а на седьмой отдыхал. Поп говорит красиво и благостно, будто сказку рассказывает. Но ведь врет! Я-то знаю!

И чувствую, что сейчас встану и задам вопрос. Холдею от собственной смелости, предвижу, что мой вопрос разразится в классе как гром среди ясного неба, маму вызовут к директору гимназии, меня выгонят с волчьим билетом. Наверное, так и будет, если не хуже, но ничего с собой поделать не могу. Истина кричит во мне, бьется, как коршун в мешке.

Я поднимаю два пальца правой руки.

Поп разгуливает перед кафедрой, продолжая плести небылицы. Я упорно держу руку, как мишень для выстрела. Поп наконец засекает вызов, останавливается.

— Хочешь выйти?

— Нет. У меня вопрос.

— Вопрос? Слушаю.

— Вы сказали, — начинаю я, — вы сказали, что мир создан за шесть дней. Как же так? Геология говорит, что земля существовала миллионы лет, пока на ней появился человек. А Земля — всего лишь одна из планет Солнечной системы. Астрономия говорит, что Солнечная система — только малая часть Галактики... — Я начал с трудом, а кончил скороговоркой.

Класс замер, пожирая меня глазами. Я хоть и пропал, но герой. Поп поворачивается спиной и идет на кафедру. Тишина мертвая. Поп садится и, к моему ужасу, улыбается.

— Я ждал этого вопроса. Обычно всегда находится кто-нибудь, кто задает этот глупый вопрос. На самом деле никакого противоречия нет. Религия объясняет мир языком символов. В ту пору, когда создавалось Священное Писание, учебников геологии и астрономии в помине не было. Не было и начитанных гимназистов. Истину можно было выразить лишь образным языком, понятным всем и каждому. Гениальным прозрением святые отцы постигли сущность мира тысячи лет назад и запечатлели ее в бессмертных символах. Религия учит, что сначала отделилась суша от моря, потом появились растения и животные и, наконец, человек. То же самое, с некоторым опозданием, сказала и наука. Разница только в словах: шесть дней или шесть геологических эпох. Но кто тебя заставляет истолковывать шесть дней, шесть Божих дней, как шесть суток? Это шесть периодов времени!

Я стоял красный как рак. Такого я никак не ожидал.

— Сядь, — сказал поп, поглаживая бородку. — Продолжим.

...На перемене меня донимали насмешками. Я отбивался, но скорей кулаками, чем доводами. Подлый поп обвел меня вокруг пальца, не дал совершить подвиг и пострадать за него... Истина — коварная вещь. Она толкает тебя в гору и больно тычет носом в камни, пока не научишься лезть на вершину. Но если ты зажмешь рот истине — ничему не научишься.

Я вырвался и выбежал вон. Позади гимназии был двор со спортивной площадкой, отделенный от заросшего пустыря двумя рядами густых подстриженных кустов. Я прорался сквозь них и полез в бурьян. Мне хотелось забиться куда-нибудь подальше, справиться с собой, помозговать.

Я наткнулся на длинный камень в бурьяне, сел на него. Мешал какой-то выступ. Я подвинулся, глянул и вдруг быстро разгреб стебли и листву: передо мной была каменная рука, согнутая в локте. Меня пробрала дрожь. Я раздвинул бурьян: солдатская шинель, лицо с усами. Это был памятник Сталину. Статуя лежала лицом вверх, засыпанная землей. Это был тот самый Сталин, который стоял на площади у горисполкома и перед которым я в красном галстуке проходил во время един-

ственной нашей первомайской демонстрации за полтора месяца до войны...

Сердце билось, как колокольный язык. Ноги подкашивались... Я снова прикрыл статую бурьяном и побежал в гимназию.

Следующий урок — история. Я краем уха слышу цитаты из «Жизни двенадцати цезарей» Светония. Но, несмотря на всю мою любовь к древности (а в том виноват учитель Михалаке — он с такой горячностью и живостью воскрешает далекое прошлое, будто только-только вернулся оттуда), я напряженно думаю о том, что прикоснулся к живой истории и она зовет к действию. Неудачное сражение с попом отодвинулось в тень. Я составляю список будущих заговорщиков, с непримириимой строгостью взвешиваю каждого. Вычеркиваю. Опять вычеркиваю. Наконец остаются двое, которые не подведут, способные выдержать всю тяжесть моей необыкновенной тайны. Они еще не знают, что их ждет. Вилька, развесив уши, внимает учителю. Он парень серый, был пионером, играет в шахматы, любит кошек. Он, наверное, надеется после уроков дочитать «Графа Монте-Кристо». Ничего не выйдет! Тебе придется ночь не спать! Конец твоему покою... А Шурик, который не учится и не очень-то горюет по этому поводу, сейчас, наверно, продолжает оснащать свою армию. Танки, пушки, самолеты — все из глины. Он замечательно лепит. Есть и море у забора: по песчаным волнам плывут глиняные линкоры, подводные лодки высовывают из песка змеиные головки перископов... Он парень свой, в его сражениях всегда побеждают красные... Но теперь, Шурик, есть дела поважней...

Вилька получает мою записку. Я приказываю ему быть в семь часов на скале возле крепости. Совершенно секретно. Записку съесть... Вилька вопросительноглядит на меня, но я делаю вид, что не замечаю. Вилька минуты две раздумывает, потом сует записку в рот.

Выходя из гимназии, я прохожу мимо Вильки, будто с ним незнаком. Конспирация.

Шурику я тоже написал записку, но никак не придумаю, куда ее сунуть. С запиской в руке меня и застукал Шурик у ворот. Приходится устно. Я одними губами сообщаю ему координаты и прохожу дальше. Вот балбес — он догоняет меня:

— В чем дело?

— Заткнись! Нас не должны видеть вместе.

...В семь часов они подходят к скале. Я уже понял, что оплошал: скала-то на виду!

— Я пойду в башню,— торопливо шепчу.— Вы за мной по одному через две-три минуты.

Понимаю, что в моей конспирации большие игры, чем предусмотрительности. Но волнение так велико, а тайна так необычна, что непреодолимо напрашивается особая обстановка.

В башне я требую клятвы. Каждый надрезает себе палец, мы смешиваем кровь и слизываем ее. Тогда я открываю тайну. Они ошеломлены. Я быстро назначаю себя шефом, Вильку — заместителем, а Шурика — членом группы. Мы должны ночью перенести памятник. Но куда?

— Просто поставим на ноги,— предлагает Шурик.— Пусть стоит.

— Глупо,— рассудительно говорит Вилька.— Его тут же уберут, на этот раз навсегда. Надо его спасти!

— Перенесем в греческую церковь. Она заколочена, туда никто не ходит! — загорается Шурик.

— Сталина в церковь! Ты спятил? — возмущаюсь я.

Молчание. Я как шеф должен решить.

— Вот что,— говорю,— покамест перенесем его в наш погреб. Там есть заброшенный ход и ниша. Там никто не найдет. Дальше видно будет. Итак, в полночь встретимся на пустыре. Как хотите выбирайтесь из дома. Но чтоб ни одна живая душа не прознала!

...Мы не рассчитали своих сил. Темной ночью на пустыре зря мы возились вокруг поверженной статуи. Она грузно осела в землю и не двигалась. Мы стали ее подкапывать, вырывая бурьян с корнем и разрыхляя землю ветками.

— Ты тяни,— сказал я Шурику,— а мы с Вилькой толкнем с другой стороны...

Статуя покачнулась и сползла, прищемив ногу Шурику. Он засопел носом, чтоб не разреветься... На том дело и стало. Ташить каменную глыбу мы не могли. Усталые, обескураженные, сели прямо на траву.

— Как думаешь, русские вернутся? — спросил Вилька.

Восстановление памятника на площади в ту ночь казалось немыслимым. Звезды тысячами глаз рассматривали пустырь, не мигая. Шурик вздохнул.

— Если не вернутся, все равно надо сохранить памятник для истории. Жаль только, что он такой тяжелый...

Ночь была полна значительности, наши сердца — исторической тревогой и скорбью. И воспоминаниями...

...Во дворе Дворца пионеров, бывшем особнячке Авердяна, горел костер. Вечер был безветренный, звездный, будто усыпанный искрами нашего костра. Поленья трещали, и гибкое пламя высоко покачивалось танцующим красным чародеем. Нельзя было глаз от него отвести, точно от гипнотизера. Мы, пионеры, слушали, как поют комсомольцы. Тонкая белокурая девушка в белом платье пела «Орленка», пела про солнце, про смерть, про шестнадцать мальчишеских лет. Ей самой было столько же, то есть она была очень взрослой. И тем не менее я полюбил белую девушку, ее чистый русский голос, ее песню перед расстрелом. Я на нее смотрел через костер, через гибкое пламя и зыбкое макро. Меня душили слезы, хотелось, чтоб она взяла меня с собой...

Где она сейчас? Где я сейчас?

..Слышу песни про утреннюю майскую Москву, когда холодок бежит за ворот, когда поднимает руку Сталин, посыпая нам привет... Неужели этого уже никогда не будет? Неужели революция погибнет, как Парижская коммуна? Неужели история произнесла свой окончательный приговор, и мы, трое мальчишек, беспомощно сидим возле поверженной статуи, лежащей в густом бурьяне.

— Ребята, — сказал я, — дядя Митя говорит, что Сталин заманивает Гитлера в глубь России, чтоб прикончить его зимой. Представляете себе? Самолеты обледенеют, танки и окопы засыплют снегом, сугробами... Встанет зимнее солнце и спросит: где армия Гитлера? Нету. Замело пургой...

— Значит, весной вернутся русские? — догадался Шурик.

— И пойдут дальше! И по всему миру зажгутся красные звезды. Одна за другой вспыхнут новые советские республики...

— И в Бухаресте? — спросил Вилька. Ему важно знать — у него там тетя.

— В первую очередь! Бухарест совсем под боком. Пролетарии всех стран соединяются навеки.

— Хорошо, — говорит деловитый Шурик. — Хорошо, а что нам делать теперь?

Да. Мы, по правде говоря, продрогли, и... спать хочется. Опять решаю я:

— Отбой! Разойдемся по одному. Ждите дальнейших распоряжений.

Было решено закопать статую там же, на пустыре. И откопать, когда настанет час. Приготовили лопаты, составили план: работать через день и за неделю закончить...

Но жизнь поломала все планы. Вилька простудился и слег, а Шурика мама поймала, когда он ночью открывал окно. К тому же похолодало, днем шли дожди, а ночью ударили заморозки. Я рассудил, что в такую погоду вряд ли кто-нибудь обнаружит и уничтожит статую. Пожалуй, перезимует...

Сталин остался там, на пустыре. Время от времени мы проверяли, на месте ли он. Он молчал и ждал, молчанием своим напоминая о чем-то незавершенном, недодуманном.

А весной я изменил ему и Вильке с Шуриком. Я позорно влюбился. В классового врага.

Звали ее Алис. Это случилось у ворот гимназии. Она пришла однажды встречать своего брата Аурела, моего одноклассника.

Была ли она хорошенькой? Не то слово! Она была нездешней, неземной, хотя существовала реально. Но все реальное, житейское не имело к ней ни малейшего отношения. Была ли она дочерью директора Румынского национального банка? Да, но это была только видимость, маскировка. Я сразу угадал — кто она! Было ли ей всего десять лет? Смешно. Она была вечной, вневременной, как мечта. Я уверен, что с первого же взгляда она тоже угадала меня. Лишь один раз мельком встретились наши глаза — и все открылось до конца. Она знает. И я знаю. Навсегда. Пусть потом уже она на меня не глядела, вела себя, будто ничего не произошло, но в этом-то и вся штука! Так надо. Свято скрывать, что мы знакомы уже тысячу лет. И вот опять встретились. Скрывать ото всех, притворяться, что мы — как все и нет никакого чуда...

Аурел, упитанный зазнайка, не вызывал у меня инте-

реса. Но с тех пор, как я увидел его сестру, он предстал передо мной в некоем волшебном ореоле.

Он стал причастным тайне. Я целыми днями краем глаза следил за ним, вслушивался в его слова, как сыщик, ловя в них особое значение, я тянулся к нему и мучительно завидовал, когда он уходил домой, к ней. Он то казался соперником, то будущим сообщником. То враждебной силой, то родной душой...

Аурел похвастался, что у него есть полное собрание сочинений Карла Мая. Я читал только «Виннету» и попросил у него книжку. И вот я переступил порог ее дома...

Как нарочно, этот дом дышал сказкой. Витые колонны, резные каменные крылечки, арки. Вокруг старый парк, где среди тополей, шелковиц и кустов сирени расположены олени и гномики, в глубине — грот, сложенный из диких камней, а на нем, на самом верху, мраморный бюст римского императора Траяна...

В этом гроте через пять лет я объяснился в любви Дине Орловой. Ливень лил. Он помог мне затащить ее в грот. На ней был розовый плащ внакидку. Она смеялась и выжимала мокрые волосы. Я откинулся на острые выступы камней и выпалил те роковые слова. Она перестала смеяться и на меня не глядела. Я думал, что она или рассердится, или обрадуется, я ждал хоть какого-нибудь ответа. Вся моя душа ушла в те три слова, ничего больше у меня не было. А она молчала, слушала дождь, и струйки стекали по ее щеке. Потом вдруг выскочила прямо в ливень и побежала.

Я стоял, как громом пораженный. Отвергнут?.. И тут на самом деле бабахнул немыслимый гром. Он еще звучит в моих ушах. Мы были первой молодостью после войны. Мы много знали и мало понимали...

А в бывшем здании банка расположилась советская поликлиника. Очень правильно, она и теперь там. Не раз мне приходилось ходить по кабинетам, меня выслушивали, выстукивали, но никто не находил в моем сердце недавних заноз... Там мне как призывнику довелось предстать нагишом перед комиссией. И там, там, где была детская Аурела и Алис, мне сверлили зубы и ставили пломбы...

...Не знаю, что стало потом с этой статуей. Она пролежала до сорок четвертого года, полувросшая в землю, заваленная листвой и хворостом. Когда фронт стал на восточном берегу лимана, всех жителей выселили в тыл и война всласть перетряхнула весь город, не то что пустырь. А когда я вернулся в Лиманск, Сталин уже стоял на площади. И в сквере возле пристани. И у разрушенного вокзала. Он был другой, новый — в маршальском облачении, с погонами. Вездесущий.

Много лет спустя я увидел его живого на Красной площади. Невероятно — он был меньше своих памятников, пожилой, среднего роста, плотный. Когда мы поправлялись с Мавзолеем, он присел, — наверно, устал. Я видел только околышек его фуражки и дымок. Закурил... Он не знал ничего про ту ночь, когда он лежал перед нами, мальчишками, навзничь в высоком бурьяне.

Потом я видел его мертвого, в гробу, среди цветов. Это было еще невероятней. Мне запомнились его крупные руки, рябое лицо... Через несколько лет я был в Лиманске, когда за одну ночь исчезли все его памятники, а бывалые лиманцы делали вид, что ничего не заметили. Проходили мимо тех зияющих мест, отводя глаза. Старый дядя Митя произнес тогда нелепую, чисто лиманскую фразу:

— Кто знает, может, им интересно увидеть, как мы к нему относились. А что мы? Мы — ничего...

Лиманцы избегают крайностей. Я вспомнил об этом, когда меня занесло однажды в город Александров. В скверике за вокзалом я увидел потрясающий памятник: на каменной скамейке сидел каменный Ленин и левой каменной рукой обнимал... пустоту.

Очевидно, Сталина «вынули», когда было велено. А ленинскую руку, естественно, тронуть не посмели. Похоже на случай, рассказанный мне знакомым журналистом: он в одном селе набрел на старика, который хвастал, что снимался со Сталиным на съезде колхозников в начале тридцатых годов. Журналист пристал к нему — покажите, а тот мнется. В чем дело? Да неудобно как-то, снимок подпорчен. Среди нас оказались врачи народа, я их выстриг...

— Ну ничего. Покажите все-таки, мне очень интересно!

- Понимаете, пришлось еще вырезать и еще. Наконец, остались только Сталин и я...
- Где же эта фотография?
- Но потом я и Сталина выстриг...

И вот я стою рядом с Алис в церкви...

Пасха. Вечером к узорной чугунной ограде подкатил извозчик. Все их семейство торжественно вышло из дома. Я проводил их. Алис села с Аурелом спиной к вознице. Я топтался, не решаясь уйти. Аурел сказал:

— Давай с нами, а?

Я вскочил на подножку без промедления. Копыта зацокали по вечерним улицам — к собору... Вот почему я стою рядом с Алис. Впервые и так долго. Несмотря на мои частые визиты к Аурелу, я по-прежнему избегаю прямых взглядов и разговоров. Мне достаточно чувствовать ее присутствие. Одно ее присутствие так меня изматывает, что порою хочется удрать подальше, дать передохнуть запыхавшемуся сердцу. Но без нее такая сосущая тоска, что срочно придумываются самые хитроумные поводы, лишь бы опять объявиться у тех дверей... Аурел привык ко мне. Более того, — кажется, полюбил. Наверно, потому, что все свои чары я обрушиваю на него. Я рассказываю тысячи смешных и страшных историй, я неистощим, придумываю игры, хожу на руках, лезу на высоченный тополь, дивясь собственной ловкости... О, эти женщины! Алис, видно, давно поняла, что я ради нее стараюсь, а бедный Аурел — просто подставной зритель. Оттого она, такая непосредственная с другими, при мне подчеркнуто безразлична и независима. А я мучительно рад тому, что я один из всех удостоился такого особого отношения...

...Служба идет, священник размахивает кадилом, волнами плещет запах ладана, волнами прокатывается рокочущий бас дьякона, хор подхватывает и трижды повторяет, вынося молитву под самый купол. Я знаю, что все это спектакль, но счастлив, как никогда: я стою рядом с Алис, будто венчаюсь. Алис неловко поправила пламя своей свечи, и оно погасло.

— Можно, я у тебя зажгу? — шепчет Алис, приблизив ко мне лицо.

Я зачарованно смотрю, как ее тонкая рука наклоняет свечу к моей. Моя дрожит, горячий воск капает мне

на пальцы... Целую вечность наши две свечи, сойдясь, горят одним пламенем. Потом ее свеча медленно отрывается живой флагшток от моего огня, но мой от этого лишь вспыхивает ярче. Я щекой слышу дыхание Алис. Я поднимаю глаза.

— Спасибо, — шепчет Алис и открыто смотрит в мои глаза. И улыбается как равному, как своему...

Это больше того, что мне нужно! Я долго не показываюсь в доме Аурела. Я боюсь. Чего? Не знаю, но смертельно боюсь. Я совершенно не знаю, как дальше себя вести. Моему тайному поклонению настал конец. Конец, а мне должно было хватить на всю жизнь. Может быть, боюсь что-то нарушить, испортить? Или боюсь, чтоб она не стала просто дочерью директора банка, а я мальчиком при ней?

Как бы то ни было, когда Аурел наконец затащил меня к себе, все пошло по-старому. Я упорно не обращал на нее внимания, и она отвечала мне тем же...

Почему мне запомнился тот первый день весны во втором классе гимназии? Потому ли, что соединились слова: *моя весна — моя вина*?

Впервые раскрыли окна, и я не слушал учителя, следил за капелью — с сосулек соскальзывали капли и вспыхивали на солнце. Было свежо и радостно.

Урок закончился, учитель вышел, и в дверях показался классный надзиратель Матвеев. Он часто урывал несколько драгоценных минут от перемены, чтоб изречь какие-нибудь скучные истины. Ребята его не заметили — столпились вокруг Аурела.

У того завелся потрясающий перочинный нож, — кажется, английский, — со всевозможными лезвиями и приспособлениями... Он давал его посмотреть кому хотел. Надо было заслужить его расположение, чтоб подержать в руках это чудо. Второй день класс бредил ножичком. Я на правах друга был коротко знаком с этим ножичком, к тому же весна звала, и я пробирался к дверям.

Вот тут-то Аурел и закричал:

— У меня перочинный сперли!

Матвеев быстро захлопнул дверь и прислонился к ней спиной:

— Кто украл?

Настала мертвая тишина. Только Аурел все выворачивал карманы и хлюпал носом.

— Всех обыщу! Кто первый? — грозно спросил Матвеев.

Я шагнул к нему. Я торопился к сосулькам. Матвеев сунул руки в мои карманы, вздрогнул и вытащил ножичек Аурела.

Аурел подбежал, вырвал ножик и крикнул мне в ухо:

— Большевик, гадина!..

Я бессмысленно схватился за карман...

Хотя Матвеев догадался, что вор подсунул мне ножик, хотя Аурел потом извинялся, хотя класс не посчитал меня виноватым, у меня на долгие годы осталось странное чувство: когда ищут виноватого — я первый чувствую вину. Меня охватывает тайный страх, я пытаюсь его подавить, стараюсь вести себя непринужденно, но получается натянуто, фальшиво, будто действительно на мне шапка горит. Будто прежде настоящего виновника непременно возьмутся за меня и я ничего не смогу доказать.

Потом не раз я спрашивал себя: мог ли пустяковый случай с ножичком оставить такой след? Мог, потому что попал на готовую почву. Я не чувствовал себя наравне с Аурелом и ему подобными, знал, что они не считают меня своим. Не только потому, что я бессараべц, а и потому, что оставался при русских, потому, что отец неведомо где, и, наконец, потому, что одет более чем скромно на скучные мамины заработки от шитья на дому и от квартирников. А когда вернулись русские, я чувствовал себя виноватым, что был в оккупации, что меня освободили без всяких усилий с моей стороны, я пожаловал на все готовенько, и в глазах советских ребят, моих ровесников — я еще не совсем свой. Вдобавок я не пролетарского и даже не крестьянского происхождения. Сын прослойки, а не класса... И рука, холода, дергалась к карману — вдруг при мне опять какой-нибудь постыдный пережиток прошлого, который молниеносно разоблачит меня...

Тень бывшего сверхчеловека

...вот какая песенка
у бесенка...

Зимой перед новым 1943 годом в Лиманске еще раз объявился Ремус Корня. Прошло всего несколько лет с первого его приезда, но что это были за годы! В сороковом Ремус уже выглядел доисторическим курьезом — чуть ли не троглодитом. Как и румынский король, впрочем. Казалось невозможным, чтоб прошлое воротилось. Но на наших глазах не раз случалось невозможное.

Третий год лиманцы опять считались подданными королевства, и чего греха таить — некоторым сама советская власть вспоминалась как удивительный сон, после которого наступило неизбежное пробуждение.

Потому появление Ремуса не стало событием. Да и не только потому. Ремус был не тот. Полный, почти толстый капитан интендантской службы. Глаза уж не так выпирали из орбит, движения стали ленивей, уютней. Ремус фронта не нюхал и был, видимо, доволен своей судьбой.

Волею случая он оказался нашим квартирантом. Первым делом поинтересовался, где отец. Мать ответила, что его русские депортировали и с тех пор о нем ничего не слышно.

— Не понимаю. Не понимаю вашего мужа. Как он мог остаться в сороковом с большевиками? Не знал, что ли, кто они такие? Да. Из-за него теперь вы брошены на произвол судьбы. Но со мной не пропадете. Вам повезло хоть в этом. Во-первых, сигуранца не будет вас преследовать за мужа. Мое поручительство — это все! Во-вторых, о продовольствии не беспокойтесь. Оно в моих руках. Бедная, — он покачал головой, — вам пришлось много пережить, но вы остались такой же красавицей, как были...

Мама его боялась. Мама старалась отлучаться, когда он приходил. Ремус некоторое внимание уделял мне. Он охотно объяснял военную ситуацию:

— Победа ожидается летом сорок третьего года. Ты заметил, что большевики пытаются зимой отыграться? Ничего у них не выходит. Летняя кампания сорок первого года отбросила их на линию Москва — Дон. Зимой они шатали фронт, как медведи. Но летняя кампания сорок второго года отбросила их на линию Волга —

Кавказ. Теперь они опять лезут на рожон. А что бывает после зимы? То-то! Летом все будет кончено. Мы выйдем через Иран в Индию. Русские за Уралом будут совать лапу, англичане без Индии загнутся. А мы, соединившись на берегах Ганга с японцами, загоним американцев в их собственную конуру, пусть там задыхаются...

Я кивал головой, я скрывал, что болею за Красную Армию, в которой мой отец. Я верил другому толкованию военных действий, которое излагал дядя Митя. Он многозначительно поднимал палец:

— С русскими держи ухо востро. Недаром они про вели Наполеона. Посмотри, какая штука: русские не отдают, когда не хотят отдать. Думаешь, случайно? Мурманск — не отдали, Ленинград — не отдали, Москву — не отдали, Сталинград — тоже не отдают. Неспроста все это. Русские как будто отступали по всему фронту, а поглядишь внимательней — отступали со смыслом. Может, это и не отступление вовсе, а...

Приблизительно того же мнения придерживался и Аристид Аристидович. Он сомневался, правда, что Красная Армия отступает преднамеренно. Он больше напирал на то, что Россию невозможно завоевать. Такого не бывало и не будет.

Поэтому я с захватывающим интересом подслушивал, делая вид, что читаю книжку на диване, разговор Аристида Аристидовича с Ремусом. Стариk прошел в комнату капитана, но дверь не притворил до конца, потому что у Ремуса было слишком жарко натоплено. Я успел заметить, что Ремус сидел в трусах — он к вечеру давал отдых своему белому телу. Благо хоть в трусах. Признаюсь, я за день до этого заглянул в замочную скважину: капитан ходил по комнате голый и хлопал себя по бокам...

Ремус изложил уже знакомую мне теорию летне-зимних кампаний, только вместо «мы» говорил «немцы» или «мы и наши союзники».

— Но Сталинград все-таки окружен, — сказал Аристид Аристидович.

Ремус посвистел:

— Глупости. Немецкий гарнизон оставлен там, чтоб сковать русское нападение на Ростов. Задача уже выполнена. Теперь Манштейн прорывается к Сталинграду через Котельниково.

— Господин капитан, я вас помню перед войной. Вы тогда отводили более серьезную роль себе и вообще румынам. Что же получается? Немцы перехватили все ваши замыслы и гонят румын воевать к черту на кулички за немецкие цели.

Слушая старика, капитан Корня насвистывал что-то веселое.

— Нет. Я был прав. Я предсказал эту войну. И, кстати, мы получили Одессу и земли до Буга. Скоро нам передадут Крым. Немцы все больше будут в нас нуждаться.

— И все-таки я не чувствую в ваших словах никакого морального удовлетворения. Все делается без вас. Без вас лично и без вашей «Железной гвардии». Да и вы, простите меня, старика, отпустили брюшко и склонились в тихой гавани.

Ремус перестал свистеть и ответил не сразу. Слышно было, как он прошелся по комнате.

— Нас действительно обошли,— сказал он,— обскакали наши союзники. Не потому, что они умнее,— их просто больше. Как в покере — у кого больше денег, тот ведет игру. Это, конечно, неприятно! Но их, заметьте, становится все меньше. Они, побеждая, убывают в числе. А мы должны сохраниться. Я не хоронюсь в тихой гавани, я, если позволите, сохраняюсь. Час настанет, и я не желаю, чтоб он настал без меня.

У Ремуса был приемник. Это толкнуло меня в его комнату, когда никого не было дома. Я загодя подобрал ключ. В комнате было жарко — он настаивал, чтоб печку топили и утром и вечером. Но форточка круглые сутки открыта. Ремус убивает сразу двух зайцев — и тепло и свежий воздух. Воздух, правда, пропитан одеколоном, вазелином и еще чем-то парфюмерным: на столике перед зеркалом разные флакончики, баночки, тюбики. Но меня интересует приемник. Я тихо включаю его, ищу Москву. Но, видно, час не тот. Никаких известий. Симфоническая музыка.

От волнения не могу пробыть в комнате Ремуса дольше десяти минут. Но в следующие дни наведываюсь чаще, и вот однажды мне крупно повезло. Третьего февраля день выдался полный событий.

Началось с утра.

Выходит Ремус в пижаме и видит, что я за столом сортирую монеты.

— Ты нумизмат? — спрашивает. — А ну, похвастайся!

Я впервые слышу это название — нумизмат. И, слаб человек, загораюсь и выкладывают монеты. Ремус сначала берет их из моих рук, потом нетерпеливо разгребает мое богатство. Выуживая серебряные, уравновешивает по одной на согнутом большом пальце, ударяет по краю другой монетой. Подносит серебряную к уху, слушает ее звон, пока не замрет.

— А это что? — Ремусу попались советские копейки. — Ты эту гадость выбрось!.. Впрочем, нет. Скоро они станут большой редкостью — раритетами. Остатками красной империи, просуществовавшей двадцать пять лет. Дай мне одну.

Чтоб отвлечь его, я торжественно демонстрирую самые ценные мои находки: две римские монеты, одну — Юлии Домны, отчеканенную две тысячи лет назад здесь, в городе Тирас, вторую — императора Аврелиана, того самого, который в третьем веке покинул эти места, отозвав свои легионы за Дунай.

Первую я откопал возле крепости, вторую выменял у одного сопляка за двадцать колониальных марок.

Ремус присвистывает. Долго рассматривает, с сожалением возвращает их мне, еще копается малость в мешашках, потом идет мыть руки. Мало того — натирает их одеколоном, ибо эти монеты, по его словам, черт знает где побывали.

Город научил меня собирать монеты. Его земля — копилка веков и народов. Монета, извлеченная из земли, зеленая и ржавая, сперва молчит. Вернее, я не слышу ее речи. Надо поухаживать за ней, отмыть (нашатырным спиртом с содой, если серебряная, керосином с воском, если медная), и она внятно произнесет первые слова. Теперь изучи ее язык, восстановливай ее повесть, как допотопного ящера по двум-трем костям. Монеты рассказывают были и небылицы. Они неистощимы.

Лет с восьми я собираю коллекцию. И в один прекрасный день узнаю, что у отца в маленькой металлической кассе хранятся монеты — полновесный осадок его юношеского увлечения. Мама проболталась.

Я — к отцу. Удивительно, почему он раньше не открылся.

— Ладно, — говорит отец, — идем покажу. Но только покажу.

Он отпер кассу. Трепет охватил меня, когда ключ скрипнул, крышка откинулась и моим глазам объявился клад — сотни две всевозможных монет. Целый вечер он мне рассказывал и показывал. Под конец подарили мне три из двойняшек, остальные захлопнули и унес.

Ночью мне снятся монеты. Я догадываюсь, что вижу сон, что монеты исчезнут, как только проснусь. Но я хочу вырвать у сна хоть одну. Изо всех сил сжимаю самую старинную в кулаке и толчком воли просыпаюсь. Кулак сжат. Кажется, в нем что-то есть. Я тихонько разжимаю пальцы и вижу монету. Радость обдает меня горячей волной. Но не может того быть. Вдруг опять сон, я проснулся во сне? Со сжатым кулаком мотаю головой, вскакиваю. Темно. В кулаке пусто.

Слышу шепот.

— Не жадничай, отдай мальчику монеты. Ему так хочется, — говорит мама.

— Ты всегда так, — отвечает отец. — Как ты не понимаешь? Задарить — значит отбить интерес. Пусть мечтает, добивается самостоятельно. Понемногу, трудом. Придет время — отдам.

Я делаю из этого практические выводы.

— Па, когда мы объединим коллекцию? — пристаю я.

— Когда тебе стукнет десять лет.

Уговаривать ни к чему. Слово у отца железное. Значит, ждать еще целых два года, точнее — двадцать месяцев. Как долго — состариться можно.

И с удвоенной страстью я гоняюсь за монетами. Чтоб с честью встретить объединение.

Вскоре моя коллекция неожиданно пополнилась. Все обычные румынские монеты повысились в цене. То есть как раз наоборот — летом сорокового года потеряли всякую цену, потому что пришла советская власть и отменила их. Но для коллекционера отмененные деньги обретают особую ценность. Начинается погоня за всеми номиналами, ибо их в обороте больше не будет.

Первые советские деньги я тоже не решился потратить. Хотя понимал, что теперь их видимо-невидимо, но перебороть себя не мог. Никакие соблазны — конфе-

ты или мороженое — не вырвали те, первые, из моей крохотки. Кроме исторической ценности монеты имеют и лиценную. Вот эта двадцатикопеечная единственна и незаменима. Мне дал ее на берегу русский солдат Вася, объяснил, что значат буквы СССР, серп и молот на земном шаре и ленточки вокруг колосьев.

Мне оставалось три месяца до десяти лет, до отцовской коллекции, когда началась война. А когда исполнилось ровно десять, отца с нами не было. Он был в той самой Красной Армии, но где — неизвестно. В Лиманск опять пришли румыны (правда, с другими монетами — за это время у них сменился король и вообще многое переменилось).

Касса с отцовской коллекцией осталась неприкосновенной. Я ждал отца. Не мог тронуть те монеты, пока он не вернется. Овладеть коллекцией — означало признать, что его уже нет. А он должен вернуться. Мы будем ждать его как угодно долго — я, мама и монеты.

Осенью в оккупированной Одессе был голод. Мама отдала свое золотое обручальное кольцо за полбуханки хлеба. Потом обменяли мамину пальто на мерзлую картошку, наконец, мою зимнюю шапку-ушанку на плитку жмыха, или макухи, как мы ее называли. Но мама не вспоминала, что в отцовской кассе есть серебряные монеты. Я — тоже. Это для меня были уже не просто монеты, а тайный принцип, даже символ.

Три года отец приходил ко мне только во сне. Я обнимал его крепко и боялся проснуться, когда догадывался, что вижу сон. Я со страхом и надеждой смотрел на пленных, когда они проходили по городу или когда их показывали в кинохронике. Убитых я не разглядывал. Это было невозможно.

Мама по ночам плакала, ходила к гадалкам, молилась, расспрашивала вернувшихся, ловила всякие слухи. Зимой сорок первого, когда казалось, что все кончено, мама молилась, чтоб отец попал в плен, после Сталинграда осторожно изменила формулировку молитвы: «чтоб любой дорогой вернулся...» Но дорога была еще долгой. Я после Сталинграда записывал в тетрадку военные сводки, сопровождая их рисованными картами. В правом углу каждой карты я ставил число, значение которого знал только я. Это было расстояние в кило-

метрах от фронта до Лиманска. Мама не очень твердо знала географию, поэтому я ей не говорил, что этих километров еще набиралось очень много. Бумаги для моей летописи и карт не хватало. Я старался писать как можно мельче, ввел десятки условных сокращений, но для карт места не жалел. Рамки моих карт смещались на запад, традиционные числа в уголке неуклонно убывали. Километры смывались кровью. Тысячи превращались в сотни, а сотни стремились к нулю...

Только после обеда я хватился — Аврелиана нет. Исчез. Не знаю, что и подумать. Излазил весь пол, ковры поднял, перебрал по одной всю коллекцию, даже мелькнула мысль, что мне это в наказание: надул того сопляка, Аврелиан ведь стоит куда больше двадцати колонильных марок.

Мысли мыслями, но Аврелиан не мог ускользнуть в Рим. Я решительно проникаю в комнату Ремуса. Пусть он трижды капитан, но обыск есть обыск. Я и себя обыскал. Пока решаю, с чего начать, включаю Москву. Буду слушать и искать. Но то, что слышу, вышибает у меня Аврелиана из головы. Москва сообщает о капитуляции фашистских войск под Сталинградом. Триста тысяч пленных во главе с фельдмаршалом Паулюсом! Разгром! Надо скорей...

Скрипит входная дверь. Я мгновенно выключаю приемник и не дышу. Первая мысль: если мамины шаги — выйду, если Ремус — буду держать ногой дверь. Он подумает, что замок испорчен, пойдет за инструментом, тем временем я — в окно.

На цыпочках подскакиваю к двери и ужасаюсь: она открывается наружу, а не внутрь. Пропал!

Шаги остановились в столовой. Я слышу голоса.

Ремус. Это ваше последнее слово?

Мама. Я вас очень прошу...

Ремус. Боже мой, Лиза, как это глупо! Это же ограниченность, трусость. Иначе назвать нельзя. Чего вы боитесь?

(Я облегченно вздыхаю: пока они говорят, я успею открыть окно и вернуться домой через двор. Но слова Ремуса интригуют. Капельку послушаю, и потом...)

Мама. Я жду мужа. У меня семья, и очень вас прошу...

Ремус. Откуда вы его ждете? Впрочем, простите. Ждите себе на здоровье. Я не собираюсь отнимать вас у мужа, хоть он и большевик. Я умоляю вас, дурочка... ни одну женщину я не умолял. Поймите, милая, глупая, вы ничего, ничего не теряете. Даже напротив. Это ваше право жить своей жизнью, а вы третий год одна и одна. Сейчас все женщины буквально кидаются на шею. А вы... это неестественно, даже, если хотите, вредно.

Мама. Нет. Отойдите сейчас же. Я буду кричать.

Ремус. Вы серьезно? Вы так серьезно? Молчите?.. Конечно, тебе нечего сказать. Ты знаешь, что я прав. Я мог бы тебя и заставить, но это невкусно. Я хочу, чтоб ты сама освободилась от всей той мелкой лжи и ханжества, которыми тебя опутала эта несчастная провинция... Ты куда?

Я распахиваю дверь в столовую. Мамы уже нет. Ремус круто оборачивается и хватается за кобуру.

— Что это значит?

— Я искал монету, — говорю, сжав кулаки.

Ремус таращит на меня глаза, отступает на шаг.

— Ты подслушал. Ты меня обокрал. Я убью тебя.

— Нет, — говорю. — Паулюс капитулировал. — И прохожу мимо него. Бегу к соседям искать маму. И лихорадочно думаю — что теперь будет...

Маме я ни о чем не сказал, кроме капитуляции немцев. Мама промолчала, была бледной. Не хотела идти домой. Я отправился на разведку и доложил, что Ремуса нет. Мы вернулись. Шли часы. Ремус не появлялся. Мама просила меня лечь рядом с ней. Мы не могли уснуть. Ждали. Но настало утро, а Ремус — капитан Корня — так и не пришел.

Оказывается, Ремус решил с горя выпить. Он и еще трое офицеров, среди них молодцеватый Титус Стратан и жизнерадостный Серджиу Поп, отправились в ресторан «Континенталь» на главной улице возле парка. Народу было мало, цыганский оркестр расположился на невысокой сцене, но не играл. Музыканты медлили и перешептывались. Розита не показывалась, — она не знала, какое платье надеть и как быть с репертуаром. Наверно, уже разошелся слух, что у властей будет траур, хотя Берлин еще ничего не сообщил о Сталинграде.

Не успели Ремус и компания расположиться за столиком и заказать цуйку, как дверь хлопнула и вместе с клубами морозного воздуха в ресторан вошли немецкие офицеры.

Один из них — длинный, с вытянутым, худым лицом — оглядел зал и, уперев руки в бока, раздельно отчеканил на ломаном румынском:

— Тоць ешь афарэ! (Все пошель вон!)

И хоть произнес он это не так уж громко — все услышали и стали подниматься. Музыканты засуетились, собирая инструменты. Четверо румынских офицеров молча переглянулись и остались на своих местах. Пока посетители тихо улепетывали, высокий немец подошел к румынам:

— Аштепт! (Я жду!)

Ремус встал и представился:

— Капитан Корня. Мы офицеры его величества...

Немца передернуло. Он крикнул:

— Оркестр, на место! Играть «Лили Марлен!» — Потом, не глядя, Ремусу: — Из-за вас, скрипачей, мы попал в котел. Ваша цыганская армия стоял в излучине Дона! Вы открыл фланг, опереточный вояка!

— Позвольте вам заметить, — срывающимся шепотом ответил Ремус, — мы здесь в своей стране, и мы не позволим...

— Позволите. Мы желаем здесь пить и петь одни. Марш отсюда!

— Пойдем. Они за это ответят, — сказал Серджиу Поп и потянул Ремуса за рукав.

Ремус отдернул руку и спросил немца:

— Ваше имя?

Немец поморщился, вздохнул и ударил его по лицу. Ремус зацепился за стул и вместе с ним грохнулся на пол. Остальные немцы подошли к остолбеневшим румынам и стали их подталкивать к выходу. Серджиу Поп с достоинством отстранился и решительно зашагал к дверям. Титус в яростном ужасе повертел головой, но, получив пинок пониже спины, вылетел следом. Ремус попытался встать, немец стукнул его сапогом и опрокинул.

И тут с немцем случилось что-то вроде припадка. Он бил Ремуса ногами, стулом, тарелками, пока товарищи его не оттащили. Ремус лежал лицом вниз, охватив окровавленными руками голову. Немец, тяжело дыша,

вытер платком руки и вдруг наклонился к Ремусу и сорвал с него погоны. Потом немцы вынесли Ремуса на тротуар и захлопнули дверь ресторана. Собралась толпа...

Капитан Корня был срочно доставлен в лазарет. Через день к нам пришли за его вещами. Больше мы его не видели — Ремуса после поправки перевели куда-то подальше от позора.

Среди скрипачей ресторанных оркестра был Григ, тот самый, перед которым Ремус когда-то жег деньги. Теперь поверженный Ремус не выглядел чертом. На сатану походил припадочный немец с вытянутым, узким лицом.

Бедная тетя Аньота

После смерти Николеньки дядя Митя стал угрюмым, раздражительным и всерьез пристрастился к бутылке. Аньота живет воспоминаниями, часто рассказывает о Николеньке — его образ со временем очищается и светлеет.

— Посмотрите на эту картину. Николеньке было всего пятнадцать, когда он ее нарисовал. Правда, крепость получилась внушительной, грозной? Он все умел, мой мальчик. И рисовал, и лепил, и пел. Однажды даже плакал. «Что, миленький?» — спрашиваю. — «А то, мамочка, что я все умею одинаково хорошо, значит, ничего не смогу по-настоящему...» Глупый, он пел в подушку, чтоб сорвать голос, чтоб осталось только рисование. Заставлял себя выбрать. Бедный мой Николенька, война его выбрала. Война... как раз то, что он не умел. Не любил игры с убийствами. Драться-то дрался, но всегда переживал потом...

Сохранилось начало размышлений Николеньки об Ионе Георгиу. Видимо, он не переставал о нем думать. Тетя Аньота, когда сгорел дом, первым долгом вынесла не вещи, не одежду, а Николенькины картины, бумаги... Все можно восстановить, заменить, кроме этих исписанных листков и холстов. Страницы обгорели, но были тщательно очищены и подклеены:

«...что за дружба, когда мы такие разные? Именно потому, что разные. Я завидую его прямоте, цельности. Кажется, он все на свете знает твердо и окончательно.

Я часто проигрывал Иону в шахматы. Почему? Вроде не хуже его играю. Разгадка привела к любопытной мысли. Он играет ради победы. Я играю ради игры. Для него не существует разницы между дешевой и трудной победой, между почетным и дурацким поражением. Победа или поражение — остальное «от лукавого». Я способен восторгаться его победой, если выигрыш красив. А если Ион делает глупый ход, мне неловко, я стараюсь не воспользоваться, мне нравится честное единоборство, а не грубый перевес. Иногда нахожу особую сладость на краю поражения. Меня волнует обреченное рыцарство последних защитников короля. Я на расчерченной доске вижу картину глубокой и гордой трагедии. Если б Ион писал пьесы, его герои неизменно побеждали бы. Он и в мечтах, наверное, не воображает себя погибающим, покинутым... А я мечтаю. Считанные минуты перед казнью — и вдруг неожиданный проблеск надежды. Чудесное превращение пешки в ферзя...

Все это, конечно, мило, но прав опять же Ион: шахматы — чистая борьба, и в ней побеждает тот, кто последовательней.

Я не смотрел ему в рот, нет, мы часто спорили, он частенько одолевал меня в споре, — может, потому, что я ждал, чтоб он меня одолел. Хотел понять его, хотел приобщиться к тому ясному миру, в котором он хозяин. Но ясного мира нет. Шальная история сперва совершает поступки, потом разрешает историкам разбираться в совершившемся. И, пока ученые извлекают уроки из прошлого, вдруг на доске истории опять цейтнот, то есть времени на обдумывание нет, а делать ход надо... Ион, которому все ясно, возражал, улыбаясь: «Разве уроки прошлого отменяются, когда соображать некогда? Мгновенный поступок беспощадно и точно подводит итог всему предыдущему, показывает, каков был опыт прошлого и насколько он стал натурай, характером и разумом человека. Или общества, или народа». Красиво сказано, но ясного мира нет. Есть грязный поток, увлекающий в бездну...»

...Седенькая, чистенькая и со вкусом одетая, тетя Аниута не то что суетлива, а слишком предупредительна, она рвется угадать состояние собеседника и подладиться к нему. Как правило, она не угадывает — приписывает собеседнику воображаемые качества и побуждения, обязательно высокие, благородные. Чем хуже обрачи-

вается ее жизнь, тем острее ищет только хорошего в людях, держится за крупицы хорошего, как за соломинку, а когда срывается, хватает руками пустоту — винит себя, начинает все сначала, не веря в неудачу.

Комната ее маленькая, но высокая. И неправильная по форме, скошенная: единственное венецианское окно слева от двери принадлежало, видимо, просторному помещению, которое потом поделилось косой стеной. У этой стены позади столика — высокая круглая печка. Стены над шкафом и диваном увешаны картинами и фотографиями в рамочках. Лампочка в оранжевом абажуре горит высоко и тускло.

Анна Ивановна поторопится объяснить гостю, что это не тот дом, где они жили до войны.

— Тот сгорел, а я приютилась тут. То есть, с Митей, пока он жил. Я сейчас угощу вас кофе, я его варю прямо здесь, в печке. Ставлю ибрик — он у меня с длинной ручкой — прямо на железную решетку, очень хорошо получается...

Тетя Аньютка не любит вспоминать, как она стряпала когда-то. То ли теперь не для кого стараться, то ли чутье утеряно, она уже не в силах угнаться за своей былой славой и потому ревнует к самой себе...

Одно лишь осталось — кофе.

Когда она варит кофе, не мешайте ей разговорами. Храните почтительное молчание. Дело в том, что Анна Ивановна начинает шептать молитву, она неслышно шевелит губами, глядя невидящими глазами в открытую печь. Как только молитва кончается, кофе готов.

Пейте ее изумительный кофе и, ради Бога, не догадывайтесь, что молитва — просто отсчет времени. Не будьте таким умным.

Но вы обязательно спросите: «А это что?» — указывая на бумагу за стеклом буфета. На обыкновенном тетрадном листе крупными, неловкими буквами выведено:

Не раздражаться.

Не докучать болтовней.

Не торопиться говорить «да» и «нет», лучше — «может быть».

— А, это... — скажет тетя Аньютка, — это память о муже. Это он написал в день смерти. К вечеру сидел задумавшись, потом взял лист, написал эти слова и поло-

жил за стекло. «Что ты делаешь?» — спрашиваю. А он серьезно и тихо отвечает: «Я сегодня умру. Я вывесил себе правила. Когда оттуда смогу наведаться, чтоб вел себя иначе». Надо вам сказать, он был вспыльчивый, нервный. После всего, что мы пережили, трудно сдерживаться, я понимала. Я старалась всячески его щадить. И тут я не стала ему перечить, хоть вся похолодела. Старалась отвлечь его от мрачных мыслей... Да. И, поверите ли, той же ночью умер. Не болел, ничего... Лег и умер.

Если вы знаете правду, не подавайте виду. Так лучше. Кое-кому, к сожалению, известно, что Дмитрий Карпович сочинил, «посмертные» правила не вечером, а утром. После обеда он ушел, пообещав вернуться к ужину. В сумерках тетя Аньют заволновалась. Хотя дядя Митя частенько задерживался, она не умела привыкнуть и всегда волновалась. А в тот вечер — особенно. Из-за его странных пророчеств и правил. Тетя Аньют погадала на кофе, вышло хорошо, и только принялась за уборку — кто-то постучал в окно. Не в дверь, а в окно. Она приподняла занавеску, взглянула и увидела молодую незнакомую женщину с испуганными глазами.

Впустила ее в дом, та сразу зарыдала, ломая руки.

— Боже мой, какое несчастье, даже не знаю, как вам сказать...

Тетя Аньют обомлела и опустилась на диван.

— Вашему мужу плохо, очень плохо, — проговорила женщина, глядя в сторону.

— Где он? — вскочила тетя Аньют.

— Сейчас пойдем, сейчас... — Женщина оправляла платок, растрепанные волосы, но не двигалась с места.

— Кто вы? — вскрикнула наконец тетя Аньют, чувствуя, что перестает понимать происходящее.

— Фира я, Фира. Я вас проведу к нему, только, ради Бога, чтобы нас не видели вместе. Я выйду первая и подожду вас у причала.

Фира быстро повернулась и выскользнула за двери.

Тетя Аньют сжала виски, встряхнула головой, бросилась к домашней аптечке, вытряхнула ее в сумку, постояла среди комнаты с колотящимся сердцем, потом вышла. Зачем-то оглянулась по сторонам и засеменила к причалу.

Как только увидела Фиру, засыпала ее вопросами. Та сказала:

— Тише! Идемте скорей! — и потянула ее в сторону крепости.

Прохожих не было видно, и тетя Аньютा повторила свои вопросы.

— Он у меня лежит. Он умер, — сказала Фира и всхлипнула, будто с досады.

— Не понимаю! — вскрикнула тетя Аньютा.

— А что тут понимать, Господи! Он у меня умер. Вот беда какая на мою голову. Заберите его.

— Как так — умер? — Тетя Аньютा вцепилась в Фиру и остановила ее. — Сердце? Врача надо, «Скорую помощь»!

— Боже мой, — сказала Фира, — Боже мой! За что мне такая напасть? Пусть я подлая, но зачем, чтоб люди знали? И вам, поймите, и вам лучше, чтоб не знали. Об этом подумаем, а ему уж все равно...

— Вы с ума сошли! Вы сумасшедшая. Я не пойду!

— Да отпустите же! Не цепляйтесь! Вам надо забрать мужа. Потом поймете. — И Фира вдруг всхлипнула. — Черт меня дернул связаться с ним! Не выдержал...

Вот такой двойной удар внезапно обрушился на голову Анны Ивановны. На ее хрупкую душу. На ее милую добропорядочность, на ее крошечный, тщательно оберегаемый мирок. Ее жизнь разлетелась, как карточный домик. Но тут, на пределе горя и унижения, обнаружилась в этой пугливой пожилой женщине ожесточенная стойкость. Как в мякоти крепкая косточка.

Анна Ивановна как-то вдруг вся посуревела и замолчала. Она послушно и молча пошла за Фирой в обход мимо крепости до ее дома. Никаких чувств больше не выражала. Ее немота сначала обрадовала Фиру, потом забеспокоила. Она то причитала, то оправдывалась, то кляла себя — Анна Ивановна не отвечала. Постепенно Фира тоже примолкла, и обе женщины — жена и любовница — стали действовать согласованно, как сообщницы. Фира, правда, нет-нет да и поглядывала на Анну Ивановну, но та на Фиру — ни разу.

Они одели Дмитрия Карповича, который лежал, голый и уже холодный, под одеялом. До поздней ночи просидели молча у его изголовья. Фира порой вскакивала, ходила, вздыхая, по комнате, а Анна Ивановна не шевелилась, упорно глядя на руки Дмитрия Карповича. Фира даже заварила чай и трясущимися руками подала Анне Ивановне. Та взяла, выпила. Потом опять застыла.

За полночь они решились, вынесли его на улицу и потащили опять кружным путем домой. Тащили его под мышки, как мертвецки пьяного, чтоб люди, если попадутся, ни о чем не догадались.

Дядя Митя возвращался в свой дом, как живой, с помощью двух женщин, которые наверняка уже не любили его. Он тупой тяжестью давил на них и цеплялся носками за выбоины на тротуаре...

Анна Ивановна до конца все вынесла. Городничего-шеньки не прознал, не заподозрил, что Дмитрий Карпович умер не в своей постели.

А Анна Ивановна со временем нашла оправдание покойному — вышло, что она во всем виновата: на страсти лет сдала, особенно после смерти сына. Часто плакала, забывала, что дядя Митя тоже живой человек и нуждается в ласке, внимании. Она даже нашла, что Фира несколько напоминает ее, когда ей было тридцать с небольшим. Может быть, он разглядел в Фире былую молодость Анны Ивановны, ловил неверный отблеск прежней Аньи, стыдливой, смешливой, веселой...

Цыганская свадьба

*У меня еще возраст зеленый,
И деревья в зеленой метели...
У монет уже возраст зеленый —
Все от времени позеленели.
Вперемежку века чередуются —
Старина и опять новизна,
И монеты звенят, и тасуются,
Перезваниваясь, времена...*

Ах да, монеты... Город научил меня собирать их, он же и отвлек. Город был свидетелем того, как мечта исполнилась и монеты объединились. Но этот долгожданный миг сам собой отошел на десятый план, заслоненный войной и победой, трехлетней разлукой и встречей с отцом, первой послевоенной весной и новым возрастом...

Руины и крепость позволяют целоваться средь бела дня. Даже во время большой перемены. Напротив школы обгоревший остов трехэтажной почты. Оттуда слышен звонок, и всегда можно вовремя поспеть на алгебру или физику.

Первая любовь — это не только поцелуи. Это все на свете. Я ей рассказываю всю свою жизнь, она — свою.

Но мои шестнадцать лет куда длиннее ее шестнадцати. Вика рассказывает про Комсомольск-на-Амуре, где она училась в школе все годы, пока ее отца не перевели сюда, в Лиманск. Ей все здесь в диковинку, и она буквально с открытым ртом слушает меня, живого выходца из до-советского времени. Я кажусь ей мудрым, бывалым и одновременно — отсталым. Она удивленно обнаруживает, что я не слышал о Есенине и не читал Маяковского. Вика открывает мне их, бесконечно радуясь, что может этим богатством расплатиться за свою неказистую биографию. Маяковский меня потряс, он стал моим героем, непримиримым, хлестким вестником новой жизни, полной ломки, веселого вызова и невиданной прежде любви. А Есенин показался несерьезным и слабым. Я перехватил инициативу и стал попрекать Вику тем, что нельзя одинаково любить противоположных поэтов.

Наша любовь началась зимой, в тот хмурый день, когда мы с Викой встретились на базаре, куда нас послали родители купить хлеба. Спекулянтки держали на ладонях бесценные черные ломтики — в городе хлеб еще был. Страшный голод сорок шестого косил и опустошал окрестные села, но мы об этом знали только по слухам.

Крестьянский паренек странными глазами не отрываясь смотрел на кусок хлеба в руках дородной тетки. Вдруг он рывком выхватил хлеб и побежал. Раздался истошный крик: «Держи вора!» Кто-то подставил парню подножку, он упал лицом вниз, и бабы кинулись молотить его. Я и Вика не сговариваясь бросились им наперерез... Свисток милиционера раздался вовремя — нам бы не поздоровилось. Вика вся пылала, растрепанная, с расцарапанной щекой — гневная, необыкновенно красивая...

А избитый парень продолжал лежать лицом вниз, и было видно, как он торопливо и судорожно дожевывает хлеб.

...Я и Вика с базара завернули в развалины и уже смеялись, находя друг у друга новые синяки. Мы заново познакомились, хотя несколько месяцев учились в одном классе. Вика платком вытирала мне лицо и шею и все смеялась. Она была в ватнике и валенках. А я — в пальтишке, из которого вырос. Брюки были заправлены в сапоги.

Голодная зима и руины — вот декорация первой разделенной любви.

У нас все общее, хотя родители кормят и одевают нас порознь. И спим врозь. Но общность быта — кому она нужна? Когда двое глядят друг другу в глаза, то к миру обращены две спины — первая любовь свободна от повседневности. Тем и хороша, но тем и коротка.

— После экзаменов мы уезжаем. Навсегда, — сказала она. Но я не почувствовал горя. Во-первых, потому, что через год оба кончим школу, и кто нам помешает встретиться? Во-вторых, не сознаваясь, все-таки догадывался, что хорошо, когда хорошее прерывается на самом интересном месте. Мне хотелось потосковать, вкусить одиночества, испытать ту самую разлуку, о которой столько поется.

Я показал ей свою коллекцию. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Я брал монеты правой рукой, и она правой, а левые были не заняты и вполне самостоятельны, они вели свой разговор, то сжимаясь, то замирая, то ссорясь.

— Ой, какой же ты молодец! — повторяла она, слушая мои исторические комментарии.

Но я уже знал, что моя любовь мне дороже этих отвлеченных металлических судеб. Я сказал:

— Я продам их. На вырученные деньги будущим летом приеду к тебе. Будешь ждать?

— Буду. Обязательно приезжай. Но не смей продавать монеты, слышишь? Я тебя очень прошу. Я буду в каждом письме тебе напоминать.

И правда — каждое ее письмо, о чем бы оно ни было, заканчивалось заклинанием: «Не продавай монеты».

И я слушался. Я по-своему зарабатывал на встречу. Я копил на завтраках. Мама каждое утро давала мне два рубля на молоко и бутерброд с джемом, которые продавались в школьном буфете. Каждый день, кроме воскресенья, приносил мне два рубля. Я закладывал их в страницы латинского словаря. Так прошли осень, зима и наступила весна.

Письма шли и твердили: «Не продавай монеты». Оставалось два месяца до путешествия в сторону любви, когда я вернулся из школы и увидел на столе четыре сорочки, две майки, галстук и трусы!

— Это тебе, — сказала мама.

Я был приятно поражен — у нас с деньгами было

того, и мне редко что-либо преподносили. Но мама почему-то смущенно улыбалась.

— Я нашла деньги в словаре. Мы посоветовались с папой и решили...

Я пулей вылетел из дома. Стыд и досада душили меня. Долго бродил по крепости, лежал плашмя на скале, как несчастный капитан после кораблекрушения, сполна вкусили отверженности и одиночества. Но не было в этом ни капли романтики. Я был унижен и зол.

Я обдумывал бегство из дома, из опостылевшего Лиманска и вообще... Продам все монеты чохом и убегу...

Убежал бы? Судьба оставила этот вопрос открытым. Потому что отец слег и вскоре оказался при смерти. Четыре раза за последнюю ночь я бегал за «Скорой помощью». Перед рассветом усталый врач пробормотал на кухне, неловко закрывая свой чемоданчик:

— Только если пенициллин... — и развел руками.

Пенициллин! Это невозможно. Это все равно что сказать: «Только если чудо...»

Пенициллин — чудо. Но его нет.

Может быть, в Одессе... В Одессе есть все. Я сейчас же поеду, я разобьюсь в лепешку, достану...

— Пенициллин нужен сегодня. Если сегодня... — Он закрыл наконец чемоданчик и не смотрит в глаза.

Мама теряется, мама хочет поймать руку доктора, но ловит чемоданчик. Доктор болезненно морщится и дергает его к себе. Чемоданчик с треском раскрывается, и все его содержимое летит на пол.

Я не могу видеть эту сцену и иду к отцу. Он стонет и перекатывает потную голову по подушке. Он что-то видит. Шепчет, заглатывая слова, — ничего не разберешь. И вдруг будто зовет или молит о прощении. Он выдыхает ясно:

— Вера!

Это имя? Или слово?

Возвращается мама и, плача, обнимает меня. Вся надежда только на меня — я уже не ребенок. И, как только она отдает судьбу отца в мои руки, слышу хвастливые слова Виктора: «Моего батьку лечат пенициллином».

Я хорошо знал Виктора, сына начальника почты. Высокий парень с толстыми губами, баскетболист и пловец. Витяка.

Через несколько минут я бужу его изываю во двор:

— Витька, достань пенициллин. Отдам что хочешь.

— Это не хвунт изюму... — и вид у него такой, будто знает что-то мне неизвестное и недоступное.

Витька, между прочим, собирал ордена, медали и значки. Его отец привез с фронта килограмма два фашистских регалий, и Витька иногда увешивался ими, как фельдмаршал.

— Витька, забери мои монеты. Десять античных, сорок серебряных, всего четыреста пятьдесят. Ты их на ордена сменяешь...

— Тихо! Пойдем поглядим.

Витька придирчиво, по-хозяйски, перебрал мою коллекцию. Пробовал на вес и на звон.

— Так я беру? — спросил он.

— Конечно, — сказал я. — Когда?..

— Через час. Это не хвунт изюму, — и унес тяжелую коробку.

Я смотрел ему вслед со страхом и надеждой.

Витька оказался честным парнем. Он свистнул из отцовского запаса десять неказистых скляночек с белым порошком на дне и принес, небрежно завернув их в старую газету... Чудо было в моих руках.

К середине лета отец медленно выздоравливал, а ее письма шли: «Когда же приедешь?» И: «Не продавай монеты».

Я просил подождать. Я приеду попозже.

Оказалось поздно: пришло первое короткое письмо, где несколько туманных строчек о том о сем, а про монеты ни слова. Потом долго не было писем...

Видно, и там что-то случилось.

Недоумение первой любви велико. Невероятно, чтоб она могла забыть. Чему же тогда верить? Силен соблазн поддаться негодованию, которое, несмотря на всю свою едкую горечь, возвышает пострадавшего в собственных глазах. «Такой души ты знала ль цену? Ты знала — я тебя не знал...» Поэту, кстати, тоже было семнадцать, когда он написал эти строки. Но за последние годы я не раз был свидетелем резких сдвигов в людских убеждениях. Видел, что чем глупей человек, тем легче он возмущается и негодует... И я решил: прежде чем винить другого, разберись в самом себе. Я начал разбираться и растерялся. Пришлось вспомнить, что мне нравится Дина Орлова. Я, правда, скрываю от себя и от нее, но неуклонно и настойчиво стараюсь ей понравиться,

хочу заставить ее думать обо мне. Для чего? Я пытаюсь оправдаться тем, что второе чувство развивается параллельно первому, совершенно ему не мешая... Но чем это отличается от самообмана или просто обмана?

И вот я спрашиваю отца:

— Ты любил маму, когда женился?

Я впервые после его болезни теплым, тихим вечером вышел с отцом на прогулку. Мы ходим по улицам наугад, мы одного роста, а когда глаза на том же уровне, можно задать прямой вопрос. Правда, я не говорю, что уже у мамы выпытывал. И она ответила не задумываясь:

— Глупости спрашиваешь. Конечно, люблю.

— С самого начала?

В маминых глазах мелькнуло воспоминание, она тихонько засмеялась.

— А он мне ни капельки не нравился, когда мы познакомились. Стеснялся и важничал. И худой был, как щепка. Я его за глаза называла «кавалер без живота». Как он вился вокруг меня! Не то что теперь. Подарил мне патефон с пластинками. Помню, здесь, в гостиной, завел танго и пригласил меня танцевать. Мы танцевали вокруг стола и так ловко, что ни стульев, ни дивана не задели. Мне понравилось, как он танцует. Не стеснялся, не важничал — просто и хорошо.

— А когда ты его полюбила?

— Как когда? — мама не поняла. — Как ты можешь сомневаться? Разве не помнишь, как я плакала в войну, как его ждала?

— Мама, я говорю — ты, наверно, не была влюблена, когда выходила замуж.

— Влюблена? Может, и не была. Хотя, когда уехал на три дня, я все заводила патефон с той пластинкой — надо мной даже смеялись.

— Когда ж ты его полюбила?

— Ну что ты пристал? Этого я не помню. Вот люблю его всю жизнь — и все.

— Как ты можешь не помнить, мама? Это... это когда жить нельзя без кого-то, когда... Это даже не объясняется, это что-то такое особенное, когда все можно забыть, кроме именно этого!

Мама встревоженно глянула на меня, как на внезапно захворавшего.

— Ты... ты будь с мамой откровенным, Стасик. Кто она такая? Ради Бога, не вздумай жениться так рано...

Но я имел в виду любовь, а не — «жениться»...
Потому теперь спрашиваю отца. Он должен ответить
серьезно. И он говорит:

— Как это было? Ну, я немножко гулял в моло-
дости. Ни денег, ни вещей не держал. Жил вольной
птицей, как цыган. Лет с семнадцати стал самостоятель-
ным, работал по нотариальной части в буджакских се-
лах. Чуть что не по мне — я бросал и переезжал в дру-
гое место. Меня ценили, как говорится, отрывали с рука-
ми. Потому что я знал языки. В Буджакской степи
что ни село — другой язык: украинский, русский, мол-
давский, болгарский, гагаузский, немецкий, цыганский.
И даже французский. Я с детства наловчился, с кем
дружил, от того и речь перенимал.

— Так я про маму спрашивал...

— Я и говорю. Гляжу, мне уже под тридцать.
Друзья подбивают меня жениться, да и я чувствую, что
пора. Сказано — сделано. Заехал я по делам в Ли-
манск, мне говорят, что Лиза хорошая девушка,
честная, скромная, кончила гимназию, умеет готовить
и шить, за ней будет часть дома. Я пошел знакомиться,
и она мне понравилась. А ты меня знаешь — я решую
сразу и окончательно. И, видит Бог, не ошибаюсь. Когда
мудришь, получается как у той сороконожки, которая
не могла решить с какой ноги начать.

— Выходит, папа, ты женился по расчету? Может
быть, и часть дома сыграла свою роль?

— При чем тут дом? Я не стал в нем жить. Мое
правило — подальше от родственников. Семью надо
строить самостоятельно. Я увез Лизу и хорошо сделал.

— Видишь ли, папа, я все-таки этого не понимаю.
Я впервые подумал, что вы просто с вамились друг
с другом. Что, несмотря на все хорошее, главного у вас
не было и нет. Разве можно так: завели патефон, потан-
цевали...

— А почему нельзя, Стасик? Плохо ли мы живем?
Что ж, я жил как цыган и женился по-цыгански. Слы-
хал ты про цыганскую свадьбу? Совсем не глупый
народ, если хочешь знать. Мне еще дед рассказывал,
как цыгане крестились. Власти понимали, что прину-
дительные меры выйдут боком, потому ради поощрения
положили им обязательный подарок от крестных. И цы-
гане охотно откликнулись, даже слишком охотно.
Как перекочуют на новое место, так опять принимают

крещение и крестных выбирают побогаче. Недурно. Известно, они ловкачи, чужого не прочь облапошить, своего — никогда. Это закон. Но если чужой — музыкант, да притом еще хороший, ты бы видел, как цыгане его почитают, как подходят потрогать артиста, кланяются, просят руку ему поцеловать. Музыке, пожалуй, верят больше всего. Так вот, встречаются два табора, собираются в лесу, подальше от посторонних глаз. После третьей чарки скрипачи начинают играть плясовую. Выходит молодой цыган на середину поляны и пляшет как душа ему велит. К нему выходит девушка из круга. Если у них не очень получается — это обычный танец. На смену первой цыганке выходит другая, третья. И вдруг происходит что-то особенное. Двое танцуют как один человек. Скрипки приходят в неистовство и играют как сумасшедшие. Стар и млад вскрикивают, хлопают в ладоши, доводят танец до невозможности, до бешеной быстроты, до полного восторга. Вот тогда начинается свадьба. Те двое, которых выбрала музыка, — муж и жена.

— А по-моему, это сказка. Я думаю, что цыгане, если они действительно вольные, ни за что не откажутся от своих чувств, даже в угоду музыке.

— Чувства... Поэты преувеличивают чувства, а на самом деле бывает не так.

— Ах, папа, пойми меня! Хорошо не все, что бывает. Иногда за целую жизнь ничего не бывает. Как у тети Розы. Это страшно, понимаешь? Я не хочу так.

— Не торопись. Чем ярче чувства, тем короче. Страсти красивы, но хрупки. А жизнь нас долго испытывала на прочность, ты знаешь. Для меня верность — главная опора. В мире слишком много ужасов и страстей. Верность — это моя защита. Иначе бы мы погибли, Стасик!

— Даже если верность — ложь?

— Верность никогда не ложь.

— Никогда? Скажи мне правду, как сыну. Ты, когда болел, произнес: «Вера». Это имя или слово от того же корня, что и верность? Это верность или неверность?

— Что ж, пожалуйста. Женское имя. В последний год на Урале...

— Значит...

— Не значит. Если уж хочешь открыть глаза, то открывай оба. Война не каждый год случается. Я с самого

начала сказал Вере, что никогда не брошу жену и сына, если они живы. Она все знала и мы ни в чем не лгали друг другу. Я и маме твоей сказал. Как хочешь понимай, но без верности в малом нет никакой другой верности — повыше или погромче. Я так понимаю: если у тебя нет верности слову, обещанию, семье, то ты для меня не человек, а пьяница. Не важно, чем ты себя опьяняешь — вином, страстью или высокими словами.

— Папа, ты сам сейчас взял высокую ноту. Ты защищаешься, а я хочу понять правду...

— Что я могу тебе сказать? Может быть, у каждого возраста своя правда... Ну, хорошо. Каюсь. Я действительно рассказал тебе сказку — цыганская свадьба совсем не такая. У них, как обычно, молодые находят друг друга по любви, и свадьба играется как положено. А то, что я рассказал, — тоже происходит, но только не с молодыми. Жениха и невесту чествуют, пьют за них, но по обычаю, чтоб молодые были счастливы, на этой же свадьбе двое пожилых и одиноких должны составить пару. Выходит плясать вдовец, и в круг вступает то одна, то другая вдовица или одинокая. Пляска длится до тех пор, пока кому-нибудь музыка не скажет «да». Тогда и пляска и веселье достигают высшей точки... Молодые могут себе позволить по страсти ошибиться, а победившие, много пережившие, они себе этого позволить уже не могут. Совместный танец двух незнакомых лучше сердца говорит, подходят ли они друг другу или нет... По-моему, это и красиво, и мудро...

— И грустно, папа.

Тут я позволю себе небольшую интермедию, раз уж речь зашла о любви: я хочу воспроизвести одну из «историй от Аристида», навеянную греческой древностью нашего городка и легендами о том, что в наших краях когда-то ревились амазонки и к ним наведался самый мужественный мужчина — Геракл.

Странно как-то наведался, называлось почему-то это подвигом (девятым по счету)...

Пояс Ипполиты

*Необоримый Геракл, доблесть его несравненна,
Подвиг девятый совершил неустрашимый Геракл,
Тех победил он в бою, кого победить невозможно,
Спой, кифаред, на века песню о славе его!
Рать амазонок была сонмищем бешеных фурий,
Их Ипполита вела, неуязвима, как вихрь,
Ибо чресла ее стягивал пояс Ареса,
Бога войны самого нечеловеческий дар...*

Из оды Мифотворца

Геракл пил вино. Пил большими глотками из глиняной чаши, похожей на миску. Текло по бороде, он крякал, вытирая губы ладонью, и, довольный, поглядывал на товарищей. Уходящее солнце еще освещало верхи мачт и парусов, а палуба огромной колыбелью покачивалась в легких сумерках.

У Геракла было своеобразное занятие — он совершал подвиги. Он не пахал, не сеял, не обжигал горшков, не ковал оружия. От него ждали необыкновенного. Спору нет, самый счастливый подвиг — тот, который не заказан заранее. Но так повелось: если ты раз-другой показал, на что способен, восхитил людей и богов, то изволь повторять, повторять неповторимое, и при этом не повторяться. Так исподволь вдохновение переходит в повинность, за тобой закрепляется роль, а ты не подавай виду, действуй. Геракл стал профессионалом, и нельзя сказать, что страдал от этого. Все-таки слава — как пелопонесское вино: отведал раз — еще захочется...

Со временем Геракл оброс некоторой свитой. При нем был Мифотворец, тоже профессионал, соединивший в себе летописца и певца, звездочета и прорицателя. А еще сопровождали его советники, помощники, ученики, оруженосцы, знахари, повара и просто болельщики.

За кормой был долгий путь, солнце садилось на неведомом берегу Понта, впереди лежал легендарный край, а за ним, по всей вероятности, кончалась земля и был вход в царство Аида.

Уже зажигали факелы, пили, ели и пели.

— Ты уж завтра, Геракл, не торопись, продли удовольствие!

Геракл быстро перевел глаза на говорившего и остановил их на его лице, не моргая, будто не видя:

— Да ну...

Это означало, что Геракл испытывал неоднозначные чувства накануне дела. На современном гибком и многословном языке разъяснений и всяких оттенков

«да ну...» звучало бы примерно так: я, разумеется, не сомневаюсь в удаче, я, разумеется, потешу вас, только как хотите, братцы, а я предпочел бы иное задание, но выбор зависит не от меня, и раз уж никто не смог справиться и это считается подвигом, то я смогу, и ты, Мифотворец, получишь необходимый материал для переосмыслиния по всем правилам искусства...

Геракл редко думал словами, он, если можно так сказать, думал действиями, поступками, представлениями, всем своим мощным и радостным телом. Чувства его не всплывали на поверхность сознания, они, как глубоководные рыбы, роились в непотревоженной тьме. Но кто отважится утверждать, что между великолепной бурей на море и подводным миром нет никакой связи?

Пьяный грек подошел к борту и стал мочиться в море. Геракл встал. Казалось, палуба сильней раскачивалась от его шагов. Он молча ударил пьяного по уху, тот отлетел и, чудом не свалившись за борт, затих. Геракл, не оглядываясь, вернулся к остальным.

Наказание было заслуженным, да не совсем. Известно, вода священна, в нее нельзя мочиться, но стародавний обычай имеет в виду речную воду, животворную, а не морскую, вдобавок еще совершенно чужую, ничью...

Видимо, покарав пьяного, Геракл выразил то, что втайне его раздражало. Слишком много публики собралось, как на спектакль. Собственно, почему? Наверное, не только потому, что его популярность растет. Вот и Тесей, тоже прославленный герой, увязался за ним. Он силен и отважен, к тому же изыскан, равно владеет мечом и кифарой. Его никак не заподозришь в желании примазаться к его, Геракловой славе. Но и помочь Тесея не нужна Гераклу. Неужели всех этих мужиков, героев и болванов, привлекла некая двусмысленность предпринятого похода? Десятки редких, никем не обезжденных пленниц, строптивых, как дикие кошки...

Геракл усмехнулся. Вокруг только и было разговору что об амазонках. Никто не обладал достаточной информацией, тем горячей и охотней каждый отстаивал свою версию, лепя подобия по желаемому образцу.

О том, что Гераклу предстояло отнять у царицы амазонок Ипполиты пояс, не говорилось,— это не подлежало обсуждению. Судачили о самих амазонках. Некоторые уверяли, что они полуженщины-полукобылы, вроде прекрасной девушки-кентавра — Меланиппы,

внучки Хирона, убегавшей в горы с мальчиком-богом Асклепием. Большинство же сходилось на том, что амазонки такие же, как все женщины, только занимающиеся не своим делом, этакие спартанки-воительницы, они живут вольно, сражаются, охотятся, а мужчин держат в черном теле. Мужчин? Нет, мужчин оскопляют, чтобы они безропотно занимались домоводством, потому да уберегут нас боги от плена. Сначала лягут с тобой, чтобы понести, а потом оскопят. Если родится мальчик — рвут на себе волосы, рождение девочки — праздник... Нет, они мужчин убивают, как пчелы трутней, недаром скифы называют их эорпата, что означает — мужеубийцы... Да нет, глупости, вовсе не так. Ведь, изводя мужчин, они сами бы вскоре перевелись. Не убивают и не калечат. Просто их мужчины давно привыкли сидеть дома под защитой жен и на их попечении. Обленились, отяжелели, их сытно кормят и поят вином. Они возятся с детишками, делают игрушки, украшения, разные красивые вещицы, сочиняют песни и оды, философствуют. По их мнению, истинное счастье в созерцании и непреднамеренном творчестве. Амазонки по своей прихоти выбирают из них любовников, порою привязываются к ним, одаривают. Некоторые мужчины живут в настоящей роскоши. Бород, конечно, не носят, гордятся утонченностью и не сознают своего рабства. Когда их уводят на ложе, опрокидываются на спину, как щенята, которых щекочут, и закрывают глаза...

Самодовольный хохот сопровождал эти и другие подробности. Геракл слушал и молчал. Вдруг над темным морем поплыл звук, похожий на колокольный, знал греки, что такое колокол. Геракл вскинул голову, поймал быстрыми, цепкими глазами звезду Афродиты и поднял брови. Странный звук исходил именно оттуда. Однако никто ничего не слышал. Геракл, не мигая, долго глядел на вечернюю звезду и внезапно почувствовал ее так близко, у самых ресниц, что невольно взмахнул рукой, словно отогнал светляка.

Тут же все стало на свои места, звезда была далеко, и небо молчало... К Гераклу подошел уже немолодой высокий воин, темный лицом. Геракл не примечал его прежде, да и теперь не спросил себя — кто он. Воин сказал:

- Я хочу выпить за тебя.
- Пей, — разрешил Геракл.

— Но я хочу сказать тебе нечто. Отойдем.

Они прошли под парусами к носу корабля.

— Говори.

— Я хочу сказать тебе правду об Ипполите.

— Что говорить? — пожал плечами Геракл.—

Увижу.

— Нет, я один знаю правду. Ипполита действительно непобедима. Я, я ходил за ее поясом, и она повергла меня. Потому не назову себя...

Геракл и не думал узнавать его имя. Он помолчал, глядя на мягко раскальваемые черные волны, окаймленные пеной. Потом опустил тяжелую руку на плечо воина:

— Как это было?

— Поверь мне, я не знаю страха и в совершенстве владею мечом, пикой и луком. Я сам много лет учил юношеской воинскому искусству. А Ипполита ни о какой науке не ведает. Она просто непобедима. Божественную силу дает ей пояс Ареса. Я сражался с ней один на один, но можно ли назвать это сражением? Я действовал наилучшим образом, она — наихудшим. Никаких простейших правил нападения и защиты она не соблюдает, ни одно ее движение нельзя предугадать. Она налетела на меня с какой-то сумасшедшей беспечностью, будто с куклой играла, она пренебрегала мной, будто я не в счет. И действительно, ни один мой удар не достигал цели, я бился с призрачной орлицей. Она захлебывала меня с той несомненной легкостью, когда все, что будет, — заранее известно. И повергла меня без особой радости. Наступила ногой мне на грудь, потом легонько оттолкнула, — дескать, ступай себе и больше не шали... Ее запредельная уверенность напомнила мне девушки, зачарованную луной, которая во сне прошла по узкому, в полступни, карнизу храма, прошла, не глядя, куда ступает, не чуя высоты в двадцать два человеческих роста. Никто не смог бы так. И ты, Геракл, не смог бы...

— Зачем говоришь мне это?

— Я хочу дать тебе совет.

Геракл прислушался к голосу правды в рассказе хмурого воина и проявил заинтересованность.

— Ты не сражайся с ней. Не гневайся и выслушай меня. Я приготовил сонное зелье. Ты замани ее на пере-

говоры, угости моим зельем. Тебе пояс нужен, не так ли? Он будет у тебя.

Геракл поморщился.

— Тебя коробит мой совет? А вспомни: Геракл прибегнул к хитрости, когда чистил Авгиевы конюшни. Не Геракл их вычистил. Геракл пустил реку через них, а потом опять заделал проломы в стенах! И как превозносили Геракла!

— Было, — согласился герой.

— Значит, дать тебе зелье?

— Что же, — сказал Геракл, — пожалуй.

Разумеется, Геракл вовсе не подумал, что Ипполита непобедима. То есть пусть и непобедима, но для всех прочих, кроме него, Геракла. А все-таки облегчение — не сражаться с ней. Лев, гидра, бык — все предпочитательней, нежели баба, какой бы царицей она ни была... Ни тени раздумия не мелькнуло в его глазах, он оставался тверд и ясен лицом. Глубоководные рыбы перетасовались, не задевая его сознания.

Воин коснулся руки Геракла. Пальцы его были холодны:

— Пообещай, что отдашь мне потом Ипполиту. Тебе ведь только пояс нужен. Поспи с ней, твое право, и уступи ее мне. Хочу с ней расквитаться, иначе жить не сумею.

— Это можно, — щедро прогудел Геракл и вразвалку пошел прочь.

Ночью ему приснился сон, отнюдь не боевой. Он видел перед собой девушку-кентавра, волосы ее черной гривой то захлестывали, то открывали детское недоуменно-ясное лицо. Она о чем-то просила большими измученными глазами, по ее крупу пробегала напряженная быстрая дрожь. Геракл силился понять, чего она хочет, странная тяжесть сдавливалась голову, росла и росла, надо было немедленно что-то вспомнить, перенесясь на тысячу лет назад или вперед, обязательно вспомнить, но тяжело, невыносимо, и вдруг тяжесть разрешилась простой догадкой: просит вытащить занозу...

Он схватил ее тонкую вздрагивающую ногу, никакой занозы не нашел и, подавившись глотком воздуха, припал губами к ее копытцу.

Тут же проснулся, долго лежал, неведомо чем потрясенный, глядя в звездное небо. Корабль плыл, как летел, и одновременно стоял на месте под неподвижными

звездами. Геракл почему-то знал уже, что не расскажет о своем сне Мифотворцу, толкователю снов.

И настало утро, и увидели греки столицу амазонок Фемискиру, и был день, и снова спустилась ночь, и вот корабль плыл обратно на юг, и созвездия в ночном небе были те же, точно ничего не пролегло между ночью и ночью, а Геракл был неузнаваем. Он был свиреп и страшен, никто не смел попадаться ему на глаза. Он сломал рею, которая болталась теперь, как перебитая ключица, он сотрясал палубу своими бесцельными шагами из конца в конец, из конца в конец — метался, как в клетке. Порою он хрипел и зажимал руками уши, чтобы не слышать колокольных ударов, прокатывающихся по небу, колокольных ударов, которых никто не слышал...

Его не тревожили, да и о нем, собственно, не тревожились. Пусть дурит, буйнит, герой имеет на это полное право. Пояс Ипполиты при нем, Мифотворец уже забился в уголок, профессионально выводя палочкой на восковой табличке первые строки сказания о девятом подвиге Геракла. Мертвые мертвы, их не так уж много. А живые получили свое. Десятки амазонок взяты в плен, их давно опоили насилино, и в трюме теперь над их телами куражатся греки, провозвестники торжествующей мужской цивилизации. Славный Тесей увел к себе царственную Антиопу (которую, кстати, пленил Геракл). Как он справляется с ней — неизвестно, он уединился, презирая соглядатаев в личных делах.

Геракл ничему не мешал, вроде бы всем все разрешил, однако сам не проявил ни малейшей склонности к необыкновенным пленницам и не пожелал участвовать в пиршестве. Казалось, он один не остыл после боя, он вел себя, как лев, окруженный незримыми врагами, он продолжал сражаться. Но с кем?

Геракл силялся понять... Ах, была бы его мысль, как дельфины, которые счастливо соединяют подводный мир с надводным, сшивая воду и воздух ловкими прыжками-стежками!.. Так-то оно так, но дельфины владеют лишь узкой полосой между мирами, глубина их выталкивает, высота — отбрасывает. И пусть, и пусть. Зато они не знают мучений, не рвутся вверх, как глубоководные рыбы, навстречу своей гибели. Какая

это боль — затосковать по недоступному свету и, лишь забрезжит он над тобой, взрываться изнутри!

Поначалу все складывалось как нельзя лучше. Ипполита сама пришла в его наскоро разбитый шатер, одна, без охраны, вошла привычно и просто, как укротительница ко льву или скорей как несмыщенное святое дитя в логово зверя. Она была прекрасна. Геракл не смог бы описать ее словами, таких слов у греков еще не было — легче изваять ее, или живописать на вазе, или воспеть на кифаре. Слова не поддавались, их заносило в сторону выспренних и общих сравнений. Ноги ее он уподобил колоннам Парфенона, волосы — стаду диких коз, груди — холмам виноградным, стан — арфе... Невозможно из этих метафор составить словесный портрет... Чем лучше нынешний стихотворец? Он воскликнул бы: спортсменка, суперстар, дикарка, а прозаик, уклоняясь от состязания с природой и ловко обходя лобовые приемы, обратил бы внимание на длинные, чуть раскосые ее глаза, на вольные складки хитона (она пришла без доспехов, без щита и оружия), на щемящее сочетание упругих линий молодого женского тела с движениями мальчика-подростка... Однако то, что поразило Геракла, совсем не сводилось к внешним данным. Герой перевидел немало красавиц и привык, не моргая, разглядывать их. А тут в нем мгновенно проснулась тревога: от Ипполиты наваждением исходит что-то непредусмотренное, какой-то внутренний свет, излучение, наплывает сон наяву. Его поразила неестественная естественность Ипполиты, невозможная ее простота, полная беззащитности и необъяснимое превосходство. Ипполита на чистейшем греческом обратилась к нему:

— Молва о тебе, Геракл, достигла этих мест. Привет тебе! С чем пожаловал к нам?

Вот и первая неожиданность: Гераклу бы надо слукавить, раз уж он припас для нее сонное зелье, а он возьми и брякни:

- Я прибыл за твоим поясом, Ипполита.
- Тебе нужен мой пояс? — удивилась она.
- Я послан за ним.
- Послан? Кто тебя может послать, Геракл?
- Властитель Микен, Эврисфей. Дочь его, Адмета, хочет иметь твой пояс.
- Бедный Геракл...

Только этого не хватало! Герой встряхнулся, отгоняя незримые чары. Он шагнул навстречу Ипполите — великолепная гора человеческой плоти, праздничный хор совершеннейших мышц. В его голосе открывался мощный и ровный гул водопада:

— Горе тебе, Ипполита! Мне придется сдержать свое слово.

Глаза Ипполиты наполнились состраданием и печалью, она слегка покачала головой, словно жалея больного брата:

— Колесонце только что встало, сотворило синебо, но будет краснебо, нигдень...

— Что говоришь? — напрягся Геракл.

Ипполита не услышала, пробормотала еще что-то, уже явно не по-гречески.

— Что говоришь? — повторил Геракл, взяв ее за плечи. От его прикосновения Ипполита очнулась, руки Геракла упали в пустоту, она оказалась уже не там, где была.

— Послушай, сядем, — сказала она, — наших мигов осталось немного, но еще есть...

И заговорила она, совершенно отвлекаясь от существа их встречи. Она отставила от себя трудный вопрос, чтобы дать ему пожить собственной жизнью, созреть подспудно и разрешиться, когда ему будет угодно. Она рассказала, что язык амазонок — особый, почти не передаваемый по-гречески. В языке амазонок слова текучи, прихотливы и неокончательны. Сливаясь и разбегаясь вновь, они — не слепок предмета, а живое зыбкое его воплощение. Как бы тебе объяснить? Ты говоришь м и г, как будто миг существует вообще, ни для кого, как будто этот миг равен или подобен другому мигу. А я говорю т о м и г, если он томительный, я говорю п о и м и г, если он дарован нам для понимания. У меня боги каждого дня, и они не повторяются никогда. Если льет счастливень на мои теплечи, я так и говорю, — не потому, что короче, а потому, что другой ливень — другой, — скажем, бурливень, и тогда будут — треплечи... У тебя слова, как камешки для твердой мозаики, а мои — капли, они образуют прозрачную гладь, которая отражает сразу и небо, и вербы, и меня. Я думаю, вам не дано понимать друг друга. У вас слова, как странные тени, отделенные от живущих и сущих, разделительные, норовящие стать между вами и миром. Сам посуди, вот

у вас словотень м е р з а в е ц, собери всех своих соплеменников и крикни: чье это слово, кому принадлежит? И разные люди будут тыкать пальцем в разных людей, и не будет никакого согласия, напротив. Словотень побуждает к раздору, к неправоте. Согласись даже все, что один из их среды м е р з а в е ц,— тот человек никогда не смирится с тем, что слово обозначает его, именно его со всей его жизнью, сердцем и памятью. Значит, слова для человека нет, а человек — есть. Камень терпит, когда вы его называете камнем, в то время как он — один такой и зовут его тоскамень... Гордый орел в небе и сонный орел на куче сора — не одно и то же, парит неборел, а сидит сорел, но по-вашему получается плохо... Ваши слова слишком твердая одежда, в ней можно застыть в определенной позе, но нельзя двигаться и жить. Мне было очень трудно постигнуть ваш несвободный язык, а ведь он наверняка когда-то был свободным. Остались же у вас м е с я ц и л у н а, чтобы вы не путали их...

И много еще прелестной ерунды плела Ипполита, увлеченная, порозовевшая, а Геракл слушал ее, как сирену, и не знал, что делать. Он насторожился, когда она упомянула про пояс (не пора ли разлить вино по чашам), но Ипполита, не возвращаясь к делу, поведала о том, что однажды ей повстречался чудный юноша, попросивший позволения глядеть на нее один день, с рассвета до заката. Она с подругами отвела тот день стрельбе из лука; юноша стоял, прислоняясь к тополю, не пил, не ел и не сводил с нее глаз. На закате он сам надел на нее пояс и вот сделал ее непобедимой. С тех пор она может поступать, как ей вздумается, ничего ей не грозит... Геракл знал, что не какой-то юноша, а бог Арес подарил ей пояс, но спорить не стал. Не спорил он и когда Ипполита несла несусветную чушь, утверждая, что души умерших «переливаются» в птиц, деревья и даже камни и решительно ничего не помнят о прежней жизни. Он-то знал, что существует подземное царство Аида, а под ним еще Тартар и что души умерших попадают за Стиксом в вечный мир печали и ужаса. Жаль ему было развеивать детские заблуждения царицы амazonок, он не открыл ей правду.

- Сними с меня пояс,— сказала вдруг Ипполита.
- Что ты надумала? — вскинулся Геракл.
- Мне стало жалко моих подруг, много их поляжет

в напрасном бою. И стало жалко тебя, ты в бою не добудешь мой пояс...

И она отстегнула пряжку, и хитон соскользнул, и она осталась нагая. И никакого пояса на ней не было.

— Сними с меня пояс, — повторила она.

И Геракл, как слепой, протянул руки, нашупал пояс, но не сумел его развязать, лишь ослабил и тогда стал ладонями скатывать через бедра, совлекать к ногам. Гераклу казалось, что он делает ей больно и сам чувствовал боль, опускаясь на колени. И вот она переступила через невидимый пояс, шагнув назад, он подобрал его с земли и поднял глаза. Ипполита улыбалась, кусая губы, и капли слез текли по ее щекам.

«Если льет счастливень на мои теплечи...» — услышал в себе Геракл и, не в силах выговорить ни слова, спросил ее глазами, она замотала головой:

— Завтра... Сегодня я отдала тебе слишком много...

Что случилось с Гераклом и Ипполитой? Геракл спросил о том, о чем ему не пристало спрашивать, Ипполита впервые ответила уклончивой неправдой, потому что ни в какое завтра не верила, а Геракл поверил и согласился, что взял слишком много, глядя на свои руки, которые бережно держали ничего...

Ипполита накинула хитон на плечи и вышла. Геракл, застыв на месте, двигал руками — складывал, разглаживал пояс, приблизил его к лицу, вдохнул запах прокаленной солнцем хвои и сухой полыни...

Это возобновляется перед глазами. Это нестерпимо. Пусть никто ничего не знает, но разве то, что было — не существует? Геракл видит ясно, так видит, что оглядывается — нет ли случайных свидетелей?

Палуба пуста. Корабль покачивается, паруса шумят. Под высокими звездами Геракл мал и потерян в бесконечной ночи. Он, могучий, безудержный, пойман бортами, да и сам корабль под куполом вселенной словно в гигантском аквариуме, и кто-то наклоняется над стеклом и внимательно следит за повадками и поведением единого маленького человека.

Озираясь, Геракл запрокинул свое монументально-крупное лепное лицо, охваченное пеной волос и бороды. Его глаза затравленно вопрошают пространство и время, но тщетно, он не видит меня.

Вскоре после ухода Ипполиты рать амазонок напала на лагерь Геракла. Грекам пришлось принять бой, жестокий, бессмысленный и бесславный. Мифотворец объяснил это кознями великой Геры, волоокой, лилейно-рукой богини, преследующей Геракла. Сперва греки защищались недоуменно, нехотя. Но, завидя кровь своих товарищей, пришли в ярость. Геракл вернулся к своим прямым обязанностям. Правда, получалось как-то заученно, руки его сами управлялись со щитом и мечом, а глаза искали Ипполиту. Ее не было. Рать амазонок вела вихреподобная Меланиппа. Рядом с ней сражались блестательные воительницы — Аэлла, Протоя и Антиопа. Аэлла и Протоя пали от руки Геракла. Меланиппу же и Антиопу он обезоружил, и они запростили пощады. Это была победа. Победа!.. Ипполита, где ты? Кровь стекает с лезвия меча, пунцовое солнце садится вдали. Краснебо, нигдень...

Амазонки признали свое поражение и принесли Гераклу пояс Ипполиты. Он сделал вид, будто верит, что этот обыкновенный, шитый золотом пояс принадлежит Ипполите. Ничего, для Еврисфеевой Адметы сойдет... Он лишь обратился к посланцам:

— Где Ипполита?
— Не спрашивай о ней. Царицы больше нет. У нее другое имя.

— Ты забыл про меня,— сказал Гераклу высокий хмурый воин.— Когда они напали на нас, я сразу увидел Ипполиту, хоть она и была не в первых рядах...

— Ты видел ее?
— Ты забыл про меня, Геракл, ты отпустил ее. А я ее настиг.

— Ты настиг ее?
— Она испугалась меня, она была беспомощна. Она уронила меч и смотрела на меня, как мертвая. Она умерла от страха еще до того, как я...

Геракл одной рукой схватил его за горло, поднял и бросил за борт. Потом он сломал, как соломинку, рею...

Никто не смел подступиться к Гераклу.

Палуба постепенно опустела. Все шло своим чередом...

...Необоримый Геракл, доблесть его несравненна,
Подвиг девятый совершил неустрашимый Геракл...

Вскоре Геракл по заданию Еврисфея отправился на запад за коровами Гериона, а Тесей женился на Антиопе.

Одиссей и тетя Роза

...город горечи в брызгах соленых.

Была у человека хорошая работа на уральском оборонном заводе, литературные карточки, было уважение товарищей и непримитивная любовь женщины. Провалевшийся в госпиталях, демобилизованный по инвалидности, он прибыл на завод жалким, слабым, бездомным. И вот через год ожил, окреп, стал улыбаться, обрел уверенность и вкус к жизни. А жизнь вроде наладилась, и человек укоренился на новом месте.

Но к весне сорок четвертого года он стал беспокойным и отчужденным, как птица перед отлетом. Первой заметила это Вера. Она догадливыми глазами следила за ним и молчала, скрывая надежды и бессилие.

Вечером десятого апреля он стоял у репродуктора спиной к Вере. Черная тарелка, как раструб судьбы, мерно отсчитывала позывные, больно подхлестывала дыхание. Важное сообщение. Наконец Левитан медленно и веско произнес могучим, пророческим басом: «Приказ Верховного Главнокомандующего...»

Отец стоял навытяжку, руки по швам, и кусал губы. Одесса!

Это долгожданное слово наполнило его всего торжественным, выбириющим гулом. Он выслушал до конца приказ, перечисляющий все воинские части, отличившиеся в боях, будто ждал еще какой-то решающей подробности. Он как завороженный смотрел в черную тарелку и не шевельнулся, пока не выслушал приказ вторично от начала и до конца.

Когда он наконец обернулся измененное, счастливое лицо, Вера у стола плакала с полотенцем и тарелкой в руках. Он подошел к ней и обнял за плечи. Она, пряча лицо, тут же откликнулась словами на его прикосновение:

— Прости меня... Видишь, радость какая... Но ты уедешь, Алеша. Ты уже уехал, Алешенька. Горький ты мой, горе ты мое...

Отец молчал.

Вера повела плечами, освободилась от его руки. И встряхнула головой. И улыбнулась сквозь слезы.

— Эх, Лешенька, что там говорить да размусоливать! — Вера шмякнула тарелку об пол. — На счастье — да в добрый путь! Не хочу, чтоб ты меня помнил зареванной.

Репродуктор гремел торжественным гимном.

— Давай выпьем! — сказала Вера и засуетилась. Она говорила без умолку: — Вот сейчас застелем скатерку, стаканы расставим, сюда вот цветы, на середину, ничего, что бумажные, хорошо будет, славно, а соленые огурцы — как это я запамятовала? — мигом будут огурцы, не рукавом же закусывать, только где эта банка, куда запропастилась, будь она трижды неладна? Спирт будем разводить или так? Я думаю — так...

Гремели артиллерийские залпы. Вера со страхом видела, что отец старается смотреть на нее, но, кажется, не видит, уходит, уходит, уходит...

Поспешно разлила спирт. Не чокнулась — стукнула стаканом по стакану, спирт плеснулся на скатерть.

— За Одессу... Я никогда не видела моря.

Оба выпили залпом. Вера зажмурилась, ладонью вытерла губы, сказала:

— Год целовал — и за то спасибо.

— Тебе спасибо, — сказал отец. — Ты добрая, сильная, ты меня к жизни вернула...

Раскатисто и мерно гремел салют.

— Ну, поцелуй меня, поцелуй напоследок!

Отец встал и поцелова ее.

— Не так, Лешенька, не так! Я не мертвая.

Отец смотрел на нее долгим взглядом, как с фотографии, из-за той черты, оттуда, где сострадание, память и жалость.

— Ох дура я, дура! Всё. Хватит!

— Успокойся, Вера. Я тебя очень прошу, — сказал отец.

Салют кончился.

Тишина всполошила Веру, она бросилась к патефону, сильными рывками завела, запустила пластинку:

Последний нонешний дене-о-чек
Гуляю с вами я, друзья...

Потом подошла к отцу, заглянула в глаза, прошептала:

— А если... если их нет... тогда вернешься?

— Вот это ты зря, зря, не пей больше! — с болью сказал отец и пошел к дверям. Хрустнул под ногами осколок тарелки.— Я минут на десять, подышать.

Еще заплачет дорога-а-я,
С которой три года гулял...

Вера глядела ему вслед, уронив руки вдоль платья.

С лета в Одессе завязалось и постепенно вырастало ядро советского Лиманска. Фронт уперся в нижнее течение Днестра и, видимо, не торопился трогаться с места. Лиманск остался пока по ту сторону фронта, но это уже ничего не меняло. Ход событий был неотвратим и необратим. Беженцы-лиманцы стали стягиваться в Одессу и жили в непрестанном ожидании. Уже существовал Лиманский горисполком, временно разместившийся в одесском помещении бок о бок с представителями других лиманских учреждений. В одной из комнат стояло с десяток столов, где директора и начальники подбирали себе штаты: горфинотдел, горкоммунхоз, горкоопинсоуз, смешторг, гортоп, горздравотдел, горено и даже бибколлектор. Отдельно расположились комендатура, начальники горотдела НКВД, милиции, порта, почты и т. д.

Уже шла зарплата, выдавались временные удостоверения и пропуска в Лиманск, уже кое-кого из будущей лиманской администрации уволили и перевели в сельский район, то есть в соседнее помещение, где теснились райфо, райпотребсоюз, правление совхозов, МТС, заготскот и заготзерно... Уже заполнялись бланки и всяческие бумаги, спускались приказы, постановления, предписания и циркуляры, составлялись финансовые планы и отчеты, созывались многочасовые заседания, собрания и летучки, только не было еще самого Лиманска. Войска Третьего Украинского фронта еще не перешли в наступление, еще не погибли и не были ранены тысячи солдат, еще воды Днестра и лимана не окрасились кровью, но все это было неотвратимо...

Медленно, мучительно долго тянется возвращение по дорогам войны...

Сначала отец ехал в купе мягкого вагона — за поллитра спирта договорился с проводником, и тот впустил его до того, как состав подали к перрону... В жестоко разрушенном Харькове застрял на трое суток, да Бог послал навстречу Давида Беленького, который работал телеграфистом на харьковском вокзале. Встреча двух малознакомых лиманцев была братской и трогательной. С помощью Давида он втиснулся в теплушку и еще три дня добирался до Пятихатки. Колеса двигались медленно, как дистрофики, замирая надолго, чтоб передохнуть. Где стоит поезд и сколько — никто не знал. Мешки, баулы, плач детишек, горестные женские причитания, скрип протезов, запах пота и водки. В суматохе, толчее и сутолоке каждый терпеливо берег свою жизнь и свой путь. Уже не горе, а надежда гнала людей по следам откатывающейся войны.

На одном из бывших вокзалов под конвоем работали пленные немцы, деловито расчищая развалины. Весь состав, растворив теплушки, молча наблюдал за ними. И кто-то швырнул камень. Немец вскрикнул и выронил тачку. Обернулся пыльное лицо и с жалкой улыбкой скользнул глазами по теплушкам. Потом взялся за тачку и покатил ее дальше...

А от Пятихатки до Первомайска отец ехал двенадцать суток. Ехал, если можно так выразиться: скорей дошел бы пешком. Ехал на нефтеналивных цистернах, на платформах с боеприпасами, на дровах, на пушке. И наконец, трясясь в кузове «студебеккера»...

В Одессе дорога оборвалась — впереди стоял еще фронт.

Отец прибыл в Одессу дней через десять после ее освобождения. Конечно, он не надеялся найти нас, но все-таки... Ему удалось узнать только то, что мы осенью сорок первого года были живы и в начале ноября вернулись в Лиманск. Лиманск, до которого рукой подать, но живому человеку дороги нет. Лишь снаряды перелетают туда...

Пока суд да дело, отец устроился в лиманский смешторг и, не зная, что осталось от Лиманска и что останется после предстоящего штурма, занимался тем, что прикидывал создание первой сети магазинов, столовых, киосков и торговых точек...

Северное крыло фронта, а затем и весь центральный быстро двинулись на запад. Бои шли у ворот Восточной Пруссии и под Варшавой, а это значило, что подходит очередь южного крыла, отдыхавшего пятый месяц.

И вот двадцатое августа вызвало в Одессе радостный переполох. Началось! Все лиманские учреждения снялись со своих временных стоянок и всеми правдами и неправдами добывали грузовики и даже подводы. Отец мгновенно собрал свои нехитрые пожитки и буквально потерял покой. Трое суток прошли как во сне, хотя, собственно, сна почти не было. Он переживал волнение как болезнь. Надежда на встречу с семьей после трехлетней глухой разлуки то вспыхивала ослепительной дрожью, то срывалась, как пламя на ветру, и захлебывалась.

В сущности, Гитлер уже проиграл войну. В марте приказала долго жить последняя иллюзия, которую Антонеску переводил с немецкого на румынский язык: война, дескать, закончится на просторах России,— не важно, кто наступает, кто отступает, важно, что русская армия при последнем издыхании, она несет чудовищные потери и будет добита на своей территории (опять же совершенно не важно, где — на Дону или на Днепре). Но в марте советские войска вышли наконец на свою границу, пересекли ее с ходу и, пройдя по румынской земле, достигли карпатских предгорий...

Да, в конце августа в Бухаресте произошел переворот, румынские войска повернули оружие против немцев. Да, но если это переворот, думал отец, произошел бы не три дня спустя после сокрушительного удара Второго и Третьего Украинских фронтов, а хотя бы за день до наступления, то есть всего на четыре дня раньше, — тогда не погибли бы тысячи и тысячи солдат, штурмующих один из последних и бессмысленных рубежей войны. Войны, чей исход был уже предрешен.

Бой за Лиманск разыгрался как раз в тот день, когда румынский король, шепелявя, объявил по радио, что его страна прекращает напрасную борьбу против союзных сил.

...Машины мчались ночью по разбитым дорогам в объезд лимана. Ехали представители лиманских учреждений и властей, торопясь в город, освобожденный несколько часов назад. Войска, не задерживаясь, рвались дальше, к Дунаю.

В этот же день союзники вошли в Париж, и в этот же день молодой король Михай I согласился на арест своего верного старого маршала Иона Антонеску, который пришел во дворец с новым превосходным планом оборонительного рубежа между Карпатами и Дунаем. Старика пришлось огорчить, ибо вся его деятельность оказалась неудачной и преступной авантюрией. Об этом, правда, не узнали сотни тысяч румынских солдат, похороненных на чужой земле аж до самой Волги...

Эти события начисто затмили в глазах мировой общественности освобождение Лиманска.

Правда, была и другая причина. Москва, голосом Левитана сообщив в вечернем приказе Верховного Главнокомандующего об очередной победе, переименовала город — единственный случай подобного рода за всю войну. Видимо, товарищ Сталин раздраженно вспомнил о дурацкой истории с каким-то призрачным островом на Днестровском лимане, из-за которого военные действия чуть не начались раньше срока, и повелел — переименовать... Как и собственно Бессарабию повелел перекроить в сороковом: нет предмета — нет спора...

...Машины с гражданскими властями на рассвете въехали северной дорогой в Лиманск. Отец стоял в кузове полуторки, держась за борт, и смотрел во все глаза.

Сердце оборвалось. Город пуст, ни души, высокий дикий бурьян разросся не только среди развалин, но и во дворах уцелевших домов, вдоль стен, в трещинах тротуара, прямо на мостовой. Ядовито-зеленое нашествие бурьяна и трав, заброшенный, вымерший город. Окна выбиты или раскрыты, калитки сорваны с петель, ворота распахнуты. Щебень, стекло, пепел, осколки и бурьян, бурьян... Сотни домов, как пустые черепашьи панцири... Запустение, хотя город большей частью, по-видимому, уцелел. Вот из бурьяна, охватившего дом по пояс, цепко поднимается под самую стреху вьющийся виноград с наливающимися розовыми гроздьями —

они выглядывают из заботливых зеленых ладоней. С крыши замяукала тощая кошка, восторженным испугом встречая людей. В кроне ореха качаются порванные провода, копошатся среди веток воробы. Со стуком упал на тротуар орех, как зеленая граната-лимонка...

Машины выруливали к центру, отец с тяжелой тоской узнавал выпотрошенный город. Впрочем, этого следовало ожидать. Фронт четыре месяца стоял по обоим берегам лимана, и неудивительно, что все жители покинули город, оказавшийся на передовой. Город рассован по деревням, там его и надо искать. Верней, он сам не сегодня-завтра собирается, сбежится капельками ртути, сольется в единую живую трепетную душу... И все-таки встреча без встречи — это горько.

Власти спешились, коснулись ногами лиманской земли и растерянно оглядывались: где же, собственно, жители? Но смущение длилось недолго. Город есть, власти есть, будут и жители. Первоочередная и неотложная задача — разместиться и устроиться. Власти разбрелись по городскому центру в поисках служебных помещений, столов, шкафов и стульев. И, разумеется, жилья.

Отец пошел домой. Знал, что никого там не встретит, но не мог не идти. Он медленно шел по Александровской, как по привычке называли улицу, которая при румынах носила имя короля Карола II, а в сороковом называлась Баррикадной. Теперь на ней еще висела румынская табличка, утверждающая, что это улица короля Михая I... Отец поднял валявшийся неподалеку железный прут, поддел табличку — она легко отвалилась и звякнула на плитах тротуара...

На углу как ни в чем не бывало стояла зеленая будочка дяди Илюши. Стояла пустым скворечником. Как только приковыляет сам дядя Илюша, подумал отец, первая торговая точка открыта... Отец не сомневался, что Илюша уцелел и вполне здоров. Это косвенно доказывало, что он не зря идет домой. Если будочка выжила, то тем более каменный дом. А значит, и семья цела и, быть может, уже возвращается в город. Отец храбро шагнул за угол, и будто камень с сердца свалился: дом стоял невредимым, только уменьшился, словно в землю врос, и сильно постарел. Отец незаметно для себя ускорил шаг, топча бурьян, и с разбега толкнул калитку. И, вздрогнув, застыл как вкопанный:

двор был именно таким, каким помнился, каким снился, каким хотел его увидеть вновь. И это было неправдоподобно, фантастично! Во дворе — ни травы, ни бурьяна, ни мусора. Каменная дорожка от ворот до крыльца чисто выметена, перед порогом веранды половицок. И только сама веранда без стекол...

Отец чуть было не ушипнул себя, чтоб проснуться, как где-то хлопнула дверь, тень мелькнула по веранде, и по ступенькам сбежала озабоченная, встревоженная тетя Роза. Она не очень-то удивилась, увидев посреди двора Алексея Михайловича в полувоенной одежде. Того, который пропал без вести три года назад. Она обрадовалась ему так, будто только вчера расстались, а сегодня он, легок на помине, явился как раз вовремя.

— Ох, Алеша, Бог тебя послал! Я думала — хоть бы кто пришел. — Тетя Роза схватила за руку отца и потянула к дому. — Скорей! Они там дерутся!

Господи! Неужели Стасик подрался с подопечными тети Розы? Отец, онемев, невольно подчинился, как во сне, бессмысленному наплыву событий и пошел за торопящейся тетей Розой. Он ни капельки не верил в реальность происходящего, хотя верил, что увидит сейчас жену и сына. Может быть, даже завтрак ждет его на столе и жена скажет:

— Где ты шляешься? Уже все остыло...

Но тетя Роза повела отца через свою светлую комнату в темную, где слышались возня и стоны. Причитая, тетя Роза нашупала на полу свечку:

— Боже ты мой, что они делают, безобразники! И спички кончились...

Отец щелкнул зажигалкой. Возня в темноте прекратилась. Свеча медленно осветила две фигуры на широкой кровати со сбитым одеялом.

— Кто это? — спросил отец, чувствуя, что к нему возвращается трезвость.

— Браток! — раздался хриплый голос. — Помоги, браток, справиться с этим гадом фашистом. Я раненый...

В пляшущей полутьме проступали два изможденных, чем-то схожих лица. Только у второго, который молчал и дышал тяжело, с присвистом, лоб был наискось перевязан...

— Оба хороши, с ума посходили, — сказала тетя Роза. — Я прямо боюсь... Скажи им, Алеша, чтоб перестали.

— Спокойно,— сказал отец.— Сейчас разберемся.
Кто второй?

— Фашист. Она мне сдуру этого гада подсунула! —
крикнул хриплый голос.— Я свой. Я разведчик.

— Это Игорь,— сказала тетя Роза.— Ему очень пло-
хо. А второй — Титус, помнишь? Гимназистом был.
Тоже совсем раненный...

— Так,— твердо сказал отец, чтобы скрыть свое за-
мешательство.

— Алеша, значит, русские опять пришли! — сообра-
зила тетя Роза.— То-то вчера так стреляли, я боялась
выйти. Ну, слава Богу, слава Богу, война кончилась!
Слышишь, Игорь?

— Так,— повторил отец, собираясь с мыслями.—
Город в наших руках, товарищ Игорь. Все в порядке.
А теперь я с ним поговорю, подожди.— И сказал по-
румынски: — Румыния проиграла войну, так что лежи
тихо.

— Врешь! — простонал Титус.

— Сволочь! — крикнул Игорь, услышав чужой
язык.— Ты кто такой?

— Молчать! — крикнул в ответ отец.— Я местный.
Слушай внимательно. Вчера вечером Румыния вышла
из войны. Сдалась, понимаешь? А этот, рядом с тобой,—
румын. Румыния уже не воюет против нас, понимаешь?
Дай я ему тоже объясню. Как вижу, вы оба ранены и
нуждаетесь прежде всего в помощи...

Минут через десять отец полностью ликвидировал
конфликт, и на кровати наступило недоуменное пере-
мирье.

Тогда отец обратился к тете Розе, которая уже заня-
лась делом — поправляла повязки у тяжело дышащих
противников,— и со страхом спросил:

- Где мои?
- А они уехали еще весной...
- Куда?
- В Румынию...

Город, оказывается, был не совсем пуст. Кто уехал
подальше, кто поближе, а кто зацепился на самой даль-
ней окраине Лиманска и там пережидал фронтовое вре-
мя. Среди них была и тетя Роза. С месяц пожила она у
чужих людей. Ей не сиделось, не спалось — впервые за

свои шестьдесят два года она отлучилась из дома, где родилась, и хоть оставалась в пределах города, все равно чувствовала себя пересаженной на чужую почву, в чужой климат и жила сама не своя. Ее тянуло домой, как птицу к насиженному гнезду. И она однажды пошла, просто так пошла, повинуясь инстинкту, вздрагивая от каждого взрыва, прячась от солдат... И дошла. И вернулась, никому ничего не сказав. Но то и дело отрешенно и хитро улыбалась, склонив голову набок. Потом стала все чаще наведываться домой. Она по мере сил наводила порядок, выметала сметье, то есть мусор, со двора, выдергивала бурьян, пыталась битым стеклом заделывать окна веранды, мыла полы, короче — оттесняла тот гарнайдер, то есть кавардак, что сопутствовал войне.

К концу лета перестрелка через лиман сошла на нет, тете Розе подумалось, что солдаты устали стрелять, да ром пули тратить, того и гляди, само собой выйдет общее замирение... Осмелев, она задумала вернуться совсем, благо вокруг не было никаких военных, — румыны в основном засели вдоль берега лимана со всякими своими пушками и ждали, как говорится, у моря погоды. Тетя Роза припасла сухари, сахар, соль и керосин, а в погребе — картошку и разные овощи, которые прямо-таки валялись на брошенных огородах. В глубине двора стояла старая шелковица, только потряси ее — засыпает лакомствами. Через забор свешивались соседские абрикосы, вишни и яблоки. Напоследок тетя Роза притащила в мешке несколько арбузов и дынь и прочно поселилась в необитаемом городе. Жила в полном одиночестве с удовлетворенным сознанием выполненного долга. Жила без особых забот, с домашними делами справлялась легко, остальное время вязала и разговаривала сама с собой. Впервые в жизни ей выпал совершенный отдых и вольная воля. Никто не мешал, не дергал, ничего от нее не хотел.

Она не понимала, что блаженствовала как раз на той жирной, двойной линии, которой на картах обозначается фронт, жила в квадрате обстрела, в пятистах шагах от передовой. К счастью, передовая упиралась в водную преграду — то есть лиман на языке мирного времени, — а эта водная преграда насчитывала в ширину без малого восемь километров. И не знала тетя Роза, что Лиманск оказался к тому времени самой восточной точкой Восточного фронта — так сказать, форпостом

всей гитлеровской Европы, откуда ловкие пропагандисты начинали мерить эту Европу поперек — от Лиманска до французского Бреста на Атлантическом океане, а вдоль — от северных фиордов Норвегии до острова Крит. Получалось с виду неплохо... Но на самом деле от Варшавы до Берлина было не так уж далеко.

Так вот, на этой самой восточной точке тетя Роза подметала, вязала и переживала самые свои тихие, счастливые дни...

Тетя Роза с детства (а может быть, и вообще никогда) не ходила купаться в лимане, не умела плавать, не загорала, лето напролет ходила в платье с длинными рукавами и искала тени. Первый раз, когда она вспомнила, что лето имеет свой смысл, что летом все, особенно приезжие, нежились на солнышке, — этот первый раз случился именно тогда, в середине августа сорок четвертого года, когда она осталась единственной женщиной в безлюдном городе, когда ее никто не видел. Дни стояли поразительно тихие и такие знойные, что сама война обессиленно задремала, томясь на солнцепеке.

И тетя Роза рискнула открыть плечи, она вышла в ночной рубахе с бретельками, села на лавочку у кустов сирени, подоткнула подол повыше и подставилась солнцу, закрыв глаза. Солнце дышало горячим червонным золотом сквозь веки. Руки, плечи и ноги прогревались до костей. Она ни о чем не думала, лишь удивленно прислушивалась к сухому жару, который окатывал ее с головы до ног. В ней забрезжило запоздалое чувство, что она молодая. И само собой это чувство обернулось тенью сознания, что она действительно была когда-то молодая, да прозевала и забыла...

С непривычки опасно общение с солнцем. Голова закружилась, заболела, тетя Роза ушла в дом, легла на топчан и затосковала. Кончилось ее блаженство, оно невзначай перешло в тоску, ей надо было опять забыться с людьми, с поденщицей, с детишками, чтобы не слышать, не помнить. Но где возьмешь этих самых детишек? Этих привязчивых, беспомощных замарашек, непослушных и почему-то неизбежно взрослеющих, и в конечном счете неблагодарных... Ну и пусть. Тупое однообразие беспрестанных забот показалось ей желанным, привычным, милым ярмом. Тетя Роза обнаружила свое круглое одиночество в одиноком городе и ночью плакала, ругала войну и свою незаметную жизнь...

И Бог услышал ее слезы, и той же ночью пришло избавление. Она услышала во дворе неверные шаги, шуршание, потом стук падающего тела и жалобный стон. Тетя Роза выбежала и в лунном свете увидела окровавленного солдатика, лежащего у самого порога. Она втащила его на веранду и захлопотала, ухаживая, как за малым дитем. Она его раздela до пояса, обтерла мокрым полотенцем — ранение в грудь навылет. Она тую перевязала его через плечо, дала пить и осторожно уложила на большую кровать в светлой комнате, которую всегда снимали квартиранты. Вглядываясь в лицо раненого, тетя Роза подумала, что оно ей вроде знакомо... Вскоре раненый открыл глаза, долго смотрел, потом назвал ее по имени. Тут тетя Роза обрадованно узнала того русского лейтенанта Игоря, который остановился у нее в сороковом и подарил ей валенки...

Игорь ей с трудом объяснил, что он с той стороны, послан был на разведку, как знающий город, но за крепостью нарвался на противника, товарищи его погибли, а ему удалось уползти. Вот и добрался до знакомой улицы; и ему повезло — нашел тетю Розу... Пусть она перенесет кровать на всякий случай в темную комнатку и попробует его выходить. Рана, кажется, не смертельная...

К утру он весь горел, бредил в жару, потом и вовсе потерял сознание. Тетя Роза поила его с ложечки, ставила холодные компрессы на лоб, день и ночь безответно разговаривала с ним, как с несмышенышем. Повязки перестали напитываться кровью — это был хороший признак. Она смазывала раны сотовым медом, чтобы заразы не было и скорей заживали. Игорь сильно потел, она сняла с него все и одевала в свои ночные рубахи. Он в бреду докладывал что-то кому-то, торопился, звал, называл имена, маму и еще Машеньку, с которой разговаривал так, что тетя Роза поняла — Машенька не была его женой, с женами так не разговаривают...

Она часто меняла белье и простыни, видела его крепкое мужское тело, тайно любовалась им и молилась, чтоб Игорь жил, женился и имел детей. Тетя Роза чувствовала, что она безысходно обижена жизнью, силилась что-то понять и не могла. Да и некогда было понимать — тетя Роза бдительно следила, чтоб душа не отдельилась от этого молодого тела, которому полагалось не умирать, а жить и пережить тетю Розу... Игорь все

горел, но к нему чаще возвращалось сознание, и он дольше спал без метаний и стонов...

Целая неделя Розиного бдения была на исходе, когда началась перестрелка и во дворе появился Титус в форме румынского офицера, в каске и с каким-то ружьем в руках. Тетя Роза была весьма коротко с ним знакома, то есть не с теперешним, а с тем малюсеньким Титусом, с которым гуляла по садику, вытирала ему сопли и мыла попку. Мадам Стратан была очень занята и через прислугу вызывала тетю Розу к своему карапузику. Мадам Стратан за помощь подарила тете Розе поношенную вязаную кофту, сохранившуюся до сих пор...

Тетя Роза смирилась с тем, что она, тонкий знаток детей, всегда упускала что-то. Она безошибочно знала, что делается в животике ребенка, но со временем переставала понимать, что происходит в его голове. Вот и теперь, привычно чувствуя, что на знакомом тельце Титуса выросла незнакомая голова, тетя Роза догадалась, что ему нельзя говорить про Игоря, и беспокоилась, чтоб он не заприметил выстиранную мужскую рубаху, висевшую на веревке. И одновременно замышляла выпросить у него какое-нибудь жаропонижающее лекарство, якобы для себя. Титус диву давался, что тетя Роза преспокойно живет в прифронтовом городе, называл ее отважной и обещал принести хлеб и консервы. Но сейчас он торопится с ружьем на чердак. Он хочет стрелять с крыши. Тетю Розу подмывало отвлечь его, угостить печеньем и стаканом молока, но где возьмешь печенье и молоко? И все-таки спросила:

— Зачем вы воюете, Титус? Может быть, хватит уже...

Титус вздохнул:

— Мы раздразнили зверя, теперь деваться некуда...

Титус часа два торчал на крыщѣ, пока не появились самолеты. Долго бабахало и тарахтело, тряслось, свистело и выло. Игорь заметался в бреду и чуть не свалился с кровати. Тетя Роза с трудом перетащила его в темную комнатку и забилась к нему, дрожа от растерянности и страха. Она погасила свечку и взяла Игоря за руки. Теперь ей казалось, что они надежно скрылись от войны, что война их не видит, раз они не видят ее... Вдруг весь этот чудовищный тарараг захлебнулся и стало тихо. Тетя Роза выбежала посмотреть, где Титус. А он

лежал посреди двора, раскинув руки, и из-под каски текла кровь.

Тетя Роза всплеснула руками, бросилась к нему — он еще дышал, но ничего не слышал, не разумел. Тетя Роза обмыла его рану (что-то острое пробило каску и задело череп над ухом), обмазала медом, перевязала и уложила на ту же кровать, рядом с Игорем. Они бредили на разных языках, но стонали одинаково.

Один по-русски наступал и спешил добить врага в его собственном логове, что-то доказывал, настаивал, требовал, второй по-румынски отступал и пытался остановиться, он оправдывался перед кем-то и обещал защитить родную землю. Слова у обоих были разные и смысл разный, и только одно восклицание было общим: «Мама!» Это вечное слово произносится так же и по-русски и по-румынски. Тетя Роза отвечала каждому из них, успокаивала и обнадеживала, хотя те оба не слышали ни ее, ни друг друга. Этот сумасшедший разговор был прерван нарастающей пальбой. Вернее, заохала лишь тетя Роза, а раненые включили пальбу в свой бред и продолжали воевать — каждый по-своему. Мало-помалу пальба отошла куда-то в сторону и стала монотонной, будто наперебой строчили швейные машинки. Тетя Роза села на пол у кровати, зажала уши руками и терпеливо пережидала. Швейные машинки строчили, строчили, строчили, и от долгих бессонных ночей и перенапряжения тетя Роза уснула на полу и проспала исторический час освобождения Лиманска. Рано утром ее разбудили громкие голоса на кровати. Игорь и Титус пришли в себя, но не успела тетя Роза обрадоваться, как раненые стали тузить друг друга и хрипеть...

Тетя Роза спасла жизнь двум молодым людям, но помирить их была не в силах. В последний раз вспыхнул фронт в Лиманске, ожесточенный, настоящий фронт в темной комнатке, на кровати...

Городок на Дунае

Забавно: из Лиманска ехали на запад, ехали долго по неизвестным, совершенно новым местам, миновали беспокойный, грохочущий Бухарест, а прибыли в городок вроде самого Лиманска.

Как и в Лиманске, в Орашеле тупик — железная дорога кончается, упираясь в границу, а граница, будто нарочно для сходства с Лиманском, водная: широко и плавно раздвинул свои берега Дунай, на той стороне болгарский город Видин со старинной крепостью (даже крепость налицо, разве что на другом берегу).

Величественные пирамидальные тополя вовсе не говорят о высоких стремлениях или дерзких претензиях орашельцев. Их особнячки, оплетенные вьющимся виноградом, охотно прячутся в садочках, одноэтажные домики с верандами и мансардами тоже не высовываются из общего ряда и свидетельствуют о глубокой склонности к мирной, нетревожимой жизни. Аптекари, булочники, мастеровые, садовники, мелкие чиновники и торговцы, подавляющее большинство старииков, женщин и детей, образованное военным временем, их терпимость и терпение, их заштатное добродушие и говорчивость — все это чем-то напоминает лиманцев. Однако орашельцы чувствительно отстали в опыте: с первой мировой войны в их городе не произошло никаких крупных перемен.

Я чувствовал себя умней их. Это и преимущество и неудобство. Они обращаются со мной как с ребенком, но они не видели «Броненосца «Потемкина» и «Чапаева», не читали «Как закалялась сталь», не слушали «Орлена» у пионерского костра. Они не знают, что такое осада, свист настигающей бомбы, семьдесят дней и ночей под прицелом, будто мишень на стрельбище. Не знают цену сухаря и глотка воды, не знают, что такое румынский солдат, их сородич, играющий сапогами на рояле, когда рядом умирает от жажды старушка и хватает сухое сено беззубым ртом...

У меня такое чувство, будто я видел то, что им предстоит, но не могу открыто об этом сказать. С неведением взрослых надо обращаться снисходительно и осторожно, надо преподносить им истину исподволь, по чайной ложечке. Взрослые обидчивы и самонадеяны, как всезнайки. Уважать их трудно.

Например, хромой почтальон Гицэ считается умницей. Он на почте первым читает газеты и поэтому всегда опережает знания горожан. Он поклонник известных военных комментаторов Памфила Шейкару и Ромулуса Шейшану. Он всегда возбужден, как футбольный болельщик, и от него нелегко отвязаться. Люди

хотят поскорее прочесть полученные письма, а Гицэ, захлебываясь, пересказывает своих любимцев, стараясь перенять их изысканный стиль. Так вот этот Гицэ настаивал, что он знает большевиков лучше меня. Большевики, известное дело, взрывают церкви, отнимают жен на общественное пользование, а младенцев забирают в казармы... Я простодушно вставил, что за год ничего подобного не замечал, да и русские такого не рассказывали. Гицэ воскликнул, что я мал и глуп: то, что видишь своими глазами, никак не является всеобщей правдой. Видеть — одно, а знать — совсем другое. Наверное, я видел только русских, а не самих большевиков. Наверное, у большевиков просто руки не дошли... Не успели за столь короткий срок...

Орашельцы действительно боялись большевиков. Но бояться дьявола — еще не значит умирать за Бога. Запуганные орашельцы не очень-то понимали, почему именно они должны воевать, и из их умозрительных понятий о большевизме никак не вытекала ненависть к отдельному живому русскому человеку или советскому вообще. Да и откуда было взять им настоящую боевую ненависть, если орашельцы не обладали идеей рабового превосходства и мирового господства — они шли на чужую войну, как волы на бойню, с оглядкой и неохотой. Война поневоле — она не рождает героев.

Если привести орашельцу живого «большевика», он немедленно заметит, что, как правило, все большевики — звери, кроме, разумеется, этого Ивана, который никак не зверь, а такой же человек, как и он сам или его сосед Ион.

Правило было чревато слишком многими исключениями.

Население Орашела тоже не очень однородное: среди коренных румын-олтян угадываются и болгары, и сербы, и даже турки (неподалеку у югославского берега стоит островок Ада-Кале, сплошь заселенный турками). Вдобавок живут в городе не только явные армяне, но и тайные евреи и цыгане. Тайные потому, что немцы, взяв у румын нефть, пшеницу и солдат, предлагали им взамен идею, что евреев и цыган следует почему-то уничтожать...

Орашельцам далеко до немцев, достигших столь решительного уровня развития. Им еще не привит вкус к уничтожению, поэтому, не помышляя сопротивляться

господствующим идеям, они соглашаются с предписаниями, но не торопятся их выполнять.

Они мастера волынить и пускать пыль в глаза. Они, например, с превеликим шумом на виду у немцев собрали одиннадцать еврейских семейств и под конвоем вывели их в соседнее село, где евреи крестились, записались румынами, а затем потихоньку вернулись в родной город, стараясь не попадаться на немецкие глаза. Немцы, застрявшие в этом захолустье, далеко не первого сорта, потому не привередничают, как в столицах и иных идеологических центрах.

За цыганами вовсе не гонялись — их всего три скрипача и два кузнеца с домочадцами, — кроме того, их не так-то просто отличить от прочих смуглых и загорелых сограждан.

Воистину — сильного голыми руками не возьмешь, но обвести его вокруг пальца сам Бог велел.

Столичная пропаганда, как заезженная пластинка, твердила, что весь румынский народ готов умереть или победить, провинциальная пресса автоматически и неизменно отзывалась, как эхо, что, конечно, все готовы умереть или победить. Столица удовлетворенно регистрировала собственное эхо, и маршал Антонеску в который раз поражался полному совпадению своих мыслей с мыслями страны. О чем и докладывал фюреру: боевой дух народа высок, как никогда. Восточный фронт, захвативший часть румынской территории, повысил решимость народа умереть или победить, а варварские бомбардировки союзников укрепили в народе жгучую ненависть к американцам и англичанам. Преданная любовь к Германии возросла необычайно.

В Орашеле шепотом рассказывали о подлинном происшествии. Американский бомбардировщик неизвестно почему отстал от своих и был атакован немецкими истребителями. Завязался воздушный бой, американец отстреливался и сбрасывал бомбы прямо в поле, чтоб облегчиться, а немец вился вокруг него, как оса, и жалил. Оба самолета на глазах притаившихся крестьян вспыхнули пламенем и рухнули за горизонт. В небе остались два парашюта. На развороченном поле горела пшеница. Американский летчик и немецкий приземлились недалеко друг от друга и только собирались продолжить бой на земле, как их окружили подоспевшие крестьяне и жестоко избили. Американец вопил по-английски, что

он добровольно сдается, немец отчаянно выкрикивал по-немецки, что он друг и его бить не надо, но крестьяне не стали разбираться и вздули их от всего сердца.

Орашельцы прислушивались к настроению крестьян, с удивлением чувствовали, что крестьяне, будучи глупее их, иногда поступают умней...

В Орашеле примерно одинаковое количество главных воюющих сторон: сотни две немцев и столько же русских.

Немцы, понятно, не скрывают того, что они люди высокого пошиба, держатся обособленно и независимо, якшаются лишь с офицерами местного румынского гарнизона и играют с ними по вечерам в карты. Среди румынских офицеров немало искусных картежников, но они стесняются обыгрывать могущественных союзников, балансируют, тактично удерживая игру на уровне незначительных переменных успехов. Немцы, возможно, томятся от безделья в этой проклятой дыре, с трудом сохраняя свою хваленую дисциплину и выправку среди обволакивающего, ленивого, душного зноя. А может быть, и не томятся, а втайне радуются тихому уголку, далекому от огненного кольца фронтов. Не потому, что трусы или потенциальные дезертиры, а потому, что на дворе стоит лето сорок четвертого года, лето хронических сплошных отступлений. Фронт уже не в России и не в Африке, а у ворот Центральной Европы, у ворот самого — страшно вымолвить вслух! — фатерланда.

Кругом трагедия, а здесь полный штиль, мертвая зона среди урагана. Граница с Болгарией — одна из самых спокойных. Видимо, Болгария так и не втягивается в войну. Нет, фронт не сулит уже никаких надежд, и рваться туда нечего. Избавления можно ждать только от нового оружия. Фюрер поклялся, что оно будет, и он сдержит слово.

И ждали. У немцев были зенитки и заградительные аэростаты. Надутые баллоны, как киты, выплывали в чистое небо и грозно несли караульную службу. Но как только сообщалось о приближении американских «летающих крепостей», немцы деловито приземляли аэростаты, выпускали из них газ и убирали с глаз долой. После отбоя надували и поднимали их над городом, с привычной серьезностью и дотошностью повторяя эту дурацкую работу.

Американцы через Орашэл летели бомбить Плоешти и Бухарест. За пятнадцать минут до их появления выли сирены.

Сигнал воспринимался населением как приглашение высыпать на улицы и считать «летающие крепости», которые журавлиными клинами по шестьдесят шли, поблескивая, на огромной высоте. Все давно знали, что американцы не отвлекаются по дороге, если их не трогать, — считали же из любопытства, чтоб на обратном пути пересчитать и доподлинно узнать, сколько же там было сбито. Сотни самолетов заполняли небо, пронизывая ровной гудящей дрожью воздух и землю. Замаскированные зенитки, естественно, помалкивали, а немцы тоскливо глядели вверх и тоже подсчитывали, сбивались, начинали сначала, отрывисто и раздраженно пререкаясь...

А русские сидели в лагере для военнопленных. Стояли их румыны и, по слухам, исподтишка смягчали условия их содержания. Пленным недавно разрешили устроить в городе выставку-продажу своих поделок и работ безобидного содержания: сапоги, резные шкатулки, портсигары, трубки, картины природы. Идейным прикрытием служили несколько икон, крестов и деревянный макет храма Василия Блаженного как выражение православного духа. Изделия умельцев пользовались большим успехом и спросом. На вырученные средства румыны выдали пленным шорты и улучшили питание.

С виду русские побеждены и, безоружные, пребывают в пленау, а немцы, вооруженные союзники и победители, по-хозяйски разгуливают по городу. Но лето сорок четвертого года откровенно подсказывало, что акции побежденных стремительно повышаются, а победители, по сути, круглые банкроты, только еще приходится притворяться, что веришь их векселям.

Пленные вели себя мирно, но в их повадках и манере поведения невольно сквозило нечто такое, что неминуемо грозило превратить охрану в обслуживающий персонал. Охрана, испытывая растущую неловкость, косилась на начальство, начальство — на немцев, те — на свое начальство, но пленные знали меру — на румынском фронте покамест длилось затишье, и не мешало еще внешне соблюдать определенную условность отношений. Они были тоже не дураки и понимали, что

к чему. Газет им не давали и о делах на фронте не информировали, но этот запрет стал таким же липовым и нелепым, как заградительные баллоны. Во-первых, никак нельзя было скрыть полное, непотревоженное господство американских эскадрилий в румынском небе, во-вторых, пленные по лицам и настроению конвоя свободно читали военные сводки и мотали себе на ус. А в-третьих, они просто читали газеты, ибо во всяком запрете всегда можно найти зазор.

Пленные уверенно ждали освобождения, румыны ждали удобного момента, чтобы избавиться от немцев, а немцы ждали чудодейственного секретного оружия. Короче, все пребывали в ожидании и сгоряча ничего не предпринимали, чтобы зря не расходовать жизнь. По инерции все шло по-прежнему, в той же атмосфере и той же расстановке сил, но в головах людей все уже переменилось необратимо.

Каждое утро пленные в майках и шортах отправлялись на Дунай купаться под присмотром четырех румынских солдат. Потом тут же, у берега, разгружали амбары,сыпали пшеницу в мешки и уносили их на баржи. Работали с прохладцей, чуть ли не каждые пять минут устраивая перекуры. Румыны на это смотрели сквозь пальцы — им было откровенно жаль румынского зерна, которое отправлялось вверх по Дунаю, в бездонную Германию...

...Я крутился у амбаров на берегу и придумывал всякие способы связаться с пленными. С незаинтересованным видом я подходил все ближе — часовой не обращал на меня никакого внимания. Тогда во время перекура я закатил мяч к пленным и бросился за ним. Один, белобрысый, нагнулся за мячом, чтобы вернуть его мне, но, словно сообразив что-то, помедлил. Наши руки встретились. Я быстро спросил:

— Чего-нибудь надо?

Пленный и вправду был сообразительным. Он ни секунды не потратил на удивление, откуда я знаю русский язык, а тут же ответил:

— Найдешь записку в уборной.

Во время следующего перекура мой пленный — коротко остриженный дядя с белыми бровями — вразвалку отправился к дощатой уборной за амбаром. Выждав, я — шмыг туда же.

«Принеси свежие газеты. Оставь в уборной».

И заработало почтовое отделение... Наши ребята уже с грехом пополам разбирались в румынском языке, но это было необязательно: достаточно было читать названия городов в сводках и рассматривать карту военных действий. Румынские газеты, особенно «Курентул», часто печатали карты,— правда, без линии фронта.

Когда мне удавалось послушать Лондон или Москву, я составлял собственные сводки, добавляя к ним сведения местного и личного характера и немедленно переправлял их тем же путем к нашим.

Я жил военными картами, знал их наизусть, видел их во сне. Рамки газетных карт были намеренно сжатыми, будто в темноте высвечивался тесный клочок пути, но я восстанавливал общую картину, выводил линию фронта на всем его протяжении, делал стратегические выводы и заглядывал в будущее.

Я знал, что будет. Начнется мощное наступление на юге. Войска хлынут в равнину севернее Дуная, левым флангом упираясь в нейтральную Болгарию, правым — в Карпаты. Удивительно благоприятные условия для смелого броска вперед! Отвлеченная реальность карт для меня была очевидней, значительней всего окружающего. Хозяйка пекла знаменитые олтянские турты: на раскаленную каменную поверхность плиты клала тесто и накрывала его большой перевернутой миской, висевшей на цепи; хозяйкина дочка подолгу играла в дурачка с соседским гимназистом на веранде, я заметил, как он под столом хватал ее за коленки, это меня тревожило и стыдило; она мне нравилась, но ей было шестнадцать, она была безнадежно старше меня — на целых два года. Я стал плохо спать, к тому же было неудобно — лежанка моя была сооружена из двери, снятой с уборной во дворе. Но все это было не важно. Важно было, что я разгадал близкое будущее. Важно было, что Орашел, по-видимому, останется в стороне от главного удара, направленного на соединение с партизанами Тито. Серьезных боев на подступах к Орашелу не предвидится. Немцы и румыны попытаются, конечно, организовать оборону. Но если в нужный момент освободятся пленные, то естественная развязка ускорится...

Поэтому по своему почину я стал воровать столовые и кухонные ножи — авось пригодятся им. Воровать

было легко, недаром все приезжие дивились честности и доверчивости орашельцев — двери и окна были открыты, ни замков, ни запоров. Даже нищие и попрошайки не пытались воспользоваться этим обстоятельством. Войдя во двор, они звали хозяев. Если те не откликались, они ждали у открытых дверей и, убедившись, что хозяев, к сожалению, нет дома, уходили восьвояси. Мой поступок выглядел кощунственно, однако, в конечном итоге, я пекся и о самих орашельцах... Дерзость моя подбиралась уже к топорам, когда пришла записка:

«Стасик, хватит. Часовой тоже ходит в уборную, может наткнуться, и будет скандал».

Скандал, впрочем, уже был. В доме, где мы жили. Исчезновение ножей переполошило все три семейства беженцев и, конечно, хозяйку...

Еще меня мучила проблема радиоприсмников — в нашем доме их не было. Вообще строжайше запрещалось слушать иностранные передачи, но слушали все. Я заводил знакомства и набивался в гости как раз в те часы, когда включалось радио. Не всегда удавалось. Порою приходилось ходить под окнами и чутким ухом, задыхаясь от волнения, ловить отдельные слова. Наконец с помощью мамы я втерся в домик, где проживали две миловидные сестры, чьи мужья-офицеры недавно отправились на румынский фронт. Детей у них не было, комнаты дышали любовным уютом и теплом интеллигентского гнездышка. Меня угождали домашним шербетом и вишневкой, я изо всех сил старался им понравиться, поглядывая на холодный, поблескивающий лаком приемник. Я ел шербет с ложечки и страдал: кругом нарастают драматические события, радиоволны, напряженно и нервно пульсируя, пронизывают стены, гардины, ковры, а ухо в мир отключено. Воспользовавшись тем, что сестры неоднократно упоминали о глухой судьбе мужей на востоке, я участливо предложил свои услуги: русский фронт сейчас, безусловно, самый важный, я могу переводить московские сообщения... Сестры испуганно и быстро согласились.

Никогда не забуду того страха, который обрушился на это милое гнездышко от знакомого мне голоса Москвы — от левитановского баса и согласных залпов салюта! Перевод мой не понадобился. Когда я оторвался от приемника и увидел бледные, страдальческие лица

дамочек, я понял, что мои слова не дойдут: перед их глазами, расширенными от бессильного ужаса, неумолимая торжествующая сила топтала их несчастных мучей, как букашек.

Салют был в честь взятия Ясс. Фронт прорван!

Мне стало совестно, что я невольно подверг их удару, что я такой счастливый, а они такие жалкие, я старался их успокоить, объяснял, что вообще-то у русских нормальные человеческие голоса и нечего их так бояться, я принес им воды из сифона и по ложечке щербету, но мне удалось лишь вывести их из столбняка: безутешные дамочки плакали навзрыд.

...После обеда прибыли бухарестские газеты, которые в привычном тоне сообщали, что народ готов победить или умереть, отражая большевистские удары южнее Ясс, а через несколько часов выступил по радио король и объявил, что его страна прекращает напрасную борьбу против русских и их союзников.

Орашельцы поняли, что война кончена. На вечерних улицах пили вино прямо из бутылок, пели, обнимались и долго не расходились по домам. Заливисто звонили колокола... Немцы стушевались. При закрытых дверях как на иголках ждали какого-нибудь внятного приказания от вышестоящего начальства.

Наутро настало смущение. Не было ни ясности, ни приказаний. Фюреру было не до орашельских немцев в тот момент, когда из-под ног ускользала целая страна, когда его армии ошалело заметались среди обломков рухнувшего фронта. Румынское правительство и командование сменились за ночь, одним ударом порвав все прежние связи, и в критический миг, разумеется, к Орашелу непосредственно не обращались. Дальше — хуже. Бухарестская радиостанция замолчала — по утверждению Лондона, ее разбомбили немцы, и в ответ король объявил Германии войну; Москва сообщала о быстром продвижении Красной Армии к Бухаресту и призывала румынский народ с оружием в руках уничтожать фашистских поработителей; Берлин передавал, что кучка предателей во главе с королем изолирована и уже сформировано новое румынское правительство под руководством Хории Сима, которое зовет румынский народ с вилами в руках подняться против изменников и красных варваров... Поезда перестали ходить, телефонные провода онемели, смущение росло. Ораш-

льцы, сгоряча отпраздновав мир, теперь вели себя так, будто ничего не произошло, однако краем глаза неусыпно следили за поведением немцев и румынского гарнизона. Немцы упаковали аэростаты, привели себя в походно-боевую готовность и опять погрузились в тягостное ожидание, ибо без приказа не смели и не умели действовать. Румынский гарнизон нервничал и изо всех сил старался это скрыть. Пленных перестали выводить на Дунай, да и грузить было нечего. Игра в карты с немцами сама собой прекратилась, деловые контакты сошли на нет, а встречи сторон в офицерской столовой были молчаливо-корректными, как если бы посреди зала лежал покойник.

Почтальон Гицэ страдал. Ни писем, ни газет, ни словечка от блестательных военных комментаторов. С пустой сумкой он ковылял по улицам, хромал пуще прежнего. Подозревали, что он напивается с горя.

Еще раз пролетели американцы над Орашем, чтобы, как объяснил Лондон, разогнать немецкую авиацию, нависшую над Бухарестом. Спустя несколько дней стало известно, что советские войска вступили в столицу Румынии — их встречали чуть ли не как дорогих гостей...

Неопределенность в Орашеле затянулась, измотав всех без исключения. Орашел чувствовал себя боковой пешкой, которая так и не двинулась с места в решающий момент шахматной драмы.

Поэтому весь город вздрогнул, когда тихим сентябрьским утром раздался вдали гудок паровоза. Первый поезд после переворота! Наконец-то внешний мир вспомнил об этом глубинном городе и шлет ему живую весточку!

...Я тоже бежал из дома по направлению к вокзалу. Мы жили далеко, у самой окраины, и я боялся опоздать. Я бежал под гору и все время поглядывал в сторону железной дороги — не видать ли чего? Вдруг из-за холма показался состав с платформами, крытыми брезентом, — словно медленно вытягивалась длинная цепь слонов. На ходу маленькие фигурки людей стаскивали брезент — на платформах открылись мощные танки. Я замер от волнения — неужели это наши? Состав скрылся за зданиями, загораживающими вокзал. И тут шагов за сто из-за угла вышел необычный военный, перетянутый ремнями, в сапогах, с автоматом за

спиной. Бросилась в глаза пятиконечная звездочка на фуражке, но на плечах были погоны... Господи, если он — наш, то откуда погоны? Откуда он сам, если поезд только-только дошел до вокзала? И в тот момент, когда я все-таки уверовал, что передо мной настоящий, живой советский солдат, я заметил, как изумленно он уставился, но не на меня. Я оглянулся и увидел немецкого офицера! Он шел бледный, держа в левой руке блюдечко с куском брынзы (паек, что ли?), они по инерции сближались, не сводя глаз друг с друга. Что было делать? Ни единого выстрела в городе, мирное солнечное утро, ошалелое чириканье воробьев, брынза на блюдечке... Действительность давно уже свихнулась, и с привычной меркой к ней не подойдешь.

Немец покорно, как зачарованный, двигался на встречу нашему. Когда они поравнялись, немец судорожно козырнул двумя пальцами. Наш не ответил, и они разошлись, не оглядываясь...

(Следующую мою встречу с советским солдатом тоже не назовешь удачной. Опять я на секунду замешкался из-за погонов, а он, чуточку поддатый, вдруг скосил глаза и схватил меня за руку, недвусмысленно заинтересовавшись моими часиками.

— Вы... хотите знать, который час? — оторопело пролепетал я. Тот, услышав русскую речь, чуть не присел от удивления:

— Японский бог! Ты откуда взялся?

— Из Бессарабии. Мой папа в Красной Армии!

Он аж покраснел. Лихорадочно вытащил из кармана несколько пар наручных часов и стал совать их мне:

— Бери, родной! На память.

Я отскочил как ошпаренный и ретировался в великом смущении.)

...На рассвете румынскому коменданту вдруг позвонили из Крайовы какие-то новые начальники и скоро говоркой уведомили, что советские части, двигавшиеся в сторону Югославии, получили приказ выйти на болгарскую границу и через час или два будут в Орашеле. Коменданту испуганно ответил, что в городе немецкие зенитчики. В Крайове страшно удивились и приказали немедленно избавиться от них до подхода русских, чтоб не случилось несчастья. Коменданту тут же побежал через улицу в дом, где жил его немецкий коллега.

Он без утайки пересказал ему весь разговор с Крайовой, подчеркнул, что все дороги заняты русскими, а переправы через Дунай нет... Так что, прошу прощения, сдавайтесь...

Через двадцать минут немцы с чемоданчиками, но без оружия построились перед лагерем. Ворота были распахнуты, русские пленные вышли, немцы организованно вошли туда, охрана и персонал, разумеется, остались прежними (лагерный врач, доктор Мунтяну, который поигрывал с немцами в покер и дружил с русскими пленными, теперь давился со смеху). Когда раздался гудок паровоза, первые советские машины уже въезжали в город по шоссе.

Лишь один незадачливый немец, заночевавший у знакомой соломенной вдовы на окраине, прозевал перемену декораций. Вдова накормила его завтраком и уговорила взять с собой на обед немного свежей брынзы домашнего производства. Немец, услышав гудок паровоза, схватил брынзу вместе с блюдцем и выскочил на улицу...

...И опять орашельцы отпраздновали мир — и опять поторопились. Ночью Советский Союз объявил войну Болгарии, а Болгария — рукой подать, через Дунай. Многие жители с бараком бросились вон из города — до того, как начнется перестрелка. Но выстрелов не было. К утру все облегченно узнали, что Болгария просит мира с русскими и объявляет войну Германии.

Таким образом, Болгария, в сущности не участвовавшая в мировом конфликте, вдруг на одни сутки оказалась в состоянии войны со всеми великими державами: Америкой, Англией, Россией и Германией!

Пристыженные беженцы вернулись домой, и орашельцы в третий раз отпраздновали мир. Но... вверх по Дунаю пробивались германские суда — остатки речного и морского флота. Советские войска как раз ушли за Дунай, поэтому остановить немцев было поручено румынскому гарнизону, в помощь которому срочно доставили три мелкокалиберных пушки из Крайовы. На сей раз орашельцы не поддались на испуг. Хватит, никакой стрельбы не будет. Немцы не станут палить по городу, им это ни к чему, ну, а пушки выкачены на берег для остротки — чтоб немцы не вздумали высади-

ться в город за провиантом. Скатертью дорожка, пусть плывут к черту на кулички без остановок. А может быть, они вообще не дойдут до Орашела?

В полдень по тихому Дунаю из-за поворота излучины, где плакучие ивы свешивались до самой воды, показались торпедные катера и буксиры. Многие жители не таясь собирались их считать.

Немцы открыли огонь, как только увидели город, били по нему в целом, наобум, ни к чему не пристреливались, то ли мстя, то ли просто злобствуя. Снаряды пробивали стены и черепичные крыши, влетали в открытые окна, срезали тополя — брызги осколков косили напропалую людей и птиц, собак и кошек, яблоки в садах, детское белье на веревке, беседки с вьющимся виноградом. Крики и стоны терялись в свисте и взрывах, человеческая кровь смешивалась с виноградным соком, каменная пыль — с клубами дыма.

За что? За что такая кара на жителей мирного, невиноватого, ни к чему не причастного города? Нелепому, бессмысленному обстрелу подвергся город, который хотел перехитрить войну, нелепую, по его мнению, затею сильных мира сего.

Кровью, смертью, пламенем и руинами платил теперь город за открытие, что война — гнусное преступление, а зачинщик ее — преступник.

Недоуменный страх был захлестнут волной обиды и горя.

Но беда учит быстро, и город, очнувшись от первого потрясения, приступил к той будничной фронтовой работе, которую уже проделали сотни городов за последние пять лет. С поразительной очевидностью открылось, что в городе есть смельчаки и трусы, организаторы и паникеры, вожаки и путаники. Остальные, как водится, колебались между первыми и последними.

И, как всегда в часы опасности, первые взяли верх. По их советам и распоряжениям, больных, женщин и детей увели в подвалы и погреба, спустили к ним раненых, стали тушить пожары, запасаться водой, сухарями и медикаментами, а старики и оставшиеся в городе мужчины вспомнили про свои охотничьи ружья и бинокли.

Хромой Гицэ был один из тех, кто уверял, что немцы стрелять не будут. Он был ранен у самого берега.

В погребе, где его уложили на ящиках из-под пива, он плакал и вскрикивал от каждого близкого взрыва:

— Не может быть! Что же это такое, люди добрые? Не может этого быть!

Гицэ считали умницей. Но оказалось, что именно умница труднее всего согласиться с тем, что происходит на его глазах.

Весь день с короткими перерывами немцы обстреливали город, проплывая мимо. Но уже смельчаки засели на мансардах и палили из двустволок в сторону Дуная, чтобы поддержать артиллеристов, которые самоотверженно отвечали немцам, стараясь повредить их суда. Гарнизон тоже залег на берегу и беглым винтовочным огнем поливал палубы противника.

Несколько снарядов угодили в лагерь, разбили крышу барака и ворота — пленные немцы фактически оказались на свободе. Большинство из них не пожелало воспользоваться призрачной свободой и, укрываясь, просто пережидало стрельбу. Однако десятка два немцев бросились к Дунаю и вплавь попытались достигнуть своих. Лучше б не пытались. В них стреляли с берега и с мансард, и вдруг свои ответили встречным пулеметным огнем. Видимо, не разобрались. Пловцы в ужасе повернули обратно, но только трое, шатаясь, выбрались на берег. Они были расстреляны на месте.

И оставшиеся немцы чуть было не поплатились за своих сородичей. На другой день, когда в поврежденной церкви уже начали отпевать погибших, гарнизону пришлось защищать пленных от разъяренных жителей. Вчерашних союзников они уже называли не иначе как фашистами, и в этой несправедливости была своя справедливость.

Всего один день был Орашёл в огне, но этот день лег рубежом между прошлым и будущим. Дым развеется, кровь растворится в Дунае, город отстроится и сотрет следы разрушений, мирное солнце взрастит виноград, оплетающий беседки, веранды и стены до самых крыш, но город никогда уже не будет прежним. Он кое-чему научился...

Караван немецких судов застрял все-таки у Железных ворот, в теснине близ города Турну-Северин. На Дунае перед Орашёлом осталось несколько барж, отбитых от буксиров или брошенных ими. Баржи постепенно прибились к берегу, и город поразился последней

нелепости: они были битком набиты ящиками редких сладостей — фиников, инжира и изюма.

Зачем фишисты в своем озверелом обреченному бегстве тащили за собой этот дурацкий груз — уму непостижимо. Расстреливали город, оберегая сласти?

Ребятня неделями штурмовала баржи, объедаясь до тошноты.

Сластиям конца не было.

* * *

Спустя лет двадцать после войны я побывал в Румынии. В один из летних дней мы возвращались на машине в Бухарест, и сопровождающий предложил сделать короткую остановку в местечке, которое славилось своими мастерами по дереву. Действительно, мастерские и выставки произвели большое впечатление, рассказывал и показывал невысокий плотный крепыш лет за сорок, который затем попросился к нам в машину — ему срочно надо было в Бухарест, а у нас как раз было место.

Он уселся рядом со мной, выяснил, кто я и откуда, и вдруг вытащил из бумажника фотографию молодого военного летчика.

— Это я, — сказал он, — не узнаете? Мирча Пуркару. Я таким был. Не просто летчиком, а настоящим асом, меня узнавали в небе и те и другие! — он молодцевато глянул на меня, интересуясь произведенным впечатлением. — Меня никто сбить не мог!

— А где вы воевали? Против кого?

— Ну, ясное дело. Я летал и над Волгой... Ваши меня боялись, как огня. Что правда, то правда, — он со мной как с бессарабцем говорил по-румынски, не стесняясь.

— А потом?

— А потом — это целая история. Рано утром 22 августа 44-го года недалеко от фронта мне сам маршал Антонеску вручил награду и попросил слетать под Кишинев и вывезти из окружения двух генералов. Сказано — сделано. Был большой кавардак. Русские прорвались и появлялись там, где их не ждали. Кругом шла стрельба, трудно было разобраться. Я приземлился на скошенном кукурузном поле, как условились, но тут же раздался взрыв, разнесло шасси, я едва выбрался.

На мину, что ли, напоролся? Вдобавок вместо моих генералов появилось с десяток иванов, взяли меня тепленького, сунули в какой-то погреб и на сутки забыли. А рано утром 24-го привели к вашему командиру, он улыбнулся и сказал мне:

— Вчера ночью Румыния вышла из войны, ваш король арестовал Антонеску и перешел на нашу сторону. Пойди скажи это пленным, ты же свеженький, оттуда. А мы в долгу не останемся.

— Брете! — крикнул я. — Маршал Антонеску лично позавчера вручил мне награду. Брете.

За это меня отправили в Донбасс, вкалывать на шахте вместе с немецкими пленными. Понял я — загнусь. Мне, орлу, не быть кротом. Если уж погибнуть, так лучше на воле. И я удрал. Пробирался ночами на запад, обходя населенные пункты. Питался чем попало в украинских садах и на огородах. Ну, иногда и с ватными бабами миловался, рассказывал им сказки, что я из молдован, маму ищу. Бабы у вас сердобольные, а болтать — языки я ухватываю с ходу, как цыган. Вообще нигде не пропаду.

Короче, шел я долго, уже осень кончалась, когда я проскочил через границу и вскоре оказался в родном селе, в Олтении. Несколько месяцев я ходил гоголем, да черт меня подбил связаться с одной мужней бабенкой. Ее благоверный и настучал на меня, что я беглый. Ваши потребовали меня обратно, взъелись. И на сей раз засадили на Урале в настоящий лагерь.

Вот тебе и на! Опять чувствую, что загнусь, а бежать невозможно. Стал я умом раскидывать так и эдак. Узнал, что начальник нашего лагеря завидует соседнему — тому зэки сделали какие-то потрясающие шахматы. Я передаю по цепочке, что могу сделать не хуже. Вру, конечно. Авиамоделизмом занимался в школе, больше ничего... Что вы думаете? Вызывает меня начальник, спрашивает, могу ли я вырезать такие фигуры, чтобы Иван Грозный сражался с татарами. Могу, говорю. Только нужно особые сорта дерева (я ему назвал штук семь самых редких — пусть ищет, я не спешу) и бидон молока, чтобы бруски вымачивать. И место, где работать (само собой — с режущим инструментом в бараке нельзя).

Все сделал начальник, все достал. И эвкалипт, и самшит, и эбонит. И конечно, бидон молока. А я за это

время нашел художника, зэка, он мне эскизы делал за молочко — и русских воинов, и татарских. Долго я мучился, пока вырезал коня. Передал начальнику — тому понравилось. И пошло!

Жил я, горя не знал. На особом положении. А в 49-м меня освободили, начальник лагеря переживал, жаль ему было со мной расставаться, я был к тому времени его гордостью — он утер нос всем соседям.

Открылся, значит, во мне талант. Теперь я этим знаменит — вот еще цветная фотография, это шахматы юбилейные, для Георгиу Дежа. Теперь я делаю для самого Чаушеску...

Я нигде не пропаду...

Бухарестский узел

Отцу казалось, что Лиманск — это конец долгого пути домой. Но когда Лиманск был освобожден, оказалось, что долгий путь не окончен...

Он не мог больше ждать — решил во что бы то ни стало найти свою семью. И немедля.

В середине сентября он прибыл в Измаил с командировкой в кармане. Она гласила, что Алексей Михайлович командируется на Третий Украинский фронт за трофеинными машинами для хозяйственных нужд Лиманского горисполкома. Третий Украинский фронт был в Румынии, следовательно, пограничники должны пропустить Алексея Михайловича на ту сторону. а начальник пограничного отряда даже слушать не хотел. Пусть он ищет Третий Украинский фронт где хочет, а граница есть граница, она закрыта для гражданских лиц. Лиманский горисполком ему не указ. Только по распоряжению Сталина или Молотова. Точка.

Алексей Михайлович направился к начальнику порта. Повезло. Вадим Ищенко, тридцатилетний капитан речного флота, — парень свой. Много было выпито, много рассказано. Капитан уложил его на диване в своем кабинете. В четыре часа утра пришел за ним:

— Лешка, подъем!

Провел его на катер, шедший вверх по Дунаю.

— Вот что, ребята. Высадите его в Тульче, но никому ни гугу. Он едет по особому заданию.

Алексей Михалович действительно выглядел как-то особенно. Черные горизонтальные усы на смуглом лице, армейская форма, но без погон. Штатский плотный портфель.

А в портфеле — около миллиона лей, собранных в Лиманске у родственников и знакомых. Румынские деньги лиманцам не нужны, а ему пригодятся.

Перед рассветом он остался один на пустом тульчинском причале. Сырое дыхание темной реки, покачивание фонаря, ни души. Граница еще односторонняя — румынских пограничников нет и в помине.

Куда пойти? Сперва, конечно, на базар — подкрепиться. Странное ощущение: после тысячекилометровой разрухи попасть в нетронутый городок, живущий почти довоенной жизнью. На базар стекались подводы с фруктами, арбузами, виноградом, вываливались свежие туши мяса, кричали петухи и куры. Владельцы спешили пораньше открыть свои корчмы — закусочные. Русскому — особое почтение. Потому в самый раз говорить по-русски — пусть побегают вокруг меня! Потребовал мититеи на гратаре — их срочно приготовили.

Хотя помнил, что находится здесь не совсем легально, он уверен, что ему повезет и на этот раз. Чувство риска веселит и будоражит. Веселят и невольные сопоставления с прошлым. В первый раз когда был в Яссах — в двадцатом году, кельнер нарочно обходил его, не скрывая презрения к его ломаному румынскому языку. Бессарабцы ходили в пасынках, им напоминали об этом на каждом шагу.

А теперь он намеренно говорит по-русски, он представитель могучей державы-победительницы. Ловит себя на мелкой мстительности — хочется отыграться, подчеркнуть, что вы три года воевали против нас, любили трофеи и жили, кажется, недурно. И все-таки забавно и даже приятно глядеть на бодрящегося хозяинчика в фартуке поверх штанов, с полотенцем в руке, с розовой складкой слежавшейся во сне щеки.

Вертлявый, полный улыбок хозяин ни в какую не хочет брать денег. Мол, что вы, ешьте на здоровье, пустяки! Ну нет, отец выкладывает со строгим видом на скатерть сто лей. Из принципа.

Вокзальный перрон разделен невидимой чертой: справа — румынский патруль, слева — наш. Отец идет, конечно, направо. Румынский сержант пробует что-то

вякнуть, отец резко отвечает по-русски, нетерпеливо отстраняет его и проходит к вагонам.

Когда поезд трогается, вздыхает облегченно. Впереди Бухарест.

Еще в Лиманске отец узнал, что нотариус Коврига причастен к судьбе его семьи. Коврига помогал Лизе деньгами, а когда фронт приблизился, уговорил ее со Стасиком выехать к нему. Серджиу Поп, начальник лиманской сигуранцы, взявший в свое время у Лизы подпиську о невыезде и заставивший ее каждую среду являться на регистрацию, теперь охотно согласился: неблагонадежных надо убирать подальше от прифронтовой зоны... Но Лиза со Стасиком вскоре исчезли из Бухареста,— надо полагать, Коврига оказался не совсем бескорыстным в своих заботах. У Розы сохранилась единственная открытка, отправленная из Орашэла, где Лиза сообщала, что ночует на вокзале, ищет квартиру, встретила несколько лиманских знакомых и это большая радость. О Ковриге ни слова.

Ничего, он распутает клубок! С дороги дал телеграмму Ковриге. Сделал это с чувством, будто телеграфирует в иную эпоху или на тот свет.

Но вот, прибыв в Бухарест, на перроне полуразрушенного Северного вокзала отец увидел въявь тучную фигуру довоенного приятеля, бонвивана и страстного автомобилиста. Коврига был в скромном сером костюме, без шляпы. Его толкали суетящиеся носильщики и пассажиры, но он не двигался с места, глядя прямо перед собой — вагонные окна скользили мимо его глаз.

— Стельян Иванович! — вскрикнул отец, сойдя на перрон.

Коврига вздрогнул и медленно оглянулся. Он с каким-то обреченным достоинством выждал, пока отец пробился к нему, и прошептал:

— Прошу тебя, Алеша, говори по-румынски...

Они поехали трамваем. Коврига выглядел постаревшим и утомленным. Он держался скованно, видимо, опасался на людях разговаривать с человеком в советской военной форме. Как бы кто не догадался, что он, Коврига, бессарабец, как бы его не вернули силком под большевистскую власть.

Отец с интересом смотрел на город, на прохожих. Бухарест двоился: улицы, крупные и мелкие магази-

ны, блокгаузы и особняки выглядели по-прежнему, а люди — иначе. Часто мелькали военные: королевские гербы на фуражках с высокой тульей, пятиконечные звезды на касках. Столичная публика явно поредела и сменила элегантные, изысканные наряды на более демократичные. Зато «простонародье» из заводских предместий и ближних сел охотно, по-хозяйски хлынуло на центральные проспекты, нимало не стесняясь, своих кепок, курток, платков, десаг и даже постолов. В окнах парикмахерской на углу Каля Гривицей были выставлены два больших портрета — молодой красавец Михай I и суровый, с нависшими усами Сталин. Город тревожно суетился и гомонил, искал себя, еще не находя.

Переполненный трамвай гремел и скрежетал.

Коврига, отделенный добрым десятком людей от Алексея Михайловича, глядел под ноги и сопел, с трудом умещаясь в проходе.

— Есть у тебя адрес Лизы? — спросил отец, как только они сошли у рыжего костела недалеко от Каля Викторией.

— Постой. Это долгий разговор, — вздохнул Коврига, платком вытирая потную шею.

— Есть или нет?

— Алеша, ради Бога, дай мне хоть десять минут. Если сразу отвечу, ты не станешь со мной разговаривать. А мне совершенно необходимо объясняться.

— Стельян Иванович, хватит валять дурака. Я три года ждал, еще десять минут не могу!

— Но ты не уйдешь? Обещаешь? — Коврига остановился и повернулся всем своим грузным телом, как бы загораживая отцу дорогу.

— Есть или нет? — упрямо и неумолимо повторил отец.

— Есть! Но понимаешь ли...

— Давай сюда.

— Но адрес тебе не понадобится! И перестань разговаривать таким тоном...

— Почему не понадобится?!

— Видишь ли, вчера днем они, то есть Лиза со Стасиком, проехали Бухарест. А вечером я получил твою телеграмму. Они возвращаются обратно, в Лиманск, то есть вы разминулись...

Отец помчался на вокзал и купил обратный билет.

К сожалению, лишь на шесть утра, не раньше. Коврига, пыхтя, семенил за ним.

— Пойдем ко мне, пообедаем, — простонал он.

— Ладно. Только быстро. Мне еще надо потратить деньги.

— Какие деньги?

— У меня восемьсот тысяч лей.

Коврига удивленно присвистнул и загорелся:

— Идем, я добуду тебе шикарный костюм. Без меня ничего не найдешь, потому что продавцы прячут хороший товар. Чуют инфляцию. Идем скорее. А оттуда прямиком в ресторан «Капша».

— Без костюма со мной в ресторан не пойдешь?

— Честно говоря, нет. Ты должен понять.

Отец пожал плечами:

— Ну что ж. Давай.

Часа через полтора отец преобразился с ног до головы. Принял ванну у Ковриги и оделся во все новое. Он выглядел не слишком шикарно — не то время! — но вполне респектабельно. На такси махнули в «Капшу». Был заказан отдельный столик. Закуски, вина, первое, второе, третье, мороженое и кофе. Отец ослаб (полный порядок, семья нашлась и едет домой!) и обалдел от одного вида яств (неужели у них не было карточной системы?). Да и у Ковриги стало легче на душе оттого, что Алексей Михайлович сменил одежду, стал по виду понятным и привычным, как в доброе старое время. Коврига говорил:

— Я не одобряю того, что происходит. Совершенно не одобряю. Я гурман, я холостяк — да. Пусть я умру от ожирения, но не собираюсь ни от чего отказываться. Это мое личное дело. Я не хочу, чтоб мне предписывали диету и правила поведения. Я не хочу, чтоб мужики и хамы тыкали в мой живот и требовали отчета. Кому мешает мой живот? Только мне, я не могу нагибаться... Митика, принеси льда! (Накрахмаленный Митика делал шприц — то есть бокалы с вином доливал газировкой из сифона). Выпьем за старую дружбу. Старый друг лучше новых двух, — последние слова он произнес по-русски. — Алеша, не знаю, как ты жил эти годы, но вижу — скверно, очень скверно. Ты осунулся и посерел. Еще недавно ты был просто жалок в той по-

трепанной солдатской форме. Молчи, дай договорить. Ешь, это настоящая костица де пурчел, пальчики оближешь. Ты ее четыре года не ел, ты жил впроголодь. Алеша, милый, вы еще сто лет будете жить впроголодь...

Мимо прошла ни на кого не глядя, загадочно улыбаясь, молодая красавица в белом, будто римлянка времен первой республики,— отрешенная, недоступная...

— Стелуца, поди сюда, детка! — окликнул ее Коврига.

— Спасибо, папаша. Я занята,— бросила та, на ходу легонько коснувшись пальчиками редких волос на затылке нотариуса.

— Алеша,— продолжал он, тут же забыв про Стелуцу,— у тебя сейчас большие деньги, я посоветовал бы тебе — останься, но даже не заикаюсь, потому что Лиза... Я понимаю. Честно говорю, я ее уговаривал не ехать, мне ее жаль: что она там увидит? Она не знает, что ты жив, и я не знал. Не знает, а все-таки едет. Удивительная женщина, она тебя любит и готова отправиться к черту на рога. А подождала бы денек, вы бы здесь встретились, глядишь, ты бы и одумался. Жаль. И еще тебе скажу... Давай еще выпьем на счастье (Митика мгновенно подлетел к столу и долил бокалы — они ни секунды не пустовали)... Все скажу. Я умолял Лизу оставить хотя бы Стасика, мальчику надо дать образование. Чему его там научат? Хамству, жестокости? А я бы его отправил в Париж или Оксфорд. Я бы умер спокойно, завещав ему контору. Ты его давно не видел. Очень сообразительный мальчишка, спокойный, вежливый. Не без упрямства, правда. В тебя, видно... Мне, Алеша, пошел шестой десяток, поздно обзаводиться малыми детьми. Да и женисьба для меня — нож. Я хотел усыновить Стасика. Прости и пойми. Я не в силах спасти тебя и Лизу. Хотя бы его... Может, дашь телеграмму? Может, вернем их? Впрочем я говорю глупости...

— Ты помогал Лизе деньгами?

— Да. Три тысячи в месяц... Я сначала искал тебя, чтоб мы работали вместе, но тебя взяли в армию большевики. Лиза была в ужасном положении, жила за счет квартирников, шила по ночам...

— Спасибо. Но что до спасения... Стельян Иванович, ты притворяешься или в самом деле не понимаешь, что творится вокруг? Я тебя слушаю-слушаю и просто удивляюсь. Коммунисты уже в составе вашего правительства. Они вышли из тюрем как победители. Они заодно с Москвой, а Москва отхватила сейчас пол-Европы и никому уступать не собирается. Так что, видит Бог, пока не поздно — мотай отсюда хоть в Аргентину. Бьюсь об заклад, что у вас тоже будет социализм. Вроде нашего...

— Что ты говоришь? Какими словами говоришь? У нас остался король, он женится на английской принцессе. Черчилль и Рузвельт никогда не допустят большевизации Румынии. Никогда! Ваши войска не сегодня-завтра уйдут отсюда не солено хлебавши. Это ясно каждому дураку, потому что ваши войска измотаны до предела, а война еще не окончена. Разве ты не понимаешь, что американцы и англичане почти ничего не потеряли за эти годы, тем самым они с каждым часом сильнее вас?

Коврига, сам того не замечая, перешел на русский. Отец думал об извечной человеческой странности: вот мы, два старых знакомых, видим одно и то же, а объясняем совершенно по-разному. Для него действительность — как зеркало. Он загораживает ее собою и видит только себя. Отец отпил ледяного, постукивающего по зубам вина, покачал головой, скользя глазами по залу: фешенебельность «Капши» — как притворство, как сон, как мираж:

— Стельян Иванович, я тебе по-дружески говорю: мотай отсюда подальше, пока не поздно. Хоть в Швейцарию. Здесь будет социализм.

Коврига набычился и склонил голову над тарелкой. Наступило неприятное молчание. Потемнело. Хлынул дождь. Кельнеры бросились закрывать окна.

Коврига подавился и долго откашливался, багровея и утирая слезы. И вдруг проговорил сипло между двумя взрывами кашля:

— Я считал тебя... умным... а ты... ты болван...

Это было слишком. Отец почувствовал раздражение и сказал:

— Ты вкусно ел, пока я землю рыл. Теперь помалкивай.

Коврига вскинул голову, выпучил страшные, полные

слез глаза. Он, казалось, сейчас выпалит убийственные, необратимые слова. Но послышалось только:

— Ты прав... Извини меня... прошу...

Так не вязались эти слова с выражением его лица, что отец подумал: «Врет. Испугался, что выдам. Сообщу куда надо, что он беглый бессарабец. Извиняется!» Отцу стало противно. Он открыл портфель и выложил на стол двести тысяч лей.

— Вот, расплатись за обед, а остальное в счет твоей помощи Лизе,— и поднялся из-за стола, уронив салфетку.

— Подожди. Ливень! — растерялся Коврига, неловко пытаясь встать со стула.

Отец вышел не оглядываясь.

Он шагал под дождем, со странным злорадством чувствуя, как мокнет его новый костюм. Отчуждение, испытанное в ресторане, не давало ему покоя. Поэтому он лишь мельком взглянул на советского капитана, который шел навстречу, не сводя с него глаз. Капитан замедлил шаги и окликнул его сзади:

— Стой!

— В чем дело? — обернулся отец. Черты лица капитана смутно напоминали кого-то.

— Документы, — сухо приказал тот.

— Не дури, капитан. Я свой, советский. Просто купил новый костюм.

— Все-таки!

Отец сердито протянул ему документы, отступив под навес. Капитан вздохнул облегченно и просиял:

— Слава Богу! Я-то думал... Рад вас видеть, Алексей Михайлович.

— Федя! Господи, Федя!

Они порывисто обнялись, мокрые, хохочущие. Капитанская фуражка покатилась по тротуару...

Два человека, два земляка крепко, по-мужски, прижались друг к другу, но каждый обнимал того, прежнего, которого уже на свете не было. Четыре года длиною в жизнь вставали между ними бескрайним пробелом — неизвестностью.

Порою легче понять чужого, чем заново узнавать знакомого. Человек после разлуки долго еще двоится в глазах, пока теперешний, постепенно накладываясь на прежнего, не вытеснит его окончательно. В памяти люди не стареют, но при встрече привычный,

остановившийся образ начинает забываться, расплыва-
ться и отмирает навсегда...

Надо как можно скорее заполнить пробел, обменя-
ться недостающими кусками жизни, помочь каждому
догнать за другого сегодняшний день.

Этот временный сдвиг происходит рывками. Слова
мечутся, как луч фонаря, спешащий осветить незнако-
мую местность вокруг себя.

Отцу запомнились три состояния Феди.

Федя счастливый, похожий на прежнего. Ливень,
весело моющий нагретый асфальт, платан, вздрагива-
ющий всеми листьями — желтыми и зелеными, клочок
синего неба в конце уличного пролета и низкая радуга
в сетке дождя всего за несколько шагов от них, сидя-
щих на каменных ступеньках под навесом. Предчувст-
вие победы и мира перед чужой закрытой дверью.

Изредка пробегали зонтики и плащи...

Федя радовался, как ребенок. Хватал отца за руки,
ерзал от смеха, молодея лицом:

— Вы молодец, Алексей Михайлович. Я очень рад,
просто счастлив, что вы пошли правильным путем, хо-
тя никогда революционером не были. Вы, черт возьми,
как тот неверующий, который поступает по-божески.
Я сперва обмер, увидя вас здесь и в таком виде... Сто
раз говорил себе — не верь глазам своим, пока не про-
веришь. Ну что ж. Я рад. Это лишний раз доказывает,
что все честные люди будут с нами, сделают верный
выбор... Я понимаю и не тороплю. Я не раз попадал
впросак, что и говорить. Не мог я знать, как петляет
река, зато знал всегда, куда она течет. Правда, сейчас
будет весна? И ливень весенний, и озnob возрождения
всей этой страны... Помните, я перед войной говорил
о красном знамени над Бухарестом? События с виду
положили меня на лопатки. События тыкали меня но-
сом в окопную грязь на волжском берегу. Но вот мы
здесь. Ущипните меня — я не проснусь. Это факт — и
никаких гвоздей. Теперь дело в шляпе. Дайте еще за-
курить, дайте шикарную румынскую сигарету, Алексей
Михайлович, дорогой мой советский гражданин...

Федя взрослый, серьезный, озабоченный...

Дождь прошел. Во влажном воздухе смешивались
тепло и прохлада. Федя сопровождал отца по магази-

нам, нес его новые, только что купленные чемоданы. Федя невнимательно ждал, пока отец выбирал для сына и жены одежду, для сослуживцев карандаши, авторучки и блокноты (в Лиманске все это было большой редкостью, особенно карандаши) и, разумеется, подарки для родственников и знакомых, давших ему леи. Продавцы взвинчивали цены, но отец, не торгуясь, торопился избавиться от денег.

Федя изредка задавал вопросы — и все о том же. Неожиданные вести поразили его. Он узнал, что Милочка перед самой войной родила ему сына, тоже Федю. Мальчик жив-здоров, проказничает и больше всего на свете любит «бах-бах» — шумно стреляет и требует, чтоб Аристид Аристидович и Милочка падали. Хохочет при этом до слез...

— Алексей Михайлович, одолжите мне тысяч сто, я куплю что-нибудь для... Моих. Отвезете?

— Ради Бога!

— А где... ее муж?

— Пропал.

Федя узнал, что у Георгия Карайманова с Милочкой что-то не ладилось, но когда она родила, признал сына своим. Георгий пил, частенько давал волю рукам. В начале войны был мобилизован, удрал из стройбатальона перед сдачей Одессы и опять был мобилизован — на сей раз румынами. С тех пор о нем ни слуху ни духу. Милочка ни жена, ни вдова. Вернулась опять к Аристиду Аристидовичу, работает на восстановлении консервного завода.

— Как она выглядит?

— Что тебе сказать? Отяжелела, но по-прежнему быстра и хлопотлива. Хорошая мать и хозяйка... Лиманск возвращается к жизни, опять — в который раз! — меняясь. Часть населения отхлынула навсегда, много новых горожан — приезжих. Уже расчищаются развалины: скоро строить начнут...

— Научился ли чему-нибудь этот город?

— О чём ты?

— Да о том, что я его люблю и ненавижу. Иногда кажется, что люди в нем копошатся, как жуки в стеклянной банке. Копошатся упрямые и бессмысленно...

— Не осуждай наш город, Федя. Сколько городов погибло, ушло в небытие или бессмертие, а этот жив. Значит, есть в нем что-то такое...

— Нет. У Лиманска не такая уж завидная судьба. Скорей грустная. Хорошо, что прежний Лиманск проживает свое и не оставит наследства. Я не про тебя, ты, может быть, самый удачливый из лиманцев. Но неужели не видишь: все, что осталось от истинных лиманцев, это нелепые благополучные трагедии?

— Города, собственно, нет. Ему не удавалось быть домом, в котором неразрывно сменяются поколения. Время превращало его в постоянный двор, где почти никто не задерживался... — сказал отец и невольно вспомнил, что Ремус пусть иначе, с другой целью, но примерно теми же словами пригвождал Лиманск к позорному столбу. Спорить с Федей, однако, не стал, а добавил примирительно:

— Наш город научился скромности. Ты думаешь, в будущем не будет скромных людей со скромной жизнью? От этого никуда не денешься. И в маленьких городах живут люди, и, уверяю тебя, на их маленькую честность, порядочность можно положиться. Между прочим, маленьких городов куда больше, чем больших.

— А по-моему, Лиманск учит еще преодолению Лиманска.

— Преодолевай, Федя. Ты гораздо моложе меня...

И, наконец, Федя неожиданный. Сдержаный и понимающий, наученный опытом, в котором закалка, и твердость, и горечь...

Сначала съездили к Стельяну Ивановичу за формой. Ковригу чуть не хватил удар — он, увидев капитана, решил, что за ним пришли. Успокоившись, стал тихим и скорбным. Федя на него не наскакивал, а глядел с некоторым состраданием, как на тяжелобольного. Пока отец переодевался и утрясал чемоданы, Федя согласился выпить вина и закусить ветчиной. Он говорил Ковриге, который попросил разрешения снять жилет и остался в белоснежной сорочке с подтяжками:

— Вот так, Стельян Иванович. Ваши страхи, ей-Богу, напрасны... Вы и при социализме сможете прекрасно работать. А комплекс с животиком... Ерунда! Чепуха и бред сивой кобылы. При социализме сколько угодно толстяков. Есть и почище вас. Мой генерал, например, вам не уступит. А умница и большевик. Мы не на фи-

гуро смотрим — на дела. Конечно, социализм не зачислит вас в балетную труппу или футбольную команду. А в нотариусы или адвокаты — пожалуйста. Я помню, вы не жульничали, как другие...

Коврига мелко кивал крупной головой и соглашался.

Потом была ночь на вокзале. Они прошли по перрону до маленького темного садика, сели на скамейку. Лунные лучи проникали сквозь листву, гудели паровозы, стучали колеса, отсветы вагонных окон перебирали кусты и деревья, выхватывая на миг целующуюся пару на соседней скамье. Ночь дышала тревогой и надеждой, переменой и дальней дорогой.

Федя исповедовался. Первый земляк за столько лет, недавние переживания, зарубежная ночь — все это располагало к откровенности.

— Так вышло, что я с фронтом прошел мимо Лиманска. От Ясс прямо на Бухарест. Не знаю и теперь, когда попаду домой. Ждем отправки в Венгрию... Ты не догадываешься... ничего, что говорю на «ты»? — мне так легче — не догадываешься, что у меня на душе. Есть вещи, о которых никому не говорю. Скрываю. Это на меня не похоже? А что было делать? Алеша, меня посадили перед самой войной. За разговоры о войне. Будто бы я — провокатор... Ох, как тяжело, чудовищно трудно было признать, что наши могут делать глупости. Теперь-то ясно, что меня взяли по глупости. Но тогда! Раньше меня допрашивали враги, я держался молодцом, знал, что — враги. Но когда свои! Я ведь готов был молиться на них. Понимаешь, я поверил в их логику и согласился, что объективно я провокатор, потому что разговоры о войне льют воду на мельницу Англии, которая рада втравить нас в конфликт с Германией... Я в камере переворошил всю свою жизнь, чтобы докопаться, где я сплоховал, каким образом я, сам того не ведая, стал играть на руку врагам. И я нашел, что корень зла в мелкобуржуазном индивидуализме и политической близорукости. Не успел я с ужасом и отвращением убедиться в собственной несостоятельности, как началась война. Та самая, которая не должна была начаться. Я чуть не свихнулся. За несколько дней я, дважды перечеркнув себя, открыл простую истину: революция — идеал, но людей, которые осуществляют ее

волю, нельзя идеализировать. Надо думать, понимать и, несмотря ни на что, бороться за нее.

Я стал требовать освобождения и отправки на фронт. Вместо ответа меня с группой арестованных повезли из Кишинева в сторону Тирасполя. Ночью на переправе нас разбомбили, и мы разбежались кто куда. Кто куда... Я пробрался до Николаева, пошел в военкомат, соврал как следует, и добился своего. Получил винтовку и честно прошел до Сталинграда и обратно. У меня награды, два ранения, звание капитана. Но — скрываю. Скрываю, чтоб иметь право воевать дальше. Скрываю даже свое участие в подпольном движении и ту отсидку, первую... Ничего не было: родился, учился, пошел на войну. Так-то... Но после победы скажу. Будет время во всем спокойно разобраться.

— Послушай, — сказал отец, — я старше и опытней. Не увлекайся высокими разговорами, смотри на вещи просто. У меня, например, нет высоких идеалов: мне бы жизнь прожить как положено. Романтика никогда не совпадает с событиями. А в хаосе событий я знаю лишь одну опору: верность. Когда я сделал выбор — он уже окончательный и пересмотрю не подлежит. Очень просто. Верь мне, ты демобилизуюсь, вернешься в Лиманск, найдешь себе подходящую работу и будешь жить, как все люди. После победы настанут будни. Тебе придется привыкнуть к ним...

— Грустный ты человек. Надеешься, что я откажусь от себя и превращусь в обывателя? Не сердись, у каждого своя страсть. Но ей-Богу, лучше болеть за человечество, чем за футбольную команду. Я не откажусь от себя. Хватит, отказался от своего прошлого. Это больно, хуже старой раны...

— Зря маешься. У тебя совесть чиста.

Федя молчал. Он сидел, откинувшись на скамье, беглые отсветы скользили по его посурковавшему бледному лицу, обращенному куда-то вверх. Он вскинулся и резко хлопнул ладонью по колену. Влюбленная парочка вздрогнула и перестала возиться.

— Если уж говорить — так до конца. Я убил одного человека. Бывшего друга. Казнил высшей мерой. Той высшей мерой, которую всегда применял и буду применять к себе самому... Я ему вправлял мозги перед войной. Я привязался к нему и полюбил, как своего воспитанника. Но в самый критический миг наши пути ра-

зошлись. Я шел к нашим, а он отказался. Я приказал ему идти со мной, хотел заставить, щелкнул затвором. А он повернулся спиной и медленно побрел в темноту. Я выстрелил. Он упал...

— Я... ничего не могу сказать.

— А я не спрашиваю твоего мнения! — Федя встал со скамьи и зашагал туда и обратно. Скрип сапог вспугнул влюбленных — при следующем мелькающем отсвете оказалось, что соседняя скамья пуста.

— Зачем тогда рассказываешь? — спросил отец.

— Потому что мне нечего стыдиться. Я был прав. Я не рад своей правоте, наоборот. Страшнее этого не было и не будет. Но иначе нельзя было.

— Что ж ты так волнуешься?

— Я не Раскольников, чтоб терзаться. Но как мне вернуться в Лиманск, что сказать женщине, которая его любит и ждет?

— Не знаю...

— Я тоже... Дай мне слово, что разговор — между нами. Весь разговор. Я сам сведу концы с концами. Без чужой огласки, без чужой помощи.

Федино лицо было жертвенным и непреклонным, как на распятии. Отец почувствовал, что он с какой-то недоуменной завистью думает о тех неведомых сильных чувствах, которые ему не суждены. И радость сильнее, и горе сильнее, и жизнь ярче. Он давно наблюдал за Фединым лицом — оно становилось все светлей и резче. И вдруг отец понял, что рассветает... Без четверти шесть!

...Когда уже поместился в вагоне, когда поезд тронулся, отец вспомнил: «Господи... Маргарита!» Она просила, так просила узнать... Он высунулся из окна и крикнул Феде, который стоял подтянутый, неподвижный, как в карауле:

— Федя, не встречал ли ты здесь Георгиу? Не слыхал про него?

— Про кого? — спросил Федя, глядя отцу прямо в глаза и упльвая вместе с перроном.

— Где Георгиу? Ион Георгиу! — крикнул отец.

Федя как будто опять не рассышал. Он стоял неподвижно и, когда готов уже был скрыться с глаз, развел руками: то ли «не понял», то ли «не знаю», то ли «как тебе теперь ответить?».

Отец привалился к сиденью, закрыл глаза, теряя мысли. Потом открыл глаза и увидел напротив себя Стасика. Отец боялся вспугнуть сон, но все-таки легонько пытался его исправить: Стасик гораздо старше, ему уже не одиннадцать, а четырнадцать. Он даже спросил:

- Сколько тебе лет?
- Пятнадцать, — улыбаясь, ответил Стасик, но выглядел по-прежнему.
- А где мама?
- Сейчас придет. Пошла за арбузом...

Но вместо Лизы пришла Маргарита. Увидев отца, она вскрикнула и выронила арбуз. Он раскололся на полу, истекая красным соком. Отец удивился: он еще не успел ей сказать, что Ион убит, а она уже поняла...

Отец мгновенно проснулся, как от удара. Что это? Что за чушь? Откуда пришла ему в голову эта дикая мысль? Федя и Георгиу расстались в сороковом. Как они могли оказаться вместе через год? Один был по ту сторону границы, другой — в тюрьме. Бред! Однако, постой... До Маргариты, как помнится, доходили разные слухи о судьбе Иона. Первый от Николеньки через тетю Анюту: будто Ион передвойной перешел к русским. Второй от Титуса Стратана: будто Георгиу поймали румыны и расстреляли. Маргарита Титусу не верила, потому что он приставал к ней во время оккупации, врал и нахальничал. Но Николенька, наверное, не врал. Так если Ион действительно перешел Прут... Могло же так случиться, что ему не поверили и посадили до выяснения! Тогда он мог оказаться вместе с Федей в том «воронке», ночью, по дороге в Тирасполь. Бежали вместе, и Георгиу не согласился идти на восток. Вполне вероятно. Он повернулся на юг, не мог оставить в беде Маргариту, когда до нее — рукой подать. К тому же, зачем Георгиу бежать с Федей? Ясно, что румынскому офицеру все равно несдобривать...

Но с другой стороны, вряд ли Георгиу ослушался бы. Он верил Феде. Верил? Трудно представить, в каком они были состоянии: столкнулись два арестанта, некогда беседовать да выяснить, считанные секунды для побега. Откуда тогда у Феди уверенность, что его приговор справедлив?

Глупости. Это был не Ион Георгиу. И откуда у Феди в тот момент винтовка?

Как откуда? Прихватили у убитого охранника.

Ах ты, Господи. Хватит. Начитался до войны детективных романов из «Коллекции 15 лей». Нагромождение невероятностей. Ребус на ребусе...

Но против воли продолжалась работа мысли. Он силился теперь поподробнее вспомнить версию Титуса, отводящую от Феди всякие подозрения. Рассказ Титуса был, пожалуй, слишком странен для вранья. Вранье всегда рядится в правдоподобность, а правда как раз бывает неправдоподобной. Зачем было Титусу так сложно придумывать? Он говорил, что это случилось в июле сорок первого года, когда румынские части осторожно продвигались к Лиманску. Ночью решили не идти дальше, выслали вперед разведку. Ей повезло, она схватила «языка». Он был ранен, то приходил в себя, то бредил. Пока послали за офицером, солдаты собирались и диву давались, слушая раненого. Необыкновенный был «язык».

Он говорил, говорил, говорил, из него ничего не надо было вытягивать. Но что говорил! На чистейшем румынском языке исступленно и ярко рассказывал о жителях города Лиманска, называл их по именам, описывал их привычки и повадки... Кричал, что в них стрелять не надо, умолял отвести орудийные дула, наведенные на город. А орудий, кстати, не было, «язык» попал в пехотную часть. Может быть, он стволы деревьев принимал за орудия? Видно, все-таки бредил. Но это был опасный бред. После такого художественного бреда солдатам, глядишь, и впрямь не захочется стрелять. Такому «языку» надо рот заткнуть. На войне надо знать о противнике другое: число, а не лица, дислокацию, а не привычки, вооружение, а не характеры. Подошедший офицер постоял, послушал и пристрелил свихнувшегося «языка».

Титусу рассказывали очевидцы, назвали имя — Ион Георгиу.

Титус считал, что Ион совсем сошел с ума. Ион был сентиментальным романтиком. Недаром он в бреду заступался за Розу, Столянских, Стамбулову и Тержановых, то есть, по словам Титуса, за весь набор жалких уродов и чудищ. Но тут же Титус явно приврал. Ион первым долгом назвал бы Маргариту, свою невесту. С Розой он даже не был знаком...

Но это мелочи. А главное: получается, что Ион

Георгиу был дважды убит в одну и ту же ночь!

Вот судьба!

Значит, если Федя стрелял в Иона Георгиу, а не в кого-нибудь другого, то он его не убил, а ранил. И зря теперь мучается...

Зря? Выстрел все-таки был.

Нет, он не в силах стать Фединым судьей...

Счастливый конец

Предсказал расставание город:

— Мне оставаться пора позади.

Уходи от меня. Ты мне дорог.

Потому от меня уходи.

Я привык быть любимым и брошенным,

Потому что я только гнездо.

Порывая со мною, как с прошлым

Навсегда не уходит никто.

— Я люблю тебя цельно и слитно

И мне больно от этой любви,

Потому что она беззащитна

Перед смертью, войной и людьми...

Дробно стучит молоток — это отец чинит оконную раму. Как бы перекликаясь с молотком, мелко постукивает насос на кухне — мама старается разжечь примус сухим спиртом. Примус шипит, пыхтит и захлебывается. Ни с того ни с сего на эти перестуки откликается сердце. Я повторяю себе, что мы опять вместе, хотя еще идет война — на проколотой карте Европы булавки уводят красную ленточку фронта все дальше и дальше от Лиманска. Навсегда. А мы уже собирались воедино и празднуем тихую победу, нашу маленькую победу накануне общей, большой.

Отец ворчит, сердясь на ржавые, слабые гвозди, мама в сердцах отчитывает забарахливший примус, будто он нарочно увиливает от своих обязанностей. А я спешу осознать свое и наше счастье именно сейчас, а не после, потому что знаю: люди, как правило, не осознают во время счастья, всякий раз умудряются его прозевать. Задним числом догадываются, спохватываются, зовут его, называя себя дураками. Сколько раз я слышал за годы войны: «Боже мой, какие мы были дураки, не понимали своего счастья!» Я хочу понять свое счастье сейчас, немедленно. Понять и запомнить. Я смотрю в зеркало, чтобы увидеть себя и запомнить. Шевелюра с

пробором, карие глаза, отсвечивающие пытливым озорством, детские губы, тонкая шея, мятый ворот застиранной рубашки. Я пытаюсь сам себе позавидовать и с удивлением замечаю, что ожидание счастья сильнее его самого. Я, конечно, счастлив, я очень счастлив, но немножко мешают заслоняющие мелочи,— вот я подумал, что мама опять захлопнула книжку, которую я оставил на диване и просил не трогать... Смешно об этом думать.

Я пойду к скале, я себя оставил на ней полгода назад, перед отъездом в Орашель. Я сижу там, на скале, в прерванном и отложенном времени и еще не знаю счастливого конца. Я только верю и жду... Пора. Надо пойти и закончить.

И вот я слышу, как я говорю: «Ма, я сбегаю на берег», мама отвечает: «Не опоздай к обеду», а отец кричит: «Купи мне по дороге папиросы у дяди Илюши!» — и я вижу, как выхожу из ворот, счастливый от сознания, что выхожу из тех самых ворот, что куплю папе «Беломор» у того самого дяди Илюши.

Я не догадывался раньше, что в моем фильме самая обыденная реплика «купи мне папиросы» может прозвучать полным выражением счастья.

И я вижу, как я, самый счастливый из всех счастливых, протягиваю дяде Илюше деньги, а он мне выдает пачку «Беломора». Еще недавно эта пачка «Беломора» казалась несбыточной, как мечта. Дяде Илюше полагалось улыбнуться, но он чем-то озабочен, не понимает своего счастья, а когда-нибудь схватится за голову и воскликнет: «Боже мой, какой я был дурак!»

И вот я вижу себя идущим по той же улице, где тротуар выложен плитами в квадратиках, где ноги знают каждую выщербинку,— с завязанными глазами пройду, не споткнусь. А чужие сапоги всегда спотыкались. Где они теперь?

И тут я первым в городе увидел Федю. Он спрыгнул с полуторки возле дома Аристида Аристидовича, ловко взял из кузова вешмешок, чемодан и повернулся лицом ко мне. Я узнал его сразу, хотя никогда не видел его таким — в военной форме. Я узнал его сразу, потому что таким его описывал мне отец, именно таким вырастал Федя из постоянных разговоров Аристида Аристидовича и Милочки...

Аристид Аристидович предчувствовал возвращение

Феди давно, в первый день освобождения Лиманска, когда он заторопился в город. Он тогда вышел в дорогу налегке, быстрый, взволнованный. Навстречу ему мчались машины, шагали подразделения солдат. Аристид Аристидович шел по обочине, жадно всматривался в лица, улыбался и кланялся всем, с кем встречался взглядом. Его костюм запылился, но по-прежнему стройный старик походил на взъерошенного сказочного белого аиста. Каждый новый советский солдат был для него предвестником Феди.

С того дня Аристид Аристидович жил чувством, что с минуты на минуту должен объявиться Федя. Прошли дни, недели, а о сыне — ни слуху ни духу. И все равно казалось, что Федя уже вернулся. Он физически ощущал его присутствие, порою на улице вдруг останавливался и оглядывался, будто его окликнули.

Вечерами, когда приходила Милочка с работы и приводила с собою маленького Федю от тети Розы, повторялись неутомимые разговоры о Феде-старшем. Аристид Аристидович возился с внуком, придумывал ему героические сказки про отца, который был то летчиком, то танкистом, то разведчиком, проникшим в самое логово Гитлера...

В середине сентября мой отец, съездив в Бухарест, привез счастливую весть: он лично, своими глазами, видел Федю, разговаривал с ним!

Среди подарков от Феди был патефон. Наказал своим, чтобы нашли пластинку «Темная ночь», он почему-то очень любит эту песню... Брошен был клич по городу, пластинку тут же достали, даже несколько, и чуть ли не каждый вечер из дома Аристида Аристидовича слышалось: «Смерть не страшна, мы не раз с ней встречались в бою...», а вскорости маленький Федя изумил тетю Розу, выдав ей нараспев «смерть не страшна», причем видно было, как он гордится своим звонким, раскатистым «р».

Потому-то я принимаю появление Федора Аристидовича как нечто само собой разумеющееся, заранее известное. Я просто радуюсь, что первым его увидел. Федя, конечно, меня не узнал, он толкнул ногой калитку, прошел по дорожке до двери, опустил наземь вецимешок и чемодан, глубоко вздохнул, дважды поправил фуражку и, наконец, постучал. Я зачарованно смотрю, предвкушая удивительную сцену.

Но вышла заминка. Как нэзло, никого нет дома. Тогда я перестаю быть зрителем и вмешиваюсь в действие.

— Федор Аристидович! — кричу я.— Здравствуйте. Не беспокойтесь, я их сейчас найду.

Он, оглянувшись, недоуменно смотрит на меня.

— Я Стасик. Вы, наверное, не помните, я был тогда маленьkim,— говорю и теряюсь от смущения: нельзя, пожалуй, в такую минуту отвлекать его своей персоной.— Не уходите, пожалуйста, я мигом!

Пускаюсь со всех ног по улице, на бегу соображая, где искать Аристида Аристидовича, и налетаю прямо на него возле продмага.

— Федя приехал! — выпаливаю я и пугаюсь.

Аристид Аристидович вздрагивает всем телом, выронив авоську, и чуть не падает на меня. Он охватывает меня руками, стискивает, потом отталкивает, не выпуская.

— Жив? — задает он дурацкий вопрос.

— Он ждет у дверей, а дверь заперта...

— О! — стонет Аристид Аристидович и просто забывает меня, рванувшись к дому.

Я поднимаю авоську, сую ему в руку и семеню рядом, потому что он — как слепой, как ребенок. Но вдруг он просит:

— Беги, родной, за Милочкой.

И я бегу к консервному заводу. Знакомым по дороге ничего не сообщаю — они имеют право узнать только после Милочки. Завода, в сущности, еще нет. Кто ремонтирует корпус, кто работает на расчистке территории. Я с трудом нахожу Милочку, она в грубой спецовке, в сапогах, везет тачку в обход лужи к воротам. Хмурое небо висит низко. Моросит.

— Эмилия Петровна,— позвал я на этот раз как можно спокойней. И все равно она вскинулась:

— Что случилось?

— Видите ли, большая радость...

— Федя?

Она молодец, догадлива. Я, понимающе улыбаясь, киваю. И скромно жду, рассматривая свои грязные ботинки. Ничего не слышав, поднимаю глаза и вижу, что она вся вспыхнула, засияла, будто солнце ударило ей в лицо. Бросилась ко мне, поцеловала крепко.

— Беги за Феденькой, к Розе!

И я опять бегу, сердце колотится, я чувствую себя рукой судьбы. Теперь уже всем знакомым сообщаю счастливую новость, не сбавляя при этом ходу, иначе замучают вопросами. Наконец я влетаю на веранду, где тетя Роза штопает кофту, а малыш Федя с двумя однокашниками возится на циновке.

— Я его беру, — говорю Розе, а потом малышу: — Твой папа приехал, пошли.

Малыш смотрит на всех поочередно, хочет что-то сообразить. Я иду к нему, он пятится и вроде намерен спрятаться под стол. Чего он боится? Того, что отца никогда не видел?

— Он тебе игрушки привез, — сочиняю я. — Самолет и пушку.

Тетя Роза между тем накинула старую шаль на плечи, взяла малыша на руки, покрывает его поцелуями.

— Вместе побежим, — улыбается она мне.

А мне некогда, тетя Роза не умеет бегать быстро, я сломя голову лечу к дому Аристида Аристидовича.

Во дворе собралось уже человек десять — и те, кто ждет своих, и те, кто дождался, и те, кто уже не ждет... Все смотрят, как Федя, голый до пояса, умывается у крыльца, дверь распахнута, в комнате Аристид Аристидович застилает скатертью стол, а Милочки вроде нет. Что ж это она? Не торопится?.. И тут я вижу, что все, кроме Феди, уже смотрят на калитку, а к калитке идет, — именно идет, а не бежит, — приближается Милочка в розовом платье, стянутом пояском, в туфельках (и где она все это раздобыла?), идет, шатается на высоких каблучках и дрожит, как натянутая струна. И вот уже Федя бежит навстречу, весь мокрый, брызги от него летят, и вот он и она смыкаются вдруг, как два сильных магнита, замирают у калитки на виду у всех, а по улице спешит тетя Роза с притихшим малышом на руках...

Ну что ж, я всех собрал, я сделал свое дело и могу идти. Им сейчас не до меня, понимаю. Я ухожу, уношу с собой эту встречу, я завидую Феде.

(Не надо было завидовать. Кто вообще знает, что ждет его впереди?

А Федю ждал арест — осенью сорок шестого его взяли перед рассветом, и он сгинул в неизвестности. Сперва

узнали, что он осужден на десять лет без права переписки. Прошло десять лет, многие вернулись, а от него — ни слуху, ни духу. Прошло еще десять лет, но, видно, срок его продлевался и длился — и все без права переписки. Милочка старилась и все еще верила...)

Подул ветер, срывая желто-рыжие листья акаций. Они мелко посыпались, как конфетти. Именно так, потому что мне нужны конфетти, не листопад. А дождик пошел совсем некстати. Моросящий, осенний. Но у меня нет ничего общего с тем дураком, который понимает только мелочи. И я вижу, как иду, задрав голову, легко размахивая руками, почти бегу. И смеюсь и радуюсь дождику.

И вот я стою на скале в промокшой рубашке. Справа серая немая крепость, слева серый, мельтешащий в дождике лиман. Я мокрыми ладонями приглашаю мокрые волосы, провожу по мокрому лицу. Я один, ни души. Дождь, сырость, серость. А все-таки здорово!

Я отпускаю с миром того мальчика, который долго ждал, не зная, где отец, что станется с городом и когда вернемся. Мальчик очень доволен благополучным исходом, хотя иного и не ожидал. Он уходит в прошлое и вздыхает облегченно:

— Ну вот и все...

В самый раз моргнуть и закончить фильм. Потом спокойно, со вкусом, не торопясь просмотреть его сначала, чтобы глубже прочувствовать этот завершающий миг.

И я ловлю себя на том, что мне не хочется. Я как бы силком подталкиваю себя к обозрению пройденного. Господи, мне неинтересно! Что-то случилось со мной. Все мои перипетии отходят и тают вместе с тем мальчиком, который дождался своего. Он их уносит с собой. А мне оставляет какое-то знобящее предчувствие, которое сладче, заманчивей, невероятней всего, что есть. И дождь, и крепость, и лиман, и мокрая скала превращаются в ожидание, в удивительное открытие:

— Ничего еще не было!

И от дрожания дождя мир кажется занавесом, который вот-вот взовьется. И начнется то, чего еще не было. Совсем еще не было. То, что мне — не отцу, не матери, именно мне предстоит.

Я скоро буду молодым.

Скорей бы взвился занавес! Я, едва успевший встретиться с родным городом, угадал, сам себе не признаваясь, что буду с нетерпением ждать расставания с ним. Я чувствую себя на пороге. Я смотрю вдаль, через лиман, в неоткрытую мною страну. Всматриваюсь вдаль, стоя на носу моего каменного корабля, спиной к крепости.

«Беломор» в кармане безнадежно промок.

*1966—1970,
1980, 1994*

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог

ДВОЕ И ВОЙНА	3
------------------------	---

Часть первая

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ

Бритва	33
Городок историков	44
Маленький сверхчеловек	53
Мочка уха	68
Бесенок	72
Родной отец и приемный сын	80
Москва шагает	96
Федя, Свобода и Милочка	114
Ресторанчик дяди Мити	127
Скала над лиманом	140

Часть вторая

ИСТОРИЯ ОТ АРИСТИДА

И была любовь	149
Одиссея отца	177
Одесса-41	193
Моря не было	203
Междувластие	209
Гибель Николеньки	224
Домой	234
Тень бывшего сверхчеловека	248
Бедная тетя Анюта	257
Цыганская свадьба	262
Пояс Ипполиты	271
Одиссей и тетя Роза	282
Городок на Дунае	295
Бухарестский узел	312
Счастливый конец	328

**Кирилл Владимирович
КОВАЛЬДЖИ**

СВЕЧА НА СКВОЗНЯКЕ

Роман

Редактор *М. Холмогоров*

Художник *И. Данилевич*

Художественный редактор *А. Данилин*

Технический редактор *С. Устинова*

Корректоры *Л. Царская, Т. Нарва*

Лицензия № 010184 от 05.02.92.

Сдано в набор 09.03.95. Подписано к печати 03.10.95.

Формат 84×108¹/32. Бумага офсетная № 2.

Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 18,27. Уч.-изд. л. 18,36.

Тираж 5000 экз. (1-й з-д 1—2000). Заказ № 6087.

Издательство «Московский рабочий»,
101854, ГСП, Москва, Центр,
Чистопрудный бульвар, 8.

Книжная фабрика № 1 Комитета РФ по печати.
144003, г. Электросталь Московской области,
ул. Тевосяна, 25.

